



ЮНОСТЬ

8

1972



Е. РОМАНОВА (Москва).

Автопортрет.

Из произведений молодых художников,
экспонировавшихся в залах Академии художеств СССР. Лето, 1972 год

СССР
50

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЮНОСТЬ



Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

8 [207]
АВГУСТ
1972

Олег Дмитриев



За Байкалом, на земле бурят,
Над течением плавным Баргузина
Мать-природа сосны подружила
И вершины выстроила в ряд.

Там меня хранили от невзгод,
Опекали днями и ночами
Тенгри с горящими очами —
Духи гор, равнин, лесов и вод.

Тенгри ступали по пятам,
Хмуры, медноскулы, узкоглазы,
Отдавая строгие приказы
Ветру, рекам, соснам и камням:

Чтоб уступ не дрогнул под ногой,
Чтобы кедр убрал с дороги хвою,
Чтоб река не сбивала тетивой —
Выгнутая, точно лук тугой!

Как я это понял и когда
Тихие подслушал разговоры!
Что скажу — меня любил горы,
И тайга, и степи, и люди.

Я о добрых духах узнавал
Из сказаний, из поэмы друга,
Далеко мне виделась округа:
Я вступил на горный перевал.

И, поднявшись на крутой утес,
Всем идущим, рыщущим, спешащим
По степям и по таежным чащам
Я сказал не в шутку, а всерьез:

«От дурного глаза, от змеи,
От провала в гнилом болоте
Да хранят вас боги той земли,
По которой вы сейчас идете!»

И товарищ улыбнулся мне:
«Надо, чтобы мы дружили были
В старой сказке
И в грядущей быти,
Как сегодня — на Баргузинё!»

Кормление чаек

С откоса, где над первой травой
Раздул миндаль цветеня жар живой,
Спустился я извилистой тропой
К домам у полосы береговой.
Я знал, что горы за спиной синели,
А впереди — простор безмерный был,
И стою чаек,

Словно куст сирени,
Над набережной ветер шевелит.
Я ближе подошел. Комочки хлеба
Над головой подбрасывал старик —
И посреди безоблачного неба
Водоворот из белых птиц возник.
Как гонимцы в овале велотрека,
Они вели бессчетные круги
С наклоном на седого человека,
Кидającego белые комки.
Крутилась в небе карусель живая,
И наблюдал приехавший народ,
Как, о крыло крыпом не задевая,
Спокойно птицы шли на поворот.
И те, кому награда выпадала,
Поймав комочек белый на лету,
Не портили летящий строй нимало,
Вновь круто набирая высоту.
И те, кому не выпала награда,
Кто пролетал все время невпопад,
Вершили путь, не нарушая ряда,
Вперед — над нами, над водой — назад.
И было в этом что-то
От земного
Существования бескорыстных душ,
Где благородство — вечная основа:
Наград не требуя, общий строй не рушь,
Не суетись, другому зла не делай,
Верши свой путь, достоинство храня!

И долго я смотрел
На город белый
Сквозь белых птиц, летящих на меня.



Не надо у жизни просить
Даров, снисхождений, побрякушек,
Ее надо в сердце носить,
И груз этот вечный не тяжечь.
Не надо ее умолять,
Когда тяжело и прескверно:
Да это ж — в себе умять
Бессмертную душу безмерно!
Когда поднимался с земли,
У жизни просил не совета —
Кричал ей: «Ты только вели
Мне, грешному, вынести это!»
Питомец последней войны,
Когда обнаружил в себе ты,
Что в жизненной школе равны
Уроки беды и победы!
Когда ты узнал незначай
Всесилие азбучных правил,—
Что думаешь ты! Отвечай,
Да так, чтоб никто не поправил!
— Я думаю, жизнь, о тебе,
О собственной воле, о роке,
И я благодарен судьбе
За все без изъятия уроки.



Девочка поет на тротуаре,
Потому что в городе весна.
Все, что мы с тобою потеряли,
Нам она обратно принесла.

В синем накланном ее кармашке
Наши сказки, наше озорство,
Наши беззаботные замашки,
Наш восторг — да мало ли чего!

Все надежды наши расписные,
Наши развеселые года:
Бусинки да камушки цветные,
Лоскутки, стекляшки — ерунда...

Все она владельцам возвращает,
Песенку веселую поет!
Что же нас тревожит и смущает!
Что же взять подарок не дает!

Растрепались косы из кудели
У кукленка — в палец толщиной...
Может, наши души оскудели,
Поистерлись на стезе земной!

Мы идти стараемся скорее,
Оставляем доброе дитя,
С каждым шагом медленно старея,
Над собой невесело шутя.

Девочка поет на тротуаре,
Потому что в городе весна.
Мы с тобою столько потеряли!
Слава богу, все она спасла.

Ирина Кашежева



Переселяясь в новые дома,
мы почему-то забываем сразу,
как чью-то незначительную фразу,
ту крышу, что когда-то нам дала
приют, пусть некачественный, но приют.
Покой, пусть он такой, как на качелях...
Но ведь не зря геолог и кочевник
не забывают ни яранг, ни юрт,
ни просто трехминутного костра,
чтоб свернуться с дорожкой по карте...
Неблагодарно так не покидайте
дома, еще вам близкие вчера!
Поспешно адресов не забывайте,
как путь и бесполезного добра,

и выбоины старого двора
припомните на новеньком асфальте!
Не предавайте брошенного дома,
не отсекайте все с размаху, вдруг:
друг детства все равно такой же друг,
пусть даже он не получил диплома.



Секрет гусиного пера...
О, сколько раз оно чинилось!
В магический кристалл черныльниц
взглянуть и мне пришла пора.
Его ничем не обмануть.
Вот почему свое, стальное,
я не решаюсь обмануть...
Что перед этим — остальное!!
Пока что на весу держу,
как руку с ножевым порезом,
свое, рожденное прогрессом,
перо, подобное ножу.
Развеиваю тирании прах!
и не убью и не повешусь...
И только этот детский страх,
а вдруг — нечаянно! — порежусь!
Чернила высохли давно,
но не уйти от них — судьба ведь...
Их кровью собственной разбавить
мне право все-таки дано.
И жребий мне не жалкий выпал...
Чего ж я медлю и боюсь!
С боязнью детскою боюсь,
но твердо знаю: сделан выбор.
Настал мой час, пришла пора,
иссякло время ученичества.
...Разгадываю у черныльниц
секрет гусиного пера.
А долго ль быть моею порожей!
Когда я стану «пра-пра-пра»,
то кто-то, на меня похожий,
прочтет: «...пора, мой друг, пора!» —
секрет гусиного пера.
Рука занесена пока,
и с занесенною рукою
смотрю я на перо ^{свое},
оглядываясь на века.



Я нежно хочу попрощаться,
как перед уходом на час.
Сказать бы тебе: «Не печалься!»
Да ты веселиться как раз.
Спросить бы тебя: «Ну, чего ты?»
Да только не стану, прости...
Заботы мои до зевоты
могли бы тебя довести.
Ты любишь ходить в нелюбимых,
а мне уходить суждено.
И фразы о бедах, обидах
звучали бы просто смешно.
Какая банальная повесть!
Дочитана. Правильно. Что ж.
Уходит, уходит мой поезд,
а ты провожать не приходишь.
Я не запасаюсь бумагой,
конвертов с собой не везу...
И, знаешь, простое «бывает»
я мысленно произнесу.
Какая банальная повесть!
Дочитана. Правильно. Что ж.
Уходит, уходит мой поезд,
а ты провожать не приходишь...



ИОН ДРУЦĂ

РАССКАЗЫ



Рисунки М. ЛИСОГОРСКОГО.

1. СПЛОШНЫЕ НЕВЕЗЕНИЯ

Спастись от них невозможно. Изредка эти невезения настигают каждого человека — одних, правда, чаще, других реже, но настигают непременно, и тогда плохо дело. И вот наш бедный Андрей в свои двенадцать лет попал в полосу сплошных невезений. Целые вечера корпит над уроками, выстраивает полки цифр на страницах так, что любо на них смотреть. Лихо закручивает хвостик каждой буковки, у которой только есть что закрутить, а на следующий день возвращается из школы, облепленный двойками так, что живого места на нем не найти. Измученный как-то всеми этими делами, он подумал: а не бросить ли к черту все это учение? Вон его родной дядя Тэнэсе всего три года в школе проучился, а старяничает, как бог. Все окна и двери в деревне прошли через его руки. По воскресеньям он объезжает деревню на новом трехколесном мотоцикле, в то время как его одноклассники, те, которые учились на «отлично», школу окончили с похвальной грамотой, ходят пешком и грызутся меж собой.

Самое трудное в жизни — принять важное, ответственное решение, а остальное уже идет само по себе, точно с горки катится. Решив оставить школу, Андрей забросил на чердак портфель со всем его содержимым, как вещь совершенно ненужную, и пошел за дом к небольшому навесу, служившему у них чем-то вроде мастерской. Раскопал подходящий обрезок доски, достал большую пилу и, прижав доску коленками, принялся ее пилить. Дядя Тэнэсе как-то говорил, что лучше всего мастериц тот человек, который постигает ремесло сам по себе. Поначалу у Андрея дело шло как будто неплохо, но потом пила заклинивала, стала пробовать на зуб доску то в одном, то в другом месте, пока не добралась до живого пальца, а уж жалеть она человека совершенно не умела.

Словом, не везет, хоть ты плачь. Вернулся в дом, кое-как перевязал палец. Еще хорошо, что пострадала левая рука, но тут увидела мама, как он идет с глубоко запрятанной в карман рукой, и подумала, что лодырничает. Как не стыдно, ведь двор завален сырыми листьями табака, там работы на неделю, а он вместо того, чтобы помочь, ходит, засунув руки в брюки!

Он не любил эту работу — манизывать листья табака на нитку. От них шел тяжелый дух, вонь шла от этих листьев такая, что голова кружилась, а тут еще мама спрашивает: а не забыл ли он, как это делается?! Он, конечно же, не забыл, но, с другой стороны, много ли наработает одной рукой, даже если эта рука и правая? В конце концов его прогнали, и он вышел на дорогу, сел на маленькую скамеечку возле колодца. Сестры не было дома, отца тоже не было. По дороге никто не шел, никто не ехал, и от этого одиночества ему захотелось встать и пойти куда глаза глядят. И он подумал: а почему бы и не пойти? И пошел, и глаза повели вверх, вдоль старых акаций, и привели к закадычному другу Василию.

Увы, ему не везло в тот день: Васи не оказалось дома. Он пошел обратной дорогой, но поскольку у него был день невезения, то встретил

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
МОЛДАВСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ



лась ему тетка Аргира, занудливая старушка, у которой он прошлым летом щипнул пару клубничек. Даже отведать их не успел. Дело в том, что тетюшка Аргира в силу своей скверной природы посадила грядку с клубникой вдоль плетеного забора: красная клубника притягивала и дразнила всех проходящих по другую его сторону. Некоторые, кто посмелее, пытались просунуть руку через забор, но он был сплетен густо и рука не пролезала. А вот Андрей высмотрел такую брешь, и его маленькая, худенькая рука легко пролезла. Он оторвал три крупные ягоды, но вместе с ягодами рука уже не пролезала обратно. А пока он мучился, вышла тетка Аргира и подняла дикий вопль. Он уронил ягоды, вытащил руку и убежал. Но она уже второй год, как только его встретит, начинает сначала свои нравучения.

Теперь он шел, слушал тетюшку Аргирю и думал: а может, она права, может, он действительно никчемный и надо, пока не поздно, достать с чердака портфель и засесть за уроки? Отличником ему, конечно, в жизни не стать, но хотя бы так, чтобы не стыдно было перед людьми. И он прибежал домой, достал с чердака портфель, но ему решительно не везло в тот день. На кухне мама принялась стирать, и брызги летели во все стороны, нигде было пристроиться, в большой комнате отец вместе со своим новым приятелем, Стратулатом, вели о чем-то тихую беседу, а при тихой беседе детям делать нечего. В третьей комнате сидела наряженная сестра; она побледнела, когда увидела Андрея с учебниками и тетрадками: верно, ждала своего парня, и очень ей нужен был брат со своими двойками.

Разбидевшись, Андрей залез за печку, на свое старое место, лег и, не раздеваясь, уснул. Но и спало ему плохо: в одной комнате говорили по телевизору, в другой было включено радио. Телевизор нес свое, радио — свое, и он то засыпал, то просыпался, а в полночь вдруг проснулся совсем. В доме стояла тишина, было темно, пахло едой и свежей стиркой. Ему хотелось есть: он не ужинал. И пока он прикидывал, как бы ему слезть и тихо пожевать чего-нибудь, из соседней комнаты через приоткрытую дверь вдруг донесся шепот мамы:

— Надо бы тебе поговорить с нашим парнем...

И тихий голос отца:

— А что такое!

— Пришибленный он какой-то. То начнет делать уроки, то забросит их, то что-то мастерит, по-

том пару листьев табаку насадит на шпигат, и уже нету его, а под вечер вернулся откуда-то с перева-занными пальцами...

— Ничего, пускай растет.

— Ну и что? Если растет — надо обязательно быть олухом?

— Да не олух он, что ты выдумываешь! Просто, когда человек растет, он то находит, то опять теряет сам себя, а ты думаешь, так легко научиться управлять собой? Тут вон взрослые люди не знают, с какой стороны подступиться к самому себе, а ты требуешь черт те что от мальчика!

И стало тихо, и Андрей вздохнул облегченно — вона что! Растет, стало быть. Учится управлять собой. Просветленный этой мыслью, он начал засыпать. И, засыпая, подумал: нельзя все-таки сказать, что прошлый день был для него совсем невезучим. В одном ему все-таки повезло. Забыл поужинать, и спасибо голоду — разбудил среди ночи. Иначе откуда он мог узнать, что с ним происходит?!

2. СВОИ ЛЮДИ

В один прекрасный день Елена Петровна вошла в класс, посмотрела на них долгим, испытующим взглядом, как бы решая про себя: говорить — не говорить? Вдруг ей показалось, что дверь класса не плотно прикрыта. Она вернулась, снова открыла, потом закрыла уже совсем хорошо. Когда она возвращалась вторично закрыть двери, весь четвертый «А» наострил уши: это означало, что последует очень важное сообщение, о котором, однако, не надо распространяться.

— Вот что, ребята, — сказала она и умолкла, чтобы передохнуть, и дышала так тяжело, точно взбралась на огромную гору. — Приехал инспектор из министерства. Сейчас он пошел в старшие классы, а к концу дня или в крайнем случае завтра он будет и у нас.

И улыбнулась. Она улыбнулась не потому, что ей было смешно или от хорошего настроения, как это с ней часто бывало, она улыбнулась потому, что весь четвертый «А» пришел в ужас от ее сообщения, а ей не хотелось нагонять на них ужас. Она улыбнулась, чтобы их подбодрить, и некоторые ребята следом за ней улыбнулись.

— Страшного в этом ничего нет,— сказала Елена Петровна.— Но мне хотелось бы видеть вас более бойкими, более живыми. Во всяком случае, я прошу вас, постарайтесь, поднатужьтесь.

Ребята вздохнули, легко сказать — побойчее, а откуда она возьмется, та бойкость, когда эти проклятые дробы убивали весь класс. Пока было сложение и вычитание — еще ничего, можно было жить, а как дошли до деления и умножения — прямо хоть караул кричи.

— А теперь,— сказала Елена Петровна,— давайте еще раз пройдемся по дробям.

В тот день инспектор не пришел в четвертый «А», а вечером все ученики загляли себя работой над дробями так, что пальцы на руках онемели, а ночью многим снилось, что в классе у них большая неприятность и учительница плачет. Они повставали чуть свет и, к ужасу, к удивлению родителей, перед тем, как идти в школу, опять сели за уроки.

Инспектор пришел к ним на второй урок. У него были добрые глаза дедушки и коротко остриженные усики неженатого еще парня.

— Ну, четвертый «А»,— сказал он.— Покажите, на что вы способны.

Елена Петровна улыбнулась — она улыбнулась не для того, чтобы подбодрить ребят. Просто ей пришла в голову смешная мысль, и все ученики заулыбались следом за ней, точно им тоже что-то смешное пришло в голову.

— Много мы вам не покажем,— сказала учительница,— но кое-что вы от нас узнаете.

— Ну-ну,— сказал инспектор. Сел за учительский стол, взял классный журнал. Решил сначала неожиданно кого-то вызвать, потом, верно, подумал: чего бегать, лучше начать с начала.

— Бобок Андрей.

Андрей вышел к доске, взял мел, и инспектор как открыл рот, так и стоял с открытым ртом. Потому что Андрей те дробы, которые ему дали, не дожидаясь условий упражнения, сложил, потом вычел, по-

том поделил, потом умножил, и все это было так легко, так просто, что самые последние двоичники, которые никак не могли взять в толк, чего от них хотят с этими дробями, вдруг поняли, в чем дело, и целый лес рук поднялся, умоляя Елену Петровну, умоляя инспектора вызвать их к доске. И их вызывали, и они все знали, так что к вечеру, после отъезда инспектора, по школе прошел странный слух, будто их четвертый «А» вышел чуть ли не на самое первое место.

А на следующий день запахло весной. То есть снег все еще лежал сугробами, но уже размяк весь, и в садах хоть и были одни голые ветки, но появился запах — вишня пахла вишней, орех — орехом, и было так солнечно и тепло, что сквозь окна школы целые потоки света и тепла обрушились на четвертый «А» и они, как цыплята в инкубаторе, вздремнули, сидя на своих партах.

— А теперь, ребята, мы начнем с вами новую тему,— сказала учительница. Она говорила и писала на доске, но они были очень далеко — ни ее урока, ни ее голоса, ни ее саму почти не видели, и в конце концов учительница хлопнула книгой по столу. Хлопнула громко, так, что весь четвертый «А» вздрогнул. Вздрогнул, но не проснулся.

— Ну, и не стыдно вам, ребята?— начала она обиженным голосом.— Вчера вы потрясли всю школу, все радовались, а сегодня вас снова нет. Вы опять спите, так что сквозь эту дрему прямо не пробьешься с этим новым материалом. Как здорово было бы, если бы вы всегда были такими же бойкими, активными, как вчера.

Ребята заулыбались — вишь, чего захотела...

И поскольку учительнице эти улыбки решительно не понравились, и она стояла грозная и сердитая, и уже класс был сам по себе, а она сама по себе, и это грозило вылиться в открытый конфликт, то Андрей Бобок, герой вчерашнего дня, решил взять на себя роль примирителя. Он попросил разрешения выйти, проверил, хорошо ли закрыта дверь, потом вернулся на свое место, но не сел, а, стоя у парты, сказал:

— Елена Петровна, дорогая, о чем вы говорите, откуда она у нас возьмется, активность, когда мы еле ноги волочим за собой. То грипп, то дробы, то работа по хозяйству — сегодня вон впервые выдался хороший, теплый день, мы немного отогрелись, а вы уж и обижаетесь на нас...

Елена Петровна посмотрела на окно, посмотрела еще раз на них и улыбнулась. Не от хорошего настроения, не потому, что ей пришла что-то смешное в голову, — с горя улыбнулась.

— Ладно,— сказала она.— Отложим еще на один день этот новый материал. Пройдемся еще раз по дробям.



Ребята заулыбались — ну вот, это уже совсем другое дело. Учительница рассказывала им то, что они и без нее хорошо знали, они дремали на солнышке, и Андрей Бобок, подпрыгивая вместе со всеми, думал про себя: соглашение было достигнуто, в сущности, потому, что все они свои люди. То ей надо было, чтобы они выглядели молодцами и не ударили лицом в грязь, то им понадобились передышка, и передышка им была дарована. Великое дело, когда всюду свои люди. Его отец говорит, что это, может быть, самое важное в жизни. И что, правда, ведь.

3. ОСЫПАЛАСЬ ЛИСТВА НА ВИНОГРАДНИКАХ



ел последний урок. Ученики четвертого «А» уже собирали втихомолку учебники и тетрадки в портфель с тем, чтобы вместе со звуком сорваться с места, как вдруг двери класса открылись и вошел, улыбаясь, новый учитель Ошлобану. Смуглый, низенького роста, юркий, он, казалось, все в жизни умел: и на гитаре играл и в волейбол вместе со старшеклассниками сражался так, что трудно было разобраться, где учитель, а где старшеклассники. Он все время что-нибудь да придумывал, и даже в четвертый «А» он вошел, загадочно улыбаясь.

— Ну, Елена Петровна, покажите, что у вас есть.

— Вот,— сказала учительница, устало кивнув в сторону своих учеников.— Чем богаты, тем и рады.

— Любите песни, ребята? — спросил Ошлобану.

Кто-то из последних рядов потянул устало:

— Можем и спеть...

Сначала они спели всем классом одну песню, но никому не понравилось — ни новому учителю, ни Елене Петровне, ни самим ребятам, которые пели. Учитель Ошлобану отодвинул доску в самый угол, освободив место перед классом, и сказал:

— Будем петь по одному. Давайте, кто самый храбрый.

Храбрых в четвертом «А» не нашлось, учитель уже начал было хмуриться, и Андрею показало, что он даже собирается уйти. Ему так понравился этот новый учитель, так ему хотелось узнать, что он там еще придумал, что как-то неожиданно для себя поднял руку, вышел перед классом и потянул тоненьким голосом:

Не дрожи ты, моя чарка,
Осушу, а не стем я тебе...

Учитель смеялся до слез, и учительница улыбалась, и весь класс смеялся, после чего дело пошло лихо. Через полчаса все были проверены, а на второй день на доске объявлений в списке нового школьного хора Андрей нашел и свое имя. Он был счастлив. Ему сначала показалось, что его одного выбрали из всего класса, но выяснилось, что их было трое. Конечно, было бы куда лучше, если бы выбрали его одного, но с другой стороны, хор есть хор, там должна быть уйма народа, и откуда ты его наберешь, если из каждого класса будешь записывать только по одному?

Репетиции проходили два раза в неделю, и это были жуткие муки, потому что петь не пели. Сидели и слушали. Ошлобану рассказывал, как надо

петь, как надо стоять, когда ты поешь. Что делают при этом твои легкие, куда смотрят глаза, как дышит ног и так далее. Потом их стали разставлять в четыре ряда, и каждый ряд уже назывался не ряд, а голос — первый голос, второй, третий и четвертый. Потом им дали по листочку и они сели переписывать текст песни «Осыпалась листва на виноградниках». Они писали и улыбались, потому что каждый молдаванин уже в три года знает эту песню. Но Ошлобану сказал, что напрасно они улыбаются: в некоторых деревнях поют эту песню в искаженном виде, потому и надо писать.

Дальше репетиции стали уже интереснее. Все это было похоже на соревнование. Вот, скажем, начинается тихо-тихо первый ряд, то есть малыши: «Осыпалась листва на виноградниках». Уже во второй строчке к ним еле-еле слышно присоединяется второй голос, где ребята чуть постарше. Так же незаметно, с каждой строчкой, прибавились еще два голоса, и с началом второго куплета, там, где «когда ландыши будут в цвету», весь хор, все четыре голоса удивительно как-то сплетались в единое целое, и это было так прекрасно, так величественно, точно собрался вместе народ и поет, и у них румянились лица, они были счастливы.

Потом наступили ноябрьские праздники, и афиша у Дома культуры возмечала, что будет концерт, в котором участвует школьный хор под руководством учителя Ошлобану. День был пасмурный, и действительно, как говорилось в песне,— и листва осыпалась, и ласточки улетели, и люди как-то приуныли. Нужно было им сказать: не теряйте присутствия духа, ландыши опять зацветут, и ласточки с юга вернутся.

Зал был полон, занавес раздвинулся, и они стояли друг перед другом, лицом к лицу. Там был зал с настоящим народом, тут был хор на сцене, слепок народа, а между ними стоял маленький, курчавый учитель Ошлобану. Он ждал тишины. И, когда настала такая тишина, что прямо деваться от нее было некуда, он тихо поднял руки, точно собирался сдаваться в плен, но вот его руки, как две смуглые пташки, мягко поплыли по воздуху, каждая своим летом, и вместе с ними издали донеслось:

Осыпалась листва на виноградниках,
И ласточки улетели на юг...

Люди замерли, это была чистая правда. Они не знали, как дальше быть, но вот родился второй куплет, и сплелся, взорвались четыре голоса, и вздрогнул зал, и стены, и потолки вместе с привезенной из Киева огромной люстрой:

Когда ландыши будут в цвету,
К нам вернутся ласточки с юга...

Поздно вечером, возвращаясь домой, Андрей услышал за своей спиной, как переговаривались несколько старушек, причем ясно было, что речь шла именно о нем:

— Пел, как же. Он тоже пел и стоял прямо в первом ряду...

Это было похоже на то, как если бы сказали: он тоже участвовал в штурме крепости, в первых рядах был, а что можно еще больше сказать о мужчине, кроме того, что он тоже штурмовал крепость, причем в самых первых рядах.

К сожалению, после нового года Ошлобану женился, а та женщина, на которой он женился, не захотела переехать к нам в деревню, и он сам поехал к ней. Хор распался, и уже стали спрашивать:



что такое, почему распался хор? Даже в районной газете была заметка под таким заголовком, и тогда директор школы велел завучу восстановить хор.

Поначалу было как будто то же самое. Завуч пришел к ним в класс перед звонком последнего урока, попросил учительницу показать, что у нее есть, и она сказала: чем богаты, тем и рады. И ребята тоже стеснялись петь, и тогда Андрей вышел перед классом и спел: «Не дрожи ты, моя чарка». Но смеха уже не было. Завуч посмотрел на учительницу, точно не Андрей, а она сама пела и, спосил грозно:

— Елена Петровна, это что такое?!

Он, оказывается, совсем не понимал шуток. А может, Андрей сам был неправ, нельзя же в самом деле дважды смешить людей одной и той же шуткой. Как бы там ни было, школьный хор восстановить не удалось, вместо него решили создать танцевальный кружок, а там Андрею решительно было нечего делать.

В общем, вся эта история со школьным хором стала забываться, и только изредка, когда передавали по радио концерт народных песен и среди других вдруг царственно выплывало «Сыпалась листва на виноградниках», у него все нутро сжималось в тоске и сердце ныло. Потому что, как ни говорите, а время уходит, и жизнь идет.

4. ЧЕРНЫЕ ЧЕРЕШНИ

Первая и самая большая радость сельских ребят в начале каждого лета — это черешни. Наестся ими досыта совершенно невозможно, потому что сидишь ты, скажем, на дереве, плотаясь их пригоршнями, и кажется, что уже все, больше не влезет, но вдруг ты увидел через забор в соседском саду другое дерево. Ягоды почти что одинаковые, но ты-то сам отлично знаешь, что вкус у них совершенно иной.

Если случится, что сосед пригласит угощаться или ты сам втихомолку побребьешься в его сад, то оттуда, с того дерева, ты увидишь в чужих садах еще другие черешни с прямо-таки удивительными ягодами.

В начале лета сила и ловкость каждого парня измеряются тем, кто больше сортов черешен отведал. Сортów этих как будто не так уж много: белые, розовые, красные; потом среди этих сортов бывают крупные, культивированные, и более мелкие, которые называют дичками. Беда была в том, что люди, в чьих садах созревали эти черешни, бывали удивительно разными: одни сами зывають ребят к себе во двор, другие хоть и косятя, но видно, что ничего не скажут, если ты залезешь на их дерево, а третьи готовы на тебя и собак спустить и в сельсовет затащить, хотя ты просто шел мимо их сада.

Самым загадочным деревом в деревне был огромный черешневый великан во дворе дяди Салавэстру. Дерево было такое большое, что целиком занимало аесь участок. Других деревьев там не видно было. А может, те были маленькие или, может, там почва была слишком влажная, потому что через дорогу был пруд и не все деревья любят влажную почву. Удивительной эта черешня была потому, что только на ней созревали в конце лета маленькие, черные как угольки ягоды. Они созревали вместе с вишнями, и бываые ребята говорили, что ничего нет в мире приятнее, чем после кислых вишенок прополоснуть рот пригоршней невероятно сладких, чуть горьковатых черешен из сада дяди Салавэстру.

Хорошо-то хорошо, но как туда пробраться? Дом стоял в низине, так что сверху, где было село, и дом дяди Салавэстру и весь двор видны были как на ладони. Надо уехать еще и забор с колючей проволокой и то, что к самому черешневому дереву все лето был привязан огромный псина, разоздравший не одну пару детских штанишек на своем веку.

Люди там жили хорошие, с ними можно бы и столковаться, но их вечно не бывало дома. Сам дядя Салавэстру работал в городе, чуть свет уезжал на своем велосипеде и возвращался поздно вечером.

Его жена работала дояркой, тоже редко когда бывала дома, а их единственная дочка училась в Кишиневе, правда, в деревню про нее говорили: что-то слишком она долго учится. То училась в техникуме, потом окончила и пошла в институт и опять же все сначала, опять учиться.

В свои двенадцать лет Андрей еще ни разу не пробовал черных черешен и, сказать по правде, никаких планов не строил на этот счет, потому что откуда, в самом деле, как он мог оказаться на том дереве? Но, как говорит его отец, иногда в жизни такое случается, что и во сне не приснится, и такое чудо действительно произошло. Как-то утром Андрей разбудил отца и сказал:

— Давай быстро, лошади ждут.

Если Андрея не то что утром, а в полночь разбудить и сказать, что лошади ждут, он пулей выбежал бы, а тут уже совсем рассвело.

Поехали они в район. У Андрея была тайная мечта научиться хорошо править лошадьми, но до самого района отец ему ни разу не доверил вожжи. Там, в районе, погрузили на телегу две пустые бочки, которые отец заказал раньше у бондаря, после чего они выехали на шоссе, отец передал ему вожжи и сказал:

— У меня тут дела, я останусь, а ты поезжай. Главное, берегись встречных машин и уступай им дорогу.

Встречных машин попалося всего две, причем одна была легковая, и они отлично развехались, и все было прекрасно. Лошади и вожжи слушались, и слова его понимали, изредка прорываясь пойти галопом только для того, чтобы доставить ему удовольствие, и все было бы потрясающее, если бы попался хоть один односельчанин и увидел, как Андрей умеет править лошадьми. А встречных никого, ни души, и только внизу, там, где за горой была уже деревня, он нагнал взрослую девушку. Она шла в голубом плаще, несла на плече чемодан, и видно было, что ей нелегко и неудобно его нести.

— Тетя, если вы идете в нашу деревню, то садитесь. Бочки в телеге у меня пустые, а лошадям совершенно все равно, сколько народу едет: двое или трое.

Девушка улыбнулась, сначала закинула чемодан, потом и сама села, свесив ноги с телеги. Краем глаза он попытался ее разглядеть, но увидел только тонкую, длинную шею, мягкий белый овал лица и быстро отвернулся, точно его обожгло. Девушка была красивой, а красивых он стеснялся чрезвычайно. Вся дорога до деревни он смотрел совершенно в другую сторону, и, кажется, в мире не было сил, которые смогли бы его заставить посмотреть еще раз на девушку. Он подробно рассказывал ей, как надо работать вожжами, какая лошадь как себя ведет, собирался еще и про бочки что-то рассказать, но девушка вдруг сказала:

— Ну все, я уже дома.

С одной стороны был пруд, с другой — забор с колючей проволокой, а там, за проволокой, огромный пес катался по земле и скулил от радости. Андрей вдруг понял, что подвез на телеге дочку дяди Салавэстру. Она легко прыгнула с телеги, побежала в сад, сняла ошейник с собаки, та носилась вокруг нее, выписывая восьмерки от радости, и черные черешни впервые оказались без сторожа.

Девушка пришла, сняла с телеги чемодан, сказала: — Спасибо, что довез, и за то, что научил лошадей править, спасибо.

Но у него не хватило сил уехать, рядом стояло без охраны знаменитое дерево с черными черешня-

ми, у него сердце колотилось внутри, и она вдруг поняла, что в нем там колотится, не зря же про нее говорили, что учится она на доктора.

— Отведи телегу и приходи, никуда эти черешни не денутся.

Уже через час он висел на дереве и упивался этим величайшим чудом из всех земных благ. Время их хлостило, ягодицы чуть сморщились и отставали от хвостика, едва коснешься их пальцами, но зато сладости, горечи в них было уже сколько. Он их глотал вместе с косточками, потом косточки начал сплевывать, потом выбирал только одни крупные ягоды. Подумал, что надо во что-то собрать хотя бы пригоршни две-три, а то никто не поверит в это невероятное чудо. Собрать их было не во что, они же красили, эти черные черешни. Он подумал, что хорошо бы в кепочку наварать. Снял ее с головы, примерился и вдруг сквозь листву, в один из просветов, увидел дочку Салавэстру. Она только что выкупалась в пруде и теперь в малиновом купальнике, стройная, белая и красивая, возвращалась на цыпочках по узкой борозке подорожника, чтобы не испачкать ноги. Может, одну или две секунды она шла по тому просвету сквозь листья черешни, но он не успел отвернуться, и красота, изящество молодой девушки его совершенно потрясли. Он быстро надел кепку, подождал, пока она, став спиной к нему, выкручивала волосы, затем спрыгнул с дерева, пробрался сквозь колючую проволоку, только чтобы не пройти еще раз мимо нее, и сначала тихо, а потом быстрее и быстрее побежал до самого дома. Но и дома ему было неспокойно, и он пошел в поле, на плантацию сахарной свеклы, и до вечера помогал матери. Вместе с ней вернулся, но ночью ему спалось плохо, вокруг были одни просветы, по ним проходили взрослые красивые девушки, и он метался во сне. Еще две недели он не знал покоя, потом девушка из деревни уехала, а в школе началась учеба.

Но целиком эта история не ушла из его жизни. Изредка, когда попадалось на пути черешневое дерево, или когда проходил он мимо вечно закрытого домика на берегу пруда, или когда шли по улице парень с девушкой, он вдруг весь содрогался, но этого чувства уже не боялся. Наоборот, оно ему даже нравилось, и единственной его заботой было — как бы кто не догадался об этом. Он уже знал, что в жизни каждого человека бывают тайны, а истинные тайны живут и умирают вместе с самим человеком.

5. НАПАДЕНИЕ ГУННОВ

Кто бы мог подумать, что есть еще и такое горе в человеческой жизни — замукование сестры. А между тем такое горе есть, и оно настигло бедного Андрея в самое неподходящее для него время. То есть поначалу все было ничего, даже весело было. Поначалу пошли слухи про деревню о том, что сестра его выходит замуж, и его тоже стало останавливать взрослые и спрашивали: что, правда, сестра замуж выходит? Он отвечал устало, мимоходом: да, на будущей неделе свадьба, — отвечал, точно ему ничего не стоило взять вот так и выдать сестру замуж.

Потом наступила неслыханная суматоха в доме — все не успевают, не то делают, у всех озбоченные, перепуганные лица, и это его очень забавляло. Приходил жених. Приходил он уже не по вече-

рам, на закате, когда обычно парни заявляются к своим невестам,—приходил он и в полдень и после полудня, а другой раз не успевая глаза продрать, а он уже тут. Андрею было очень приятно породниться с ним—парень был сильный и ловкий.

Потом настал день свадьбы, и жених заявился с музыкантами, с родичами своими, в нарядном черном костюме. Во двор к ним набилась уйма народа, пришли даже те, кто в жизни не ходил по этой улице, даже те, которые никогда не здоровались с ними. Дом сиял чистотой и убранством, всюду за столами сидели гости, три человека ведрами выносили вино из погреба и не успевали, музыканты играли во дворе так, что прямо оглохнешь, и на том самом пятачке, куда у них выгружали зеленые табачные листья, танцевали чуть ли не сотни две народу, причем все умещались и всем было весело. Потом его увели к соседке спать, потому что свадьба шла еще и всю ночь, а на следующий день, когда он вернулся из школы, сестры уже не было. Все ее приданое из третьей комнаты вывезли, и та комната, самая красивая в их доме, теперь торчала голая и неприкаянная. Та небольшая, раздетая комната его совершенно измучила, она мешала ему учить уроки, мешала играть с ребятами, мешала идти по деревне. Ему казалось, что все знают, как выглядит у них в доме та, третья комната, и очень жалуют его. Мама уже не каждый день прибиралась в доме, и, если отец делал замечание, она говорила: ничего, жених не разлюбил. Почему-то ссор добавилось, то есть их бывало, наверное, столько же, но раньше сестра всех примирляла, а теперь мирить было некому.

Три раза в день, утром, в обед и вечером, они садились есть. Как и у всех людей, у них был стол, и у этого стола были четыре стороны, четыре стула, и их самих раньше было четверо, но теперь осталось трое, и одна сторона стола все время пустовала. Он никак не мог к этому приладиться. У них был в доме заведен порядок—есть только всей четверкой вместе, и, если кто опаздывал, остальные его ждали. И вот они садятся, но одна сторона столика пустует, и он сидит, кусок в горло не лезет. Отец с матерью переглядываются и, поскольку больше не о чем говорить, начинают воспитывать Андрея.

В школе тоже стало как-то тоскливо. Учитель истории рассказывал про нападение гуннов: тьма-тьмущая дикий, несущая верхом на низкорослых своих лошадах, сжигают все на территории бедной Молдавии, так что одни слезы, и пепел, и дым. И подумать только—во главе их стоял карлик по имени Аттила, и прозвали того карлика «Бич божий», до того страшен был. Как выглядели обыкновенные гунны, Андрей не мог себе представить, а самого Аттилу видел живым перед собой. У него было лицо точь-в-точь как у того парня из шестого класса, которого за долговязость прозвали Цапляй.

Между прочим, он очень странно дрался, этот самый Цапля. Глаза наливаются бешенством, губу закусит, правую руку вытянет, пальцы на ней растопырит и так вот, с вытянутой рукой и растопыренными пальцами, идет он на противника, точно хочет заргист пятачной все его лицо—и нос, и глаза, и щеки. Схватить и вырвать живьем. Это было очень страшно—смотреть, как он лезет в драку; его побаивались и старались дружить с ним: как бы он не пошел на них с растопыренной пятачкой.

Андрея он никогда не трогал, но это было не так уж важно, все равно он был похож на Аттилу. И как раз в это тоскливое время, возвращаясь как-то под вечер из магазина с тремя кусками мыла, потому что мать наказала купить, он вдруг встретил Цаплю. На пугу десять ребят, пять на пята, играли в свинку,

это нечто вроде хоккея, только, конечно, без коньков, потому что дело было летом, и без клюшек, вместо клюшек пали у них были. Цапля очень хотелось выиграть, он в одной пятачке был капитаном, и ему пришлось в голову заменить слабого игрока. Увидев Андрея, он завопил:

— Вытащи палку из забора и давай сюда! В нападении будешь.

Андрей положил мыло прямо на траву, вытащил палку, подошел, стал посреди поля, но играть не стал, а спросил:

— Слушай ты, долговязый, я давно хотел тебя спросить: ты, когда дерешься, почему норовишь схватить человека пятачной прямо за лицо?..

Тот не понял:

— Чего-чего?!

— Я говорю, ты почему лезешь на всех пятачной и норовишь...

— А тебе-то какое дело? Тебя не хватили, и скажи спасибо. Молись богу, чтобы и впредь пронесло. Будешь играть?

— Играй я буду, но ты, Цапля, сначала мне ответь.

Надо сказать, что Цапля не терпел этого прозвища. Андрей не успел сказать фразу до конца, потому что тот, растопырив пятачно, уже шел на него, целясь прямо в лицо. Андрей от ужаса присел. И у него вдруг откуда-то появились силы или это, может, был страх, но он кинулся на Цаплю, ударил головой в живот, и тот упал. Катался по земле и выл, а Андрей прыгнул на него, схватил за шевелюру, тыкал лицом в пыль и спрашивал, приятно ли ему, когда его самого не то что хватают за лицо, а просто тыкают им в землю.

У Цапли пошла кровь из носа, и их разняли. Потом Цапля долго плакал, размазывая кровь вместе с соплями по обеим щекам, а на Андрея кинулись все те, кто дрожал от страха перед Цаплей. Чтобы на будущее заручиться его дружбой, они били Андрея, но это уже не имело для него никакого значения: важно было, что он победил Аттилу.

Домой он пришел с двумя синяками, в изодранной рубашке. Мама его чистила-чистила, ругала-ругала, а отец, его старый защитник и союзник, на этот раз молчал, может, даже думал про себя, что зря он раньше за него заступался, но и это Андрея не так уж волновало. Важнее было то, что гунны были отбиты. Учитель говорил, что только после того, как отбили их, наши бедные предки чуть посвободнее вздохнули и почувствовали себя людьми. А свободно вздохнуть и чувствовать себя человеком—это, если хотите знать, может быть, самое главное в жизни.

Кайсын Кушев



Перевел
с балгарского
И ГРЕВНЕВ



Я вам не говорил, что жизнь легка,
Но жизни, любил и славил жизнь всегда я.
Что жизнь прекрасна, хоть порой горька,
Я говорил и ныне повторяю.

И тот из нас, кто на земле живет,
Не чувствуя того, что жизнь сурова,
Откуда может знать, как сладок мед
И как прекрасно истинное слово!

Я вам не говорил, что просто жить,
Я говорил, что жить живущим надо,
Хоть жить порою — значит слезы лить
От горьких бед и непосильных тягот.

Когда был скуден хлеб, и труден путь,
И гасли очаги, людей не грея,
Я жизни постигал все ту же суть,
Учась у тех, кто был меня мудрее.

И ныне, как в былые времена,
Закон, который подтвердили годы,
Я повторяю, видя из окна
Чинар, что вынес бури и невзгоды.



Сон, счастливый сон приснился мне,
Закружился над моей постелью:
Прежний мальчик, я бежал от сие
Летом по Чегемскому ущелью.
В мальчике, который так красив,
Я и сам себя узнал не сразу,
Никаких грехов не совершив,
Я еще не каился ни разу.
Горы отдаленные бели,
Скалы с двух сторон стоят стеною,
Надо мною кружатся орлы,
И река грохочет подо мною.
У меня еще довольно сил,
Чтоб весь мир дарить своей улыбкой.
Я пока еще не совершил
В жизни ни одной своей ошибки.

Я иду, смеюсь, я не боюсь
Никакой промашки или оплошки,
Мне пока еще неведом вкус
Мерзлой брюквы и гнилой картошки.
Я иду, не маюсь от жары,
Встречным людям радуясь заране,
И мои давнишние вихры
Треплет ветер где-то на поляне.
Сильный я, совсем еще здоров,
Я бегу, не чувствуя удушья,
Не дошел еще я до мостов
Равнодушия, страха, магодушия;
И вокруг аулов нежилых
Нет еще в моем родимом крае,
И о том, что я увижу их,
Ничего пока еще не знаю.
Я иду, никто в меня пока
Не стрелял, не целил ниоткуда,
Да и сам ни в одного врага
Я еще не выстрелил покуда.
Я, который глуп еще и мал,
Ни богатства не познал, ни славы,
Вслед еще никто мне не бросал
Слов несправедливых и неправых.
Снипось: в свете солнечного дня
Я иду по дорожному краю,
И того, что в жизни ждет меня,
Я себе еще не представляю...



Случалось, помню, в дни войны не раз:
В тот час, когда в родном селеньи где-то
Свершала мать обычный свой намаз,
Нас в бой звала сигнальная ракета.
Молилась мать, молила за меня,
Чтоб я домой скорее воротился,
Чтоб невредимым вышел из огня,
И луч надежды перед ней светился.
Лилась молитва там, в родном краю,
На поле боя кровь моя спекалась,
И, может быть, отчаянием в бою
С молитвой матери соединилась.
Сгорали в мире города дотла,
Друг с другом целые народы бились,
Кровь сыновей людских текла, текла,
Их матери молились и молились,
И как бы ни менялись времена,
Во все века бывало так от века:
Молитва сотворялась, шла война,
О том свидетельствуя, как трудна
Жизнь человека...



И кто-то в эту самую минуту
Готовит снова пулю, может быть,
Которая должна меня убить
По замыслу мудреному чьему-то.
И, может быть, сейчас куют кинжал
И кто-то, движимый понятием ложным,
Вонзает его в меня, чтоб я упал,
Окрасив кровью камень придорожный.
Вовек я хлеба не лишил людей,
В дома их не врвался среди ночи.
Так почему же гибелью моей
Неодолимо кто-то озбочен!
Я жил, не убивал людей других,
Я не стремился к злобе одержимой.
Во имя же каких людей благих
Кому-то смерть моя необходима!
Несчастья никому я не желал,

И чью-то кровь я сам пролить могу ли!
Но точат где-то на меня кинжал
И льют мне уготовленные пули.



Мир снова полон страхов к тревог,
И где-то снова громят войны,
А здесь, в горах, как мой отец покойный,
Спокойно горец складывает стог.
Сегодня, как в минувшие века,
В горах звенит коса, траву срезает,
И сено свежее благоухает,
И в небе проплывают облака.
Летят устои, рушатся твердины,
И миру беды новые грозят,
А кучи сена, скошенного ныне,
Лежат, как сотни лет тому назад.
Стоит косарь, и, как его предтечам,
Лес и поляна, скошенная сплошь,
На не менявшемся с тех пор наречьи
Твердят ему: «От жизни не уйдешь!»
Я вижу: над землею птица кружит,
Пасутся где-то буйволы вдали,
Как будто огнестрельного оружия
Покуда люди не изобрели.
Ложится солнце косарю на плечи,
Над головой сияет белизна,
Как будто мир, где настает мой вечер,
Не сотрясала ни одна война.
Траву сгребая граблями спокойно,
Степенный горец складывает стог
Так, будто в мире вовсе нет тревог
И отгнемели все на свете войны.



Тихо умер человек больной,
Так с открытым взглядом и остался,
Будто что-то после под землей
Он еще увидеть собирался.
Или, может, взгляда от земли
Не хотел он отрывать веками,
И, как ни старались, не могли
Мы ему закрыть слепые веки.
Он глядел на мир, где жизнь прожил,
На цветущий край, знакомый с детства,
Будто бы на все, чем дорожил,
Не успел при жизни наглядеться.
Будто этот бедный человек
Вновь хотел увидеть в небе птицу,
После за рской, на склоне снег —
Все, с чем не успел еще проститься.
Где-то под горой текла река,
Мул тянул телегу вдоль обрыва,
Два уже не видящих зрачка
Отражали то, что было живо.
И лежал недвижный человек.
Мертвым взглядом он прощался с нами,
Так он на последний свой ночлег
И поплыл с открытыми глазами.



Когда сгорело все, что ни на есть,—
Трава пожухла, и листва увяла,
Пролился дождь, ненужный, словно весть,
Что опоздала.
Пролился дождь, ненужный и похожий
На крик о помощи, пронзивший ночь,
Который услышать никто не может
Из тех, кто б мог зовущему помочь.
Был щедрым дождь, старался литься честно,
Но ничего он изменить не мог,
Как слово, сказанное неуместно,
Иль милость, совершенная не в срок.

Мансур Векплов



В Шувелянах¹

Я ступаю по утреннему песку,
Зябко пальцами шевеля.
Остужающей струйкой скользит по виску
Шелестение Шувелян.
Каспий — пес голубой на незримой цепи —
Набегает, гремя и шипя,
И песчаную дробью сквозит по степи
Шелестение Шувелян.
Первый норд, увядания первый прогноз,
И — предчувствием дальним толим —
Первый раз я с тобою прощаюсь всерьез,
Альвида², Апшерон-муаллим³...
Я в долгу пред тобой, виноградный лицев,
Хоть за этот нештоточный дар:
Через белые зимы несущ на лице
Негативом твой добрый загар.
И в какой-нибудь миг от тебя вдалеке
Я увижу, печаль затая,
Серебристою рыбкой на суглом песке
Мне блеснула улыбка твоя...

Первый урок

Маленький мальчик с мелом в руке
Смело подходит к огромной доске.
К той, что чернеет на белой стене,
Словно ночное небо в окне.
Храбрый малыш, он усвоил едва
Самые первые в жизни слова.
Храбрый малыш, он не знает пока,
Что бесконечна, как небо, доска...
Словно бы в стекла слепой мотылек,
Бьется о доску белый мелок,
Сыплются крылышки-крошки во тьму,
Но абсолютно не страшно ему
И что сотрется надпись, не жаль.
Маленький мальчик,
Звездная даль...

¹ Шувеляны — курортное местечко на Апшероне в Азербайджане.

² Альвида — прощай.

³ Муаллим — учитель, уважительная приставка к имени.

Станислав Куняев



Холод весенней земли,
птичьи любовные трели
в поле меня увели,
душу мою отогрели,
и потому, что снега
вдруг растеряли суровость,
стала мне жизнь дорога,
как долгожданная новость.
Время всей сутью своей
глухо умрет в человеке.
Но из седых тополей
прут молодые побеги.
Вспенив лесные ручьи,
жизнь, ты недаром хлопчешь —
выболтай в звездной ночи
все, что ты знаешь и хочешь,
чтобы во имя тебя
выли машины, буксуя,
и, в бесконечность летя,
слышался звук поцелуя,
чтобы, свободно служа
слову, судьбе и отчизне,
не уставала душа —
вечная спутница жизни.



Надоела мне радость чужая,
надоело, с привычной тоской
всю душевную стать обаяная,
вам рассказывать, кто я такой.
А в Небесных горах в это время
с перевалов сползают снега,
знать, недаром в железное стремя
по весне запросилась нога.
Да спасет меня дело мужское —
выючить вьюжики, седлать лошадей
и сверкающем луном просторе
вспоминать про любимых людей...



В мокрых кустах краснотала
хрипло кричит пустельга.
Синее небо упало
на заливные луга.
Звонкоголосые жабы
томно поют в бочагах.
Простоволосые бабы

варят еду в очагах.
В бережном околотке
вьются дымы вдоль реки —
узкие черные лодки
дружно смоят землянки.
Сколько здесь некогда было
памятных сердцу следов,
но половодьем их смыло
с милых моих берегов.



Как водится, сны снова, снова
мы с матерью все о своем.
Мы все понимаем с полслова,
когда остаемся вдвоем.
Опять возникают из тлена,
из тени вчерашнего дня
фамильные наши колена,
родные мои и родня.
Не то, чтобы я образцовый
хранитель семейных бумаг,
но все же к своей родословной
я неравнодушен никак.
Тем паче, что бабкам, и дедам,
и теткам моим, и дядьям
пришлось причаститься к победам,
ко всем историческим бедам,
ко всем эпохальным путям.
К тому же так необходимо
и вам, и кому-то, и мне
себя ощутить на родимой,
а не на случайной земле,
в которой забытые предки
лежат, ни о чем не тужа,
где с каждой распутицей реки
клокочут, обрывы круша,
где память и жизнь неразрывны,
где пищи хватает уму
над связями правды и кривды
задуматься, глядя во тьму.

Весенний туман

Что видится в этом тумане —
какая житейская гладь!
Быть может, какое желанье
под этот туман загадать!

Недаром в такие погоды,
несущие теплую дрожь,
клубятся грядущие годы
иль прошлые — не разберешь.

Недаром укрылись в тумане,
ползущем с прибрежных полей,
и новых громад очертанья
и контуры древних церквей.

Колышутся милые лица,
во мраке сияют глаза —
вся жизнь и плывет и двонется,
сбиваясь на все голоса.

Как будто, собираясь в дорогу,
не я, а какой-то другой
уходит с родного порога
и матери машет рукой.

И линия черного бора
едва проступает на свет,
как эхо того разговора,
которому тысяча лет...



ВЛАДИМИР ГОНИК

ДЕНЬ БАБЬЕГО ЛЕТА

ПОВЕСТЬ

1

Улицы были еще сонливы, и пусты, и влажны после ночной уборки. В тишине за домами аствовало солнце. Раздувая белые усы, Арбатскую площадь обходила поливальная машина. Брызги горели на солнце. В них рождалась и пропадала маленькая радуга.

Все выглядело свежим, чистым, и вывеска — белое на синем «Молоко» — добавляла опрятности и прохлады. Возле молочной остановился фургон, шофер ловко выгрузил сетки с бутылками.

Наступила осень, бабье лето, окна на ночь уже закрывали, но некоторые оставались открытыми, и слабый ветер шевелил разноцветные шторы. Где-то зазвонил будильник. Донесся шум уходящего троллейбуса, просвистел за домами — дальше, дальше — и стих.

В одном из арбатских переулков, в старом желтоватом доме, спал мальчишка. Остриженная голова, розовое лицо, губы сонно распухли. Уличный воздух слабо тербел шторы, и солнце вспыхивало и гасло в переменчивых щелях, а солнечные блики бродили по комнате и шарил по углам. В углах валялись коньки, клюшка, футбольный мяч, на стене висела гитара, а на столе поблескивали металлом магнитофон и транзистор.

В комнате еще стояли чертежная доска, книжный шкаф и аккуратно застеленная вторая кровать. Солнечные блики добрались до полок и отразились в стекле.

2

Пока младший брат спал, Виктор спустился на улицу и побежал. Он пробежал мимо почты, мимо молочной, молочной... Этой дорогой он бежал каждый день.

Дышал он ровно, размеренно и бежал легко, без напряжения. Взгляд скользил по знакомым старым домам, не задерживаясь: каждый камень Виктор знал наизусть и никогда не замечал тихой приветливости арбатских домов и переулков, по которым настоящие москвичи тоскуют в чужих местах.

Так он бегал круглый год в любую погоду. Анто-на мать жалела, поднимать не давала: «Он у нас младший, еще хлебнет...»

Виктор брат казался сонным и рылным. Не знает, чего хочет, плывет по течению; даже спортом занимается от случая к случаю, угловизы коллекционирует — нашел увлечение. А вырос под метр восемьдесят... То торчит дома вечер напролет, мается, то шляется неприкаянно где-то до полнотчи, то сидит на скамье с гитарой. Поместоче бы с ним, перекроить — упустили время. А Лена сказала задумчиво:

— Определится... Людей не кроят, учат, — и до-бавила невесело: — Ты хороший конструктор, — как будто сожалела, как будто подытожила прежнее.

Не нравилась ему в ней эта, как он называл, «гуманитарщина». Он вообще не любил неопределенности, не любил, когда в людях не было четких граней.

В мире все точно и определено: черное и белое, холодное и горячее, правое и левое... Все ясно, понятно, все известно, и можно все объяснить.

Когда Лена готовила обед, ходила на работу, когда изредка отправлялась с ним в гости, в театр, а чаще в кино, когда стремительно и резко, по-мужски играла в пинг-понг, когда они вместе с приятелями ходили в походы, Виктор был спокоен: все налицо, понятно, правильно, нормально.

Но временами, после чтения, или музыки, или просто сама по себе она подолгу необъяснимо сидела, не двигаясь, точно оцепенев, невидяще глядя перед собой.

Она становилась далекой и непонятной, отделившая от него скрытой преградой; он испытывал раздражение и смутную тревогу.

Бывали дни, когда она часами бродила одна. А он не позволял себе так транжирить время: чтобы набраться кислорода, достаточно двадцати минут. Он твердо знал: делу — время, потехе — час.

То, что было в ней зыбкого, ускользающего, неопределенного, чему он никак не мог подобрать названия, он относил за счет ее филологии. «Тоже мне наука», — говорил он.

Он забывал об этом, когда жена легко и гибко шла навстречу: светлые волосы, большие зеленые глаза, длинные, стройные ноги, — прохожие обращали внимание; когда она азартно падала топсанами, посылая шарик в край теннисного стола, улыбаясь и локтем отводя волосы после удачного удара; когда быстро и экономно управлялась с домашними делами; когда была точна в характеристиках, обязательна в обещаниях и совсем не по-женски пунктуальна во времени.

Но иногда...

Он не понимал, как один человек может быть так переменчив. Или даже не то... Не меняясь, быть таким разным в одно время.

Иногда она была рассеянной, непонятной, противоречивой. Она как будто уходила от него, оставаясь рядом. И часто ставила его в тупик. Ни за что на свете он не стал бы тратить ночь на книгу, выпрошенную до утра. А Лена могла. И даже посматривала на него с сожалением, когда он гнал ее спать.

Как будто он не требовал того, что правильно и нормально, а сам попадал впросак.

У них не ладилось. Периоды благополучия и покоя сменялись раздражением и непониманием. И вот уже три месяца не виделись, хотя и не раз-вешлись.

Он бежал переулками круг и вернулся. Вошел во двор, замкнутый домами, достал из кармана резину, на виду у всех окон принялся за гимнастику. В домах за много лет к нему привыкли: пропусти день — всполошались.

Скамейки, грибок, борта песочницы были еще в росе. Сырой, темный песок выглядел вязким. Виктор, напрягая мышцы, растягивал резину. По утрам положено делать гимнастику. Он знал, что жить нужно просто, и старался жить просто — изо дня в день делать, что положено.

Положено работать, быть в театрах, музеях, развиваться, читать художественную и техническую литературу, повышать уровень. Полезно по утрам бегать, делать зарядку. Духовное должно сочетаться с физическим, будем гармоничны. Хочешь не хочешь — надо! Жизнь проста, не нужно только усложнять. Он, как часы с заводом, заводился от движения; пружина всегда оставалась тугой.

В парадном было сумрачно, пахло кошками. Широкая лестница, ступеньки мелкие, как в больнице. Когда-то на площадках между этажами висели зеркала. Теперь лишь внизу остался темный шершавый осколок. Виктор заглянул: из черноты и трещин вырезались глаза. Короткие волосы, прямой нос, сухие скулы, ничего, лицо твердое, надежное. Он побегал вверх.

На втором этаже за дверью, как всегда, кричала Прасковья Банина, работник прилавка. Как всегда, она обличала соседей, погрязших в грехах, и поминала строгие и праведные былые времена. Когда-то и у нее был муж, но бежал давно, скрылся, законспирировался, исчез. И считалась она как бы снова девушкой. Оттого и кипела Прасковья гневом.

Виктор открыл дверь, пошел по длинному коридору, в котором висели корыта, велосипеды и стояли шкафы с высшими замками.

Давно можно было получить новую отдельную квартиру в светлом доме где-нибудь у Речного вокзала, в Тушине, в Шукине, у Серебряного Бора — там, где просторно и чисто, и всегда свежий воздух, а поблизости лес и вода, и взгляд не замыкается, как здесь, на стенах домов, а постоянно видно далеко. И толчея нет, мельтешения, как в центре, нет путаницы переулков. Все просто, ясно, геометрично.

Он не понимал странной привязанности матери к тихим, застенчивым переулкам, по которым в начале лета плыл тополиный пух, к извилистой булочной и молочной, к маленьким зеленым дворам и melancholic Гоголевскому бульвару. Но матери терять Арбат — отирать живое с кровью.

Она ждала его с завтраком во второй комнате. Когда-то у них была одна большая, но после его женитьбы разгородили.

— Спит? — спросил Виктор.

— Пусть поспит, последний день... вздохнула мать. Она вспомнила что-то, опустила голову.

— Мать, ну что ты все сначала! — сказал Виктор.

Она молча включила уют, постелила на другой половине стола одеяло. Потом вышла в громадную общую кухню, в которой стояло множество столов

и несколько газовых плит, сняла с веревки белье. Вернулась, села ждать утюг и сидела печальная, как будто болела.

— Пойми, он не на фронт идет, просто в армию,— сказал Виктор.— Как другие мальчишки.

— А вдруг война?

— Да какая война?

— Газеты пишут...

— Тебе хоть не давай читать. Сейчас мирное время! А война— все пойдем, не он один.

— Ты-то институт окончил...

— И он мог... Кто мешал? Ему, видишь ли, деньги нужны были. Транзистор, магнитофон... Вот и пошел зарабатывать на игрушки.

— Молодой еще, все ему хочется. Сейчас у всех есть.

— Ничего, в армии поймет, что к чему. Мы не научили, сержант научит.

Мать лизнула палец, тронула утюг, стала гладить. Виктор допил кофе и встал.

— Антону к пяти,— напомнила мать.

— Я знаю, отправлюсь,— ответил Виктор.

Он ушел, а она печально гладила трусы, майки, носки... Антон спал.

5

Впервые за два года он спал так поздно в будний день. А два года назад он впервые встал непривычно рано, раньше брата, и впервые пошел на работу. В тот день многое было в первый раз. И автобус, которым он потом ездил всегда, и дорога, и завод... Его удивило, что многие в автобусе здороваются, хотя входят и выходят на разных остановках. Потом, позже, он узнал, что в этот час каждый имеет свой автобус, свой трамвай или троллейбус и своих попутчиков— изо дня в день, многие годы. А раньше он думал, что совпадения случайны, люди ездят как придется, как он сам, прыгал на что подвернется и редко-редко встречал знакомые лица.

Он представил, как по всей Москве люди едут на работу, и вот их стало на одного больше: он, Антон, сам увеличил их число— впервые едет вместе со всеми, и это еще не работа, только дорога к ней, но и она знакомит людей и собирает их вместе.

6

От проходной дорога шла мимо темно-красного старого здания. Над шерботой кирпичной стеной чернели закопченные стекла в два этажа. С другой стороны тянулись желто-белые штабеля свежих досок. Пахло деревом и смолой.

Это был еще не завод— начало. Завод угадывался за углом здания. Оттуда шел тугой ровный гул. Из него вырезались отдельные временные звуки: вой пилы, металлический скрежет, звонкие удары, шипение сварки. Когда звуки исчезали, мерный рокот заполнял пространство впереди. Это было похоже на невидимое за дюнами море. Море он видел однажды. И сейчас, как тогда, ждал с нетерпением и тревогой, что откроется перед ним. Ждал, пока шел вдоль стены.

Антон увидел просторную площадь, покрытую асфальтом и обсаженную деревьями. Газоны с цве-

тами, белый Стордюр. В разные стороны, как в парке, шли аллеи, заросшие сиренью. И только вдали, за кустами и деревьями, смутно проглядывались корпуса. Как павильоны в Сокольниках. Он даже разочаровался.

Антон ожидал скопления труб, эстакад, бетонно-стеклянных разновысоких корпусов, связанных металлическими лестницами и переходами. Как на рисунках в книгах. Он никогда не видел заводов вблизи. Ни он, ни одноклассники.

По вечерам они сидели на бульваре с гитарами. Постукивая, похлопывая, пели баллады битлов, цыганские песни, с надрывом, жестоко жалея свою пропавшую судьбу и себя, но иногда просто и грустно «Однозвучно гремит колокольчик» или «Степь да степь кругом»— в этих похматых городских парках вдруг проспало что-то давнее, протяжное, забытое, чего они и не знали вовсе, но вот ожило, повело.

Они заранее все обсудили и решили. После школы пойдут аквалангисты, заработают, купят магнитофоны, транзисторы, мотоциклы, приедутся. Тогда и собраться достойно можно, с девочками, и пойти, куда хочется, а не сидеть на скамейке, цупать карманные швы, удить копейки. И поехать куда-нибудь... А дальше видно будет. Потом, когда-нибудь, успеется...

7

Уначальника литейного цеха было смуглое лицо, черные волосы и печальные черные глаза. Очки глаза увеличивали, наполняя все помещение скорбью. Он грустно смотрел на Антона: множество таких мальчиков перебивало здесь— сначала с направлением отдела кадров, потом с обходным листком. То же будет и с этим. И прическа подтверждает: волосы на лбу и на ушах. Начальник был спокоен и мудр, все знал наперед.

Он вызвал мастера Чернаковского, представил Антона, сказал грустно: «Желаю удачи»— и вновь озабоченно склонился над бумагами: надо было выполнять план, а людей не хватало. Антон понял: в глазах начальника он не работник, один из многих— мельник, исчезнет.

Антон вышел за мастером в коридор. Мастер иронически осмотрел его прическу и спросил:

— После школы?

Антон кивнул.

— Сбежишь скоро?

— Почему сбегу?

— Для литейки образования много.

— Посмотри...

— Посмотри,— усмехнулся мастер и открыл дверь.

У Антона даже дыхание перехватило.

8

День и ночь гудели вагранки. Самым острым был момент, когда пробивали летку. Он всегда казался внезапным, хотя его все ждали. В отверстие ударял жидкий чугун. Становилось шумно и жарко. Пыль застила сеть, гулял черный ветер. По стенам и закопченным стеклам криши металиси огненные сполохи и громадные тени.

Белая струя по дуге падала в громадный обожженный ковш. Цех наполнялся каленым светом, гул закладывал уши. Подъемный кран поднимал ковш и тащил его через весь цех. Из ползущей под крышей кабины вниз поглядывала красноватая. С

ковшиками на длинных ручках бегали разливщики, заливали металлом формы. На черных, как у угров, лицах горели белки глаз. Новичку казалось, что он попал в преисподнюю.

Здесь нужно было смотреть в оба. Если кто-то стоял на дороге, в спину громко и зло орали. Первое время Антон настороженно вертел головой; услышав крик, дергался, отплетал. Это приметили и, разлекаясь, неожиданно рывали в спину, просто так, для смеха,—его как ветром сдувало. Потом ничего, привык...

Вначале казалось, что в грохоте, в спешке, в горячке, в непрерывном движении нет никакой системы, все беспорядочно и суебно. Но, привыкнув, присмотревшись, он заметил продуманность в каждом шаге и во всей работе. Черноволосый скорбный начальник цеха не зря корпел над бумагами. Все знали свои места и свой путь по цеху от ковша к форме. И плавки шли добротные, без брака.

Были редкие минуты, когда цех замирал в своей пустынной громадности, длинный, елкий, погружался в сонное оцепенение, в протяжную тишину — только пыль дрожала и роилась в столбах света, опускавшихся сквозь просветы в стеклах. Все громадное застеленное пространство наполнялось тайным значением пустоты и беззвучия.

Даже тогда, когда Антон сам все здесь знал, был уже не учеником — рабочим, цех часто и неожиданно открывался необычной, скрытой стороной и скрытым смыслом общего труда. Это узнавание длилось долго и, казалось, будет длиться всегда.

Ему нравилось чувство приобщенности, хотя он его не понимал, к чему-то серьезному — к длинному прокопченному зданию с запахами обожженного камня и формовочной земли, к огню и металлу, к множеству связей, которые сплетались здесь между людьми.

Антон никогда раньше не думал о людях вокруг. В цехе все они сначала казались одинаковыми. Постепенно он стал их различать.

Он узнал, что Попов ждет ребенка, Мирошинченко по воскресеньям ездит на птичий рынок, Поликарпов ловит рыбу, Лурье жонглирует, Зарубин вырезает из журналов красивых женщин. Нельзя было бок о бок работать с людьми и ничего о них не знать. Даже о мастере Чернаковском, который скрывал свое настоящее имя Анфурый, а придумал себе, как ему казалось, более красивое — Арнольд. Антон узнал, что у него взрослый сын, а жена Чернаковского звонила иногда в цех и низким голосом просила передать мужу, чтобы он развесил белье, если вернется домой раньше, чем она. И однажды Чернаковский проговорился, что в юности мечтал быть известным футболистом.

Теперь Антон понимал в цехе каждое слово. Он понимал даже то, что не говорилось: выражение глаз, взгляды, молчание. Особенно ему нравилось, когда случалась срочная важная работа.

Все молча и слаженно двигались, чувствуя рядом друг друга, как в хорошей хоккейной команде: пас, не глядя, на свободное место, а партнер уже там, должен, обязан — нет, даже не это, просто знает, где ему быть. И вот работа идет сама, без усилий, легко, накатано — вагон собщца толкнули под уклон. Все было ясно, понятно. И все оттого, что они знали друг друга и друг в друге были уверены. Цех вызывал уважение. Это было что-то твердое, настоящее, не на словах.

Когда, отворячая лицо от ковша с раскаленным чугуном, Антон бежал по цеху, когда напряженным

следил за красно-белой струей, наполняющей форму, и позже, когда чугун, темнея, остывая и твердея, Антон не думал, зачем все это. Он не думал, куда пойдут детали и для чего они вообще. Он как будто был отрезан от их дальнейшей жизни. Его дело было наполнить форму чугуном, остальное его не касалось.

Но однажды, когда он выходил из проходной, раздвинулись ворота, и громадные грузовики с прицепами повезли дощатые ящики, на которых были написаны далекие адреса. Антон представил эти далекие места и неожиданно подумал, что в этих ящиках его работа. Эта простая мысль удивила его. Оказывается, то, что он бездумно делал изо дня в день, эхом откликалось вдали. Тогда он подумал, сколько машин работает повсюду с его помощью; он представил все эти машины — выходило немало.

Они не могли работать без него, как не могли без многих других, незнакомых людей. Он подумал, что связан теперь с множеством людей, которые его не знают, и все они накрепко связаны своими машинами. Так ему представилось движение, которое родило его бег с ковшом к форме, и далекий результат этого бега.

Грузовики тяжело перевалили через помост над рельсами и скрылись в переулках. Антон постоял минутку и повернул назад.

— Забыл что? — спросил вахтер.

Антон вернулся к цеху, но внутрь не зашел. Он стоял у входа, пока не выехал электрокар с деталями. Он проводил их в механический цех и впервые шел за ними, как экскурсант, от станка к станку, которые их обрабатывали, сверлили, фрезеровали — и так обошел весь завод, пока не добрался к сборочному конвейеру. Здесь его деталь попадала на свое место, теряясь среди других; ее уже не было видно, но он знал: она здесь, внутри, без нее никак.

С тех пор при виде грузовиков, выходящих с ящиками из ворот, он сразу представлял весь долгий путь своей детали. Но в самом начале был он, Антон, с ковшом на длинной ручке. И когда он бежал к форме и, напрягаясь, опрокидывал в нее красно-белую струю, он знал, что будет дальше с остывающим чугуном, пока грузовики не выедут с ящиками за ворота. Антон даже гордился, хотя не понимал своей гордости: просто приятно было, что с него все начиналось. В работе появился смысл. Антон не думал, не понимал отчетливо, но угадывал в работе всеобщую связь людей.

Когда все увидели, что Антон работает не хуже других и вроде не собирается бежать, ему простили и среднее образование и причислу и признали своим. Даже начальник, заметив его, удивился, узнал; его печальные глаза расширились преувеличенно за крутыми линзами. Он подумал, что в своей калькуляции может рассчитывать и на этого лохматого парня.

С мастером отношения складывались сложно. Чернаковский был флюгером и то говорил грозно: «Целых семь дней!» — то скромненько: «Всего одна неделька...»

Это был сутливый маленький человек. На мелком теле крупная голова, сухие, ломкие волосы, птичье лицо. Ноги у него были короткие и, когда он торопился, казалось, что он катится на колесиках.

Торопился он всегда и везде. Любое дело, пустяковое без него, при нем оборачивалось грандиозной проблемой, для решения которой требовалось напряжение всех сил и громкий клич.

Чернаковский стремглав срывался с места и бросался в работу, как в драку, не щадя ни себя, ни других, разводя жар до небес. Начиналась суматоха, стены ходили ходуном от трудовых усилий. Ему все казалось мало — орал, крыл кого-то, распалился и взвинчивая себя еще больше. Все бешено вкалывали и в конце концов делали что нужно.

Потом выяснялось, что начали не с того и делали все не так, чesали через голову левое ухо правой рукой... А можно было сначала минутку подумать и сделать все просто и тихо.

Они не раз сталкивались. Мастер редко разбирался, кто прав, кто виноват. Главное было принять меры. Как будто включался мотор, стоящий на последней передаче. Следовал взрыв, и мастер нес без дороги, закусив удила.

Разойдись, Чернаковский на ходу придумывал коробы обвинений; он вообще любил припрятать. Но, обругав зря и попав впросак, никогда не извинялся. Рассказывал анекдот и делал вид, что ничего не произошло.

В работе он признавал лишь горение и порыв и не любил тех, кто работал тихо и скромно. И, бывало, этим пользовались: некоторые клекотали, бездельничая.

Бывшие однокашники не раз звали к себе. Дима Лаптев работал электриком в жизни, Саня Гуляев — слесарем в ремонтной мастерской. У них случались чаевые и «левая» работа и, как ни говори, это не литейный цех.

Но Антон не ушел. Дело было вовсе не в том, что уход зачтется победой Чернаковского, и не в том, что обходной лист пришлось бы подписывать у начальника цеха. Он, конечно, подпишет, но расчитать на Антона перестанет.

Антон угадывал, не понимая ясно и не умея называть, что в длинной цепи, которую представлял путь его детали по заводу и дальше, выпадет одно звено. Конвейер, разумеется, не станет, и грузовики по-прежнему будут вывозить за ворота ящики с адресами, но он, Антон, выпадет из единой связи, соединяющей многих людей, и окажется в стороне.

10

После работы он принимал душ и ехал домой. Всегда одной дорогой. На ней все было известно, каждый дом, каждый столб. И та старуха с собакой, и толстая продавщица мороженого, и постовой на углу. Даже люди в автобусах, кроме случайных. Изю дня в день, в одно время.

Иногда он задерживался: играл за цех — летом в футбол, зимой в хоккей. Но и дома всегда одно и то же. Книги брата мудрены, в библиотеку тащить их неохота. Послушается до вечера, вечером телевизор. Но больше сидел по-прежнему с ребятами на бульваре, брэнчели на гитарах. И магнитофон был теперь, и транзистор, и деньги, но как-то все лень, тускло. Даже пуговцы бросил собирать.

По возможности ездил в Лужники. Во дворце или на большой аренелюдно, все заводится, можно порвать, отвести душу. Можно посидеть потом в шашлычной, потреться.

Изредка он заходил к Галке, бывшей однокласснице. Они никогда особенно не дружили, просто жили близко и еще в школе виделись чаще других.

Она поступила в иняз. С первым студенческим годом Галка сильно изменилась, стала красиво и модно одеваться, обрезала волосы. Все меньше было им о чем говорить. У нее зачеты, однокурсники, кафе «Лингва» — помолчат или переберут кто где.

И катились все само собой, час за часом, опадали дни, недели и месяцы, год сменил год. Прошли и исчезли, как капли в песке. Минуло два года. И все это время скреблась в Антоне надежда, что переменится что-то, переломится, пойдет по-другому, что-то случится. Он ждал. Ничего не случилось. Но не об этом речь.

Настал день, когда он получил повестку из военкомата.

11

Губы Антона дернулись, вздрогнули смежные веки. Он открыл глаза, но был еще там, во сне, смотрел невидяще, замороченно, не узнавал предметы. Потом взгляд подтвердил, стал яснее. Антон что-то вспомнил, вскинул, с ужасом посмотрел на часы. Было девять. Он рванулся к одежде, остановился и, сообразив, что спешить некуда, яло сел на кровать.

Он сидел, как гном на пеньке: голову опустил, локти положил на колени и кисти рук свесил между ног. Вдруг пропала привычка к окружающим давним вещам. Он разом почувствовал время, прошитое здесь — с детства до сих пор. Каждый предмет внезапно открылся не только самим собой, но другим, полным значения. Ключика, коньки, игрушечный пистолет, письменный стол, за которым просидел десять лет, старый круглый будильник, настольная лампа, продавленное кресло, разрезной нож — ничего этого с ним не будет. Теперь, когда он уезжал, все, что его окружало, виделось иначе.

Последние дни веселились. Сейчас вдруг впервые не понял — угадал: разом отсекается все, что было до сих пор, уносится, остается позади — все, к чему привык. Вместо «есть» становится «было». Впервые, надолго... Стало страшно.

Он сунулся к зеркалу, взглянул на себя стриженного. Ничего себе причекал! Быстро достал из стола фотографию, последнюю перед стрижкой: волосы, гитара — нормальный человек. А теперь... Голова голая, уши торчат. Чтобы заглушить страх, стал гримасничать, а потом скорчил такую рожу, что сам расвеселился.

12

Со стопкой глаженного белья вошла мама. Антон зевнул, в зевке протянул «доброе утро», вышло сладко, неразборчиво, мычливо, томно. Она с жалостью посмотрела на него, голого, сонного, теплого — какой из него солдат, сложила белье на стуле.

— Поспал бы еще, сынок...

Антон сжался весь, расправился, потянулся, потер лицо ладонью.

— Что-то много ты мне собрал, — сказал он.

— Ничего, подождешь свое. Своя ноша не тянет.

— А носков зачем столько? Портянки дадут...

— Говорят, если портянки намочат на носки, не сбываются ноги.

Он дернулся, выпятил грудь, стукнул голыми пятками, отдал честь.

— Ничего, мать... Не собьем!



Было непривычно завтракать в это время. В будни работал, по выходным валялся в постели. И еда отличалась — утро после праздника: шпроты, сардины, сухая колбаса, сыр, паштет, холодец — мать постаралась. Готовила снедь к проходам, но Антону сегодня можно все целый день.

— Пойдешь куда? — спросила мать.

— Погуляю, — сказал он неопределенно с набытым ртом.

Она молча положила на стол десять рублей.

— Ты у меня молодец, — засмеялся Антон.

Сегодня он принадлежал себе. Он еще не знал, как проведет последний вольный день. Каждая минута выросла в цене. Завтра — казарма, строй... Сегодня еще сам себе хозяин. Но все меньше, все короче... Время таяло.

Придурачить бы что-нибудь... Собрать парней, девчонок, рвануть куда-то. Чтобы всего вдоволь — запомнить, врезать в память.

И провожать его некому. Не было у него подруги. У всех были, а у него нет. Не мог выбрать. Это как в вагоне метро: сидишь, плихнешь на девушку, но вот остановка, и входит новая, еще лучше, и ты уже смотришь на нее и забыл о прежней. А поезд несется к следующей остановке.

Он медленно оделся, спустился вниз, лениво побрел по переулку. Солнце пригревало, но не настывало, а по-осеннему, застенчиво, не знойно. Деревья были еще зелеными, но уже проглядывалась желтизна и не так виделась, как ожидалась.

Все было, как всегда: посольства, булочная, молочная... Вывеска конторы, две старухи у двери, афишная доска, кошка в окне... Он шел спокойно, даже благодушно. Но внутри, в глубине, как опухоль, гнездилась тревога. И временами всплывали в памяти отрезанные слова: «Последний nonetheless денечек...»

Чerez проходной двор он вышел на пустырь позади школы. Мальчишки играли в футбол. Этот пустырь передавался поколениями прогульщиков как самое сокровенное. С первого класса, сколько Антон помнил, это было достойное место. Здесь играли в ножики, в расшибалочку, в футбол, сюда ходили дратья, жечь костры. Такой пустырь полагалось иметь каждой школе. Иначе рухнул бы мужской мир.

Он сидел, щурясь на солнце, смотрел игру. Ноги зудели, хотелось поиграть. Хоть беги к мальчишкам. Они играли с толком, грамотно, в пас, каждый на своем месте, не то что когда-то, гурьбой. Даже скудно стало.

Антон посмотрел на кирпичное школьное здание. Здесь он знал каждый камень, лестницу, класс, все дырки в заборе и все закоулки. Десять лет ходил он сюда в любую погоду. Сейчас вспомнились смешные школьные истории, всякие случаи, какие-то детали, клочки... Даже огорчения показались привлекательными. Все неожиданно приобрело значение и показалось далеким, безвозвратным. Он понял: это навсегда. И слово это еще мгновение жило в нем и прижимало к земле неодолимой тяжестью.

Два года назад он расстался со школой без сожалений. А увидел сейчас — защемило. Чуть ли не закателось пережить все заново. Он дорого дал бы,

чтобы посидеть минутку за партой, и он завидовал мальчишкам, игравшим во дворе в футбол, и тем, чьи головы виднелись в окнах.

Это старое кирпичное здание вдруг показалось таким невыносимо близким и своим, что даже больно стало. Жил рядом, не вспоминал, а расставаться — резать по живому. Он еще не знал, как всю жизнь саднит у человека внутри при слове «школа».

Антон поднялся, прошел школьный двор, вышел на улицу. Галя жила в пятиэтажном доме, построенном в начале века. Даже снаружи от него несло степенным благодушием. Понятно было, что дом наполнен старинной мебелью, фарфором, книгами, блестит паркет, пахнет устоявшимся уютом, дорогим медовым табаком.

Лестница была светлая, чистая, без надписей на стенах. На двери белесая медная дощечка с вязью гравировки. Антон нажал плоский кремлевский клавиш. В прихожей нежно, как арфа, проиграл музыкальный звонок.

— Здравствуй, Антон, Галя в институте, — сказала Галина мама. Она была в ярком, цветном фартуке, и пахло от нее вкусно, по-домашнему.

— А-а... — сказал он неловко. — Я забыл.

— Что-нибудь передать? — спросила она сдержанно, но любезно.

— Нет, ничего, спасибо, — переминаясь, сказал он. — Я... в армию иду...

— В армию? — не поняла она. — Солдатом?

— Да... — ответил он, как будто созрел в чем-то.

— Счастливого дороги, — спохватилась она. — Я передам Гале.

— До свидания, — сказал он и пошел вниз.

Переулками Антон вышел к Гоголевскому бульвару. Уже падали листья, но незаметно, еще не дружно, одиноко; редкий желтый зигзаг прочерчивал воздух. И когда лист уже лежал на земле, его след еще тянулся за ним, висел в воздухе.

Уже заметнее была чернота стволов и чугунной бульварной решетки. Но отчетливой она станет лишь зимой, на снегу. Антон подумал, что зимой его уже здесь не будет.

Давно он не был на бульваре в это время. На скамейках, пристроив фонарики, играли в домино пенсионеры. Гуляли с колясками молодые женщины. Но больше всего было старух и детей. В этот рабочий час на бульваре среди старых и малых он почувствовал себя слишком явным, заметным и неуменьшим, лишним.

Он миновал памятник Гоголю и вышел на угол Арбата. Старая улица была сонливой и тихой. За «Прагой» на бетонном проспекте кипело движение.

Антон вышел на площадь и попал в толпу. Целый день текла она над тоннелем в самом узком месте площади, сжимаясь и растекаясь, как в песочных часах. Из-за угла кинотеатра скрытый пульс метро через явные паузы выталкивал на площадь густые порции людей. В толпе яркими класками выделялись букеты продавцов цветов, смуглые девушки и усатые красавцы в широких кепках. Антон дошел до знаменитого университетского двора. На площади, по которой день и ночь неслись машины, этот двор был оазисом.

Старое желтое здание с белыми колоннами замыкало уютный зеленый двор с трех сторон. С чет-

вертои, со стороны улицы, его надежно ограддала чугунная решетка, оплывенная камнем. Вдоль решетки густо росли деревья и стояли скамейки. В углах дома деревья образовывали зеленые ниши. В них застенчиво стояли статуи: справа Герцен, слева Огарев. Середину двора занимал ровный газон, росли цветы. Шум площади сюда почти не проникал. Двор казался далеким, загородным. А назывался среди заснеженных психодромои.

Днем здесь было весело. Здесь прогугливали лекции, спорили, отдыхали, смеялись, читали, флиртовали, курили, но особенно людно становилось в перерывах между лекциями, когда из всех дверей валили студенты. В глазах пестрело от яркой одежды, красивых девушек, элегантных костюмов цеголей, модных лохмотьев чудиков оборванцев — все перепутывалось, и казалось, что ты попал на веселый карнавал. Приезжие, шагая по тротуару, столбенили и ошарашенно смотрели сквозь решетку во двор.

К вечеру становилось тихо. Сидели влюбленные, забегали поболтать и выкурить сигаретку девушки и молодые женщины, иногда на скамейке негромко брелчала гитара, а совсем поздно шли приглушенные мужские беседы, и даже ночью в темноте под деревьями печально вспыхивал и гас огонек уединенного курьльщика.

Сейчас был как раз перерыв между лекциями. У Антона зарыбило в глазах. Он стоял на тротуаре и смотрел сквозь прутья решетки. До него доносились слова, обрывки фраз; он удивился легкости, с которой здесь толковали о разных вещах. Вдруг подумал, как мало знает. Стало тревожно, не по себе. Как будто прозвезало что-то свое, верное, упущенное единственное в жизни — настоящую любовь.

Зануло внутри, а кожу обожгло зудом: Антон не мог оставаться на месте. Он рванулся вперед, обогнав прохожих. В окнах гостиницы «Националь» висели глянецные картинки, рекламы путешествий. Он подумал, что нигде еще не был. Обернулся в тревоге. Все вокруг было с детства знакомо. Гостиница «Москва», Исторический музей, Кремль, Александровский сад, Манеж. Они были всегда, всю жизнь.

Вдруг в его стопроцентном зрении прорезалась какая-то новая щель, дополнительная возможность. Все вокруг было по-прежнему и иначе. Он подумал, что он уедет, а все останется. И смотрел уже другими, зоркими глазами. То, что было привычным, стало новым и незнакомым. Антон подумал, что вот жил день за днем, а ничего не успел. И уезжал пустым.

Он взглянул на часы: начинался двенадцатый час. И все теперь уходило надолго, далеко. Его охватила лихорадка. Нужно бежать, торопиться, пока еще есть время, успеть хоть что-то, хоть чуть-чуть, немного...

16

Он быстро дошел до Волхонки, поднялся к Пушкинскому музею. Во дворе было пустынно. Вдоль газона гулял миллионер. Был санный день.

Антон торопливо двинулся к Каменному мосту. С моста были видны набережные, Кремль, купола церкви, деревья, обсыпки, крыши и всталою друг над другом дома. Антон старался все запомнить, сохранить. Никогда раньше не думал он о городе вокруг себя, не замечал. И набирался Москвы напоследок: за день — на два года.

За мостом он свернул, переулками вышел к Третьковской галерее. И здесь было пусто, гулял миллионер. Выходной. Не везло. Антон сорвался и побегал.

Он бежал, торопя себя, пытался что-то схватить, втиснуть в память, увезти с собой, боялся упустить последнее — не знал что, обегал музеи, галереи, выставки, как будто старался надяться. Но везде был выходной, ремонт, смена экспозиций и «Закрывать» просто без причины, как утро после ночи. Такой был день.

По центру Москвы носился человек призывного возраста, стриженный под машинку, рвался в двери — двери были закрыты.

«Не успел», — подумал Антон.

Он вернулся к себе на Арбат. В «Художественном» шел восточный фильм. И чтобы день не был совсем порожним, Антон купил билет.

17

Виктор сидел в отделе, вперившись в палисадник за окном. Все предметы, явления, люди всегда имели для него твердый, буквальный смысл: стол — это стол и ничто иное. Что было на виду, то было все, и каждое слово значило только то, что обозначало: ни в чем не было ничего скрытого, какой-то другой, неожиданной сути. Все можно было рассчитать, сконструировать, вычислить.

Но сегодня мысль не катилась наезженно, буксовала: кто-то насыпал песочек в отлаженный механизм. Антон уезжал. Другой нет. Мама старенькая. Жена ушла. И что же? Один?

Он вспомнил прошлогонный разговор с Леной.

— Ты хороший конструктор, — сказала она, как будто сожалела. — Тебя бы еще оживить.

— По-моему, я неживой! — спросил он.

Она помолчала, собираясь с мыслями.

— Ты никогда не сомневался, — сказала Лена — Сомневаться, иметь право на сомнения — тоже радость. Я думаю, что ее не знает, тот обделен, несчастен. Хотя не подозревает об этом.

— Значит, все дело в сомнениях? — спросил он насмешливо.

Сейчас он вспомнил этот разговор.

— Что-то ты малоохольный какой-то, — сказал начальник, приятель, партнер по пинг-понгу.

— Нет, я так, ничего...

— Что стряслось?

— Особенно ничего. Так, вообще... Брат в армию уходит, мать волнуется.

— Когда уходит?

— Сегодня.

— Что ж ты молчишь?! Шагай домой!

— Да, пожалуй...

Он вышел на улицу. Было солнечно. Стояли последние погожие дни. Тепло было грустное, осеннее. В этом уходящем тепле бабьего лета, в неярком солнце, в желтеющих листьях проступала обреченность: уж скоро, скоро... Росло сожаление об ушедшем лете.

Он медленно брел и не заметил, как оказался в переулках Мещанских улиц. Вспомнил, что в ту пору, застроенном маленькими деревянными домами, живет Андрей.

Они изредка виделись на работе, хотя были давно знакомы. Познакомились несколько лет назад, когда инженеры и рабочих послали на воскресенье в подшефный колхоз. Виктора и Андрюча поставили рядом копать траншею, и они понаравились

друг другу, потому что каждый видел, что другой ловко управляет с лопатой и ломом и работает добросовестно, хотя платы никакой не получалось; дело было в выходной, а кормили и лентяев и ртывих одинаково. Не умели они, взявшись за дело, работать в часть того, что могли; на том и сошлись.

В стремительном беге дней, в сумасшедшей скорости московского центра Виктор забыл эту тихую улицу, темные срубы за палисадниками, маленькие окошца с геранью, кошками и резными наличниками, старух у ворот, калитки с железными шкелодами, и теперь даже не верил, что он в Москве и что поблизости день и ночь гудит Садовое кольцо.

В трещинах асфальта и плешинах земли росла трава. По мостовой и в палисадниках слонялись озабоченные собаки. Старухи у ворот, на мгновение умолкая, провожали его глазами: передавали от двора к двору.

Андрейч работал сварщиком. Он жил с женой, тещей, двумя дочками и кошкой в небольшом, общитом тесом доме с зеленой крышей. Виктор не собирался заходить, но, увидев в окне сквозь желтеющие листья знакомое лицо, как-то странно и нелепо потоптался у изгороди, направился к входу, а потом повернулся и бросился назад.

Он порыскал в переулках, обнаружил магазин и, удивляясь себе, купил бутылку водки. Где-то за домами гремел старый трамвай. Все было непривычно: и эти переулки, и магазин, и эта бутылка среди бела дня, которую он неумело и открыто нес, сжимая в пальцах горлышко.

В окно уже являлись вся семья: жена, две дочки, теща и даже кошка. Виктор смущенно вошел под взглядами.

— Я смотрю: никак гость? — сказал Андрейч, пропуская его в дом.

Он позначком Виктора со всеми домочадцами, и все тотчас исчезли, как будто предстал серьезный тайный разговор. За дверями настала такая ответственная тишина, что Виктор почувствовал вину за то, что не может сказать ничего секретного и важного.

Цветы в вазонах и большой фикус в кадке застели свет. В комнате стоял полумрак. И мебель здесь была простая и старая, довоенных времен. Виктор нелепо поставил бутылку на стол.

— Придется вам одному, — сказал Андрейч. — Мне во вторую выходить.

— Нисколько нельзя?

— У меня правило. С электричеством работаю.

— Да... Это верно, — сказал Виктор и подумал, что не умеет он разговаривать с людьми просто так, без дела.

Хозяин поставил перед ним рюмку, принес квашеной капусты, хлеба, сел напротив и внимательно смотрел в лицо. Виктор не знал, о чем говорить. Он вспомнил, с какой легкостью люди везде заговаривают друг с другом, как легко сходятся, открываются, и он напуганно думал, что бы ему сказать, и это скрывало его еще больше. К тому же эта проклятая обзывающая тишина. Виктор даже предстал, как за дверями все жут, что же он скажет.

Пить не хотелось. Он наполнил рюмку и, злясь на себя, что его занесло сюда, выпил. Потом отодвинул бутылку и сказал:

— Спрячьте до другого раза.

Андрейч усмехнулся и спросил:

— Будет ли другой раз?

Виктор растерялся:

— А чего ж...

— Вам ведь пить не в охоту.

— Пожалуй, — согласился Виктор. — Как это случайные события? Ну по рублю сбрасываются?..

Андрейч засмеялся:

— Общительность требуется. Вам не случалось?

Виктор представил, как он с кем-то выпивает в подворотне, и даже засмеялся:

— Нет. А вам?

— Мне приходилось. Раз два-три...

— Я б не смог.

— Люди всякие бывают: слабые, сильные... К ним иногда снисходительность нужна. Да и вообще не все то главное, что на виду. Один гнет свое непростительно, прет по жизни, как поезд по рельсам, а жизни в нем никакой, одна жесь... У человека все живое, теплое: тело, кровь. Тронь его острым — больно станет. — Он помолчал. — Вы извините, что с вами не выпил. Я, правда, перед работой не пью.

— Да я и сам не очень-то хотел, — сказал Виктор. — Не знал, как зайти.

— А просто и зашли б. Мы ж и знакомы давно и работали вместе. Что тут причину надумывать?.. Я ж вижу, вы не по делу, забота у вас. Отвыкли люди ходить друг к другу с заботами. По делу могут, а так, поделиться, разучились.

И вдруг Виктор потянуло рассказать этому человеку о жене, о брате, о матери, послушать, что тот скажет, но он сдержался, промолчал.

Они посидели немного, Виктор встал.

— Я пойду, извините, — и, стыдась, опустил лицо и направился к двери.

Переулками и дворами он вышел к Троицкой улице, спустился на Самотечную площадь и долго шел по Садовому кольцу. Теперь он снова был собран и досадовал на временную расслабленность. «Нужно за собой следить», — думал он. — Так недолго и совсем распустились. Начнут пристыли откровения, мягкотелость...» Но пока он шел, затягивая себя в привычные шоры, временами появлялись и исчезали сказанные недавно слова: «Не все то главное, что на виду».

Он свернул с шумного Садового кольца и бездумно петлял переулками. Он редко здесь бывал. Москвичи, кроме своего района и дороги на работу, часто не знают многих уголков громадного города и, случается, годами не бывают в стороне от мест своей привычной жизни. И вдруг не узнают давних районов, удивляются переменам и даже могут заблудиться.

По странному совпадению три месяца назад он шел этой улицей. Тогда он только расстался с Леной и шел озабоченно, не замечая ничего вокруг. Его оклинули, он обернулся. Из маленькой будки выглядывал плечистый мужчина.

— Огонька не найдется?

Над будкой висела вывеска «Ремонт часов».

— Что-то новое, — прохладно отозвался Виктор.

— Будка новая, только поставили...

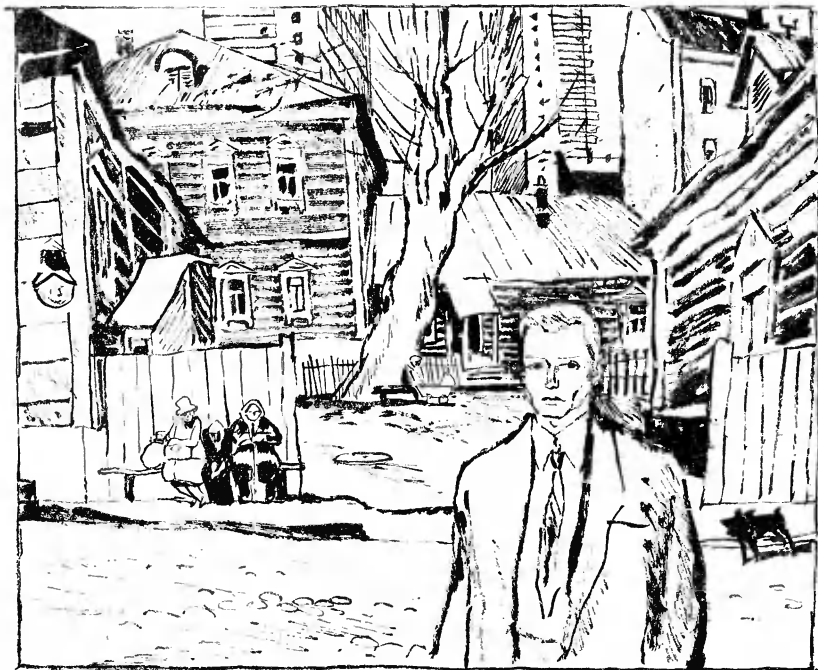
— Будку я вижу, — сказал Виктор, глядя в крупное мужское лицо. — Но я не об этом. Я к тому, что сено к корове не ходит. Нужен огонь, выйди прикури.

Часовщик помолчал, поиграл желваками, а потом переселил в себе что-то, усмехнулся:

— Люблю я с доставкой на дом. Чтoб полный сервис...

— Тебя бы грузчиком на стройку, — зло сказал Виктор и двинулся дальше.

Теперь он не верил своим глазам: на месте старых двухэтажных баракoв поднимались высокие новые дома. Он даже поискал дощечку с названием улицы. Нет, все правильно, вот даже часовая мастерская та же. Он остановился и застыл.



К маленькой будке подъехала инвалидная коляска. Открылась дверца, из нее высунулись две руки с костылями, нашли точки опоры, и следом в дверцу протиснулся плечистый человек, навалился на костыли и стал медленно придвигаться к дверям будки, на которых висел замок. Он упирался костылями в землю, подтягивал к ним мертвые, тяжелые ноги и проволочивал себя вперед. Так он добрался к дверям, достал из кармана ключ, снял замок. Виктор перешел на другую сторону улицы, чтобы видеть, что внутри. Человек втащил себя в будку, отставил костыли, уперся руками в стенку и в барьер и неожиданно легко на руках перебросил себя в кресло. «Не все то главное, что на виду...»

Виктор подбежал к ближайшему киоску и купил спички. Потом медленно пересек улицу, подошел к широкому окну будки, выходящему на тротуар. За стеклом стояли и висели часы разных марок. Все они показывали точное московское время. Виктор машинально оттянул рукав и взглянул на свои: они немного отставали. Он перевел стрелки и придвинулся к оконному стеклу. Мастер, вставив в глаз лупу, собирав маленькие дамские часики Виктор стукнул в стекло. Часовщик поднял голову и удивленно открыл второй глаз. Виктор зажег спичку, жестом предложил огня.

Мгновение человек ничего не понимал, потом улыбнулся и сделал руками крест — бросил. Он достал из коробки леденец, кинул в рот. Спичка догорела и обожгла пальцы. Виктор взмахнул кистью, потряс пальцами и подал на них, как маленький.

Они через стекло улыбнулись друг другу, Виктор двинулся дальше. «Не все то главное, что на виду...»

Он добрал до Центрального парка. Здесь было тихо, приветливо. Пусты были аллеи и лужайки среди кустов, на асфальте лежали палые листья, играли солнечные блики. Гладко и ровно тянулись стриженные газоны. Захотелось снять ботинки, погулять по траве босым, чтобы ноги ощутили бархатный холод газона.

Какой-то старик ответственно и строго работал на пруду веслами. Виктор тоже взял лодку, стал грести. Капли, срываясь с весел, горели на солнце. Сквозь освещенную воду таинственно виднелось дно. На воде покочивались желтые листья.

Виктор сдвинул лодку, направился к качелям. Медленно двигалась очередь детей. Он скромненько встал последним. И так медленно, сплочено, почти умиротворенно обходил час за часом аттракционы, пока не обошел все. И даже удивился, что больше нет — втянулся.

Антон сидел в переполненном зале. Это была жуткая история, кошмар, все чувства вдребезги. С начала прошло минут пятнадцать, и, хотя зал уже был полон сострадания, как всеобщего плача еще не наступило. Но близился, близился...

Антону было тошно, как будто он съел сразу целый торт. Раньше досидел бы, досмотрел, лениво, без интереса, просто так, от скуки. Но теперь почувствовал, как уходит, пропадает время — минута, другая, еще одна... — впустую, бездарно.

Наступая в темноте на ноги, выбрался из зала. Дневной свет резанул глаза. Взглянул на часы: начало первого. Медленно побрел, шуря на солнце. То, что примелькалось, что, не замечая, видел каждый день, теперь он зорко высматривал из-за тридцати земель, из армейской жизни. Каждый предмет, дома, деревья выстраивались в значения: они оставались здесь, в прежней жизни, а он уезжал.

Антон задумчиво подошел к автобусной остановке и привычно, как каждое утро, сел в автобус. Он не думал, куда и зачем едет, все случилось само собой: дорога еще жила в нем. Он сошел и механически, как всегда, направился в проходную. И лишь здесь опомнился: спросили пропуск.

Антон растерянно пошарил в карманах и вспомнил, отошел. Кто-то его позвал. В дверях проходной стоял Чернаковский.

— Ты что, не рассчитался? — спросил он.

— Рассчитался.

— А что ж пришел?

— Ничего... так...

Мастер посмотрел на него внимательно, помолчал и спросил:

— Когда уходишь?

— Сегодня.

— А куда отправляешь?

— Не знаю.

Чернаковский снова помолчал и сказал:

— Ничего, это неплохо...

— Что?

— Куда б ни отправили, все новое. Я б и сам не против.

— Что не против?

— Хорошо, когда не все позади, — сказал неведомо Чернаковский Антон молчал. — Ладно, пойду, — сказал мастер.

Он пожал Антону руку и ушел в проходную. Антон медленно побрел назад. В переулке ломали старый деревянный дом. Гусеничный кран отводил в сторону стрелу, разгонял ее и ударял висцием на цепи металлическим шаром в стену дома. Дом был весь в трещинах, но еще держался, глядя на улицу темными пустыми окнами, и вздрагивал при каждом ударе. Было видно, как внутри дома раскачивался оранжевый абакжур.

Антон подумал, что люди, жившие здесь, получили квартиры в новых домах и эти квартиры лучше прежних, а вот больно, должно быть, смотреть, как ломают твой старый дом. Все мечтают о новых квартирах с удобствами — «Скорее бы сломали этот клоповник!», — но вот приползает машина на гусеницах и железным шаром разбивает дом, в котором ты прожил столько лет; даже слезы навернутся. Но от этого нигде не уйти, вырастет новый дом, который станет для кого-то тем, чем для тебя был старый.

Шар ударил в дом, и целая стена, подняв облако белой пыли, рухнула на землю. Все даже вздрог-

нули. Когда пыль рассеялась, обнажилась внутренность дома. Абакжур загадочно остался висеть среди обломков, мозоля глаза своим неуместным цветом. Была в нем какая-то насмешка, но вместе с насмешкой была и какая-то горечь.

Но Антон об этом не думал. Он подумал, как много старых московских домов исчезнет, пока его здесь не будет, и как много появится новых. Они уже росли один за другим на этой улице, ставшей почти незнакомой.

Антон взглянул на многочисленные циферблаты, назойливо выглядывающие из окна часовой мастерской, и вспомнил, что его часы спешат: давно собирался проверить

«Хоть часы за весь день починую», — подумал Антон и зашел в будку.

Часовщик сдвинул лупу на лоб и взглянул на Антона.

— Слушаю вас, — сказал он.

— Часы бегут...

— Постараемся придержать их, чтобы вовсе не удрали, — улыбнулся мастер и протянул громадную руку. Антон удивился ее величине и опустил в нее часы, как в мешок.

— Что, сынок, думаешь, с такими руками хочешь бы грузить? — спросил мастер, открывая футляр.

— Да нет... — смутился Антон.

— Подумал, я вижу, — сказал мастер. — Ничего... Все так думают, молодые и старики, — Он помолчал. — На молодых я не обижаясь, они войны не знали.

Вся мастерская была наполнена шумом часов. Тикали секундомеры и настольные хронометры, стукали навинные ходики, силпо дышали старинные настенные часы. Они висели в деревянных футлярах, с римскими цифрами на циферблатах и с ажурными медными стрелками. На полках стояли кабинетные часы из бронзы и мрамора и современные будильники, а в углу монументально возвышались большие напольные часы. Антон заметил прислоненные к стене костыли.

— Я б и сам так думал, — сказал часовщик. — Что ж блок ловить, если сила есть.

Он опустил лупу на глаз и стал копаться в часах. Потом сказал:

— Ты бы оставил их, я проверю.

— Я не могу, в армию сегодня ухожу, — сказал Антон.

Мастер на мгновение прекратил свои мелкие и осторожные движения инструментом, помолчал и вздохнул:

— Тогда, конечно...

Он долго молчал. Только шуршали внутри футляров стрелки, стукали маятники и временами раздавался мелодичный бой.

— Я и сам долго не мог привыкнуть, — неожиданно сказал мастер. — Очнулся в лазарете и не могу понять: что это я такой короткий. Шую ноги, а там пусто и чешутся. Ног нет, а они чешутся. Даже сейчас иногда. И снится... Сам себе я снось с ногами...

Он замолчал. Молчал и Антон: давило горло. Он проглотил ком и тихо спросил:

— А потом как?

— Потом! Я до войны монтажником был, на высоте работал. Решил часовщиком стать, ноги тут не нужны. Стал учиться... А руки грубые, к железу привыкли... Ну и не получается ничего. Стал подумывать: нет мне на земле дела. Одно время руки хотел наложить. Так часто бывает. На войне человек не боится, летит в самое пекло, а в мирной жизни

всего опасается. Потом ничего, осилил себя. Теперь любите часы понимаю. Особенно люблю старинные чинить. Нравится мне их секреты разгадывать.— Он помолчал и добавил: — Значит, нашел себя...

Он поднял лупу, щелкнул футляром.
— Готово.— И над барьером протянул часы Антону.

— Что я вам должен? — неловко спросил Антон.
— Ничего, сынок, носи на здоровье. Счастливого догрома...

— Спасибо, — пробормотал Антон. — До свидания.
Он вышел и подумал, что обязательно проверит здесь часы, когда вернется из армии.

19

По аллее Виктор направился к набережной. Он вышел на широкий солнечный плац, за которым текла река. Над водой за парком висел Крымский мост. И так же двугорбо, остро поднимался в воздух шатер цирка-шапито.

Вокруг шатра теснились гагачники на колесах. За ними в глубине ворчали звери. Было пусто, безлюдно. Стояли фанерные щиты с яркими цветными афишами.

Виктор пошел вдоль длинной железной решетки. Казалось, что она так и поставлена вокруг все сразу, целиком, без пауз. Лишь в одном месте среди монотонного частогокола прутьев взгляд неожиданно соскальзывал в пустоту: решетка прерывалась; потом текла дальше.

Виктор робко вошел в брешь. Со всех сторон в шатер били хрупкие лесенки; брезентовые пологи над ними были плотно зашнурованы, и весь шатер напоминал тугой рюкзак.

Только в одном месте полог был отброшен, и было видно, что внутри темно. Хищники за шатром поучрали и смолкли, и стало так тихо, что Виктор услышал, как ветер с реки играет на прутьях решетки.

Он стоял на первой ступеньке и смотрел в темноту. Оттуда доносился стук копыт. И вдруг груды наполнили холод, и пустота, и тревога, и то позаботе предчувствие, что сейчас что-то произойдет, и то ожидание счастья, которое вновь сделало его диним, маленьким, — послевоенный неуют; черная дребезжащая тарелка на стене: голос Левитана; комнатный холод, есть хочется, за домом пштыри и поваленные заборы, и сарай, сарай, поленницы дров, и самая большая ценность на свете — хлебные карточки, выше которой есть лишь одно: миг, когда после бега, уверток, надежд и отчаяния можно, задыхаясь и сдерживая дыхание, проникнуть к темной щели, где переливаются огни, гремит музыка и сквозь чьи-то ноги и спины виден кусок залитой светом арены.

Потом, после представления, мальчишки собирались вместе и рассказывали, кто что видел, и все обязаны были рассказывать подробно и даже показывать, потому что каждый видел лишь свой кусок арены, а некоторые только купол и воздушные номера.

В другой раз, если удавалось пробраться, они менялись местами, и так раз за разом они собирали все представление по частям.

Теперь он снова был тем мальчишкой.

Он осторожно поднялся по лестнице и заглянул внутрь. Там было пусто и темно. Ряды голых скамеек уходили по кругу. Посреди полусвещенной

арены стоял рабочий в комбинезоне и держал под уздцы белого коня. На зачехленном барьере сидела наездница в черном трико и полотенце устало вытирала лицо.

Виктор бесшумно шагнул внутрь, сел на скамейку. Брезент тотчас отсек все звуки: шелест листьев, шум движения на мосту, далекий городской гул. Рядом из проема падал дневной свет. Виктор по скамейке скользнул дальше, в темноту.

Теперь он сидел в темной отсеченной тишине. За спиной парусил брезент. Наездница подошла к коню, пустила рысью по кругу. Потом разбежалась, вскочила в седло.

Виктор, не двигаясь, сидел в темноте. Он притих, сжался, как тогда, давню, когда припадал к щели, от которой в любую секунду могли оттащить за ухо.

Мерно скакал конь, а она гуттаперчево складывалась и распрямлялась, вся внимание и сосредоточенность, безжалостно скручивала свое тело и, даже когда становилась в седле, не улыбалась победоносно, как вечером, как на афише, а выдвигала быстро нижнюю губу и углом рта обдувала щеку, чтобы смахнуть прядь волос.

Шерсть коня влажно блестела, и мокрой была артистка. Каждое движение она повторяла еще и еще. Виктор давал устал. Иногда коню бросал ей полотенце, она на ходу вытиралась. Копыта глухо били в опилки.

Наконец она прыгнула; рабочий побежал за конем, поймал уздечку. Артистка села на барьер, потом легла на спину и закрыла глаза.

— Будем еще работать? — спросил конюх.

— Нет, все. До вечера...

Он увел коня. Она продолжала лежать, не открывая глаз. Лицо у нее было измученное и бледное, а тело казалось совсем слабым, и нельзя было поверить, что оно такое сильное и упругое.

Виктор пришел в себя, вернулся из детства. На барьере лежала усталая слабая женщина; сквозь тонкую черную ткань просвечивала, как будто мерцала кожа.

Без единого звука он стал перелезая через скамейки, спустился вниз и сел над ней во втором ряду — в первом не решился.

Стояла тишина. Наверх хлопал под ветром брезентовый купол. Она внезапно открыла глаза, испуганно посмотрела по сторонам, увидела Виктора, испугалась еще больше и быстро села.

— Вы кто?!

— Я так... вошел. Было открыто... — сказал он неловко.

— Сейчас посторонним нельзя.

Волосы у нее были светлые, а шея высокая, тонкая.

— Я не посторонний, — сказал он. — Я все детство простоял у щели.

Она смялась, улыбнулась, посмотрела на него внимательно.

— Любили цирк?

— До смерти!

— А теперь?

— Давно не был, — признался он, чувствуя себя виноватым.

— Все так. Любят, любят, потом вырастают — перестают. Забывают.

— Да, — сказал он. — А сейчас вот увидел, все вспомнил.

— Цирк?

— И цирк тоже.

— А что еще?

— Те годы, себя, детство... И даже не вспомнил, а прожил, побыл тем, собой... Пока вы работали. Она задумалась, опустила голову. Волосы у нее на затылке были совсем мокрыми.

— Устали? — спросил он.

— До чертиков, — ответила она.

— А вечером, когда огни и музыка, будете улыбаться и блеснуть глазами?

Она грустно улыбнулась, покаялась с печалью.

— Работа...

— Нравится?

Она посмотрела на него, как будто удивилась, что они незнакомые люди; им легко говорилось и даже не по пустякам, даже всерьез.

— Вы знаете, издали вас красиво.

— Знаю, — сказал он.

— А близко... вот... видите...

Он молчал.

— А есть еще то, что никто не видит. Манеж — гостиница, гостиница — манеж. Днем репетиции, вечером представления. Едва добравшись до постели. В субботу и воскресенье по два, а то и по три выхода. И в праздники... У других хоть свободные дни, а мне нужно лошадей выводить. И все время на колесах. Развезды... Гостиницы, гостиницы... А жизнь идет, ничего не видишь...

Он молчал. Было стыдно, что в ответ он не рассказывает о себе, не делится, вроде не принял откровенности или, того хуже, вполне благополучен.

— Вы освободились? — спросил Виктор.

— Да, до вечера.

— Я провожу вас. Погуляем.

— Спасибо, — сказала она мягко. — Я бы с радостью. Но мне вечером выступать, нужно отдохнуть. А уо ничего не смогу. Посплю в вагончике.

Он молчал, не зная, что сказать. И во второй раз сегодня подумал, что не умеет разговаривать с людьми просто так, без дела.

— Вы приходите вечером, — сказала она просто. — Я оставлю вас контрамарку. А потом погуляем.

— Да, — сказал он. — Приду. Конечно.

Она пружинисто пошла через манеж, и тело ее снова было сильным и упругим. Виктор бегом поднялся к выходу, нырнул наружу. И ослеп — при-
вык к полумраку.

Он медленно прошел за решетку. Возле нее стояли яркие, разрисованные щиты. И бежал белый конь с красно-синим плюмажем, и стояла в седле розовая наездница, улыбалась бесстрашно и гордо.

Виктор подошел к парпету набережной. По реке бежал речной трамвай. Мелкие волны ударили в гранит. От нагретого камня приятно тянуло теплом. Виктор лег животом на край, свесился вниз головой. В затылок пригревало солнце. Было тепло, уютно. Внизу, на воде, играли яркие блики, переливались спелыми бликами.

Но отнюдь не радужно всплыли в памяти последние годы, холодные, серые дни, уроки впроголодь, неуютные сумерки, слезы и его юная решимость пробиться.

Сквозь логику и строгую чистоту последних лет невянятно, как масляные пятна на бумаге, проступили, стали ясны — кто-то наводил фокус — смутные воспоминания, старые вещи, какие-то предметы, незначительные детали, милые щемящие пустяки, давно забытые, потерявшие ценность.

Зеленый тихий двор, тяжелая мебель, скрипучий паркет, малиновый абакур, желтоватая бумага книг, медная настольная лампа, старые пластинки, чье-то ночное парадное, бульварная скамья с тайной аллегорией на спинке — большие буквы и между ними плюс... Все имело смысл и доброту.

Оказывается, все это жило в нем. Оно таилось под глянцем последних лет, под новыми, удобными вещами, забылось за отмеренными, правильными днями, за блеском полировки, за проклонувшимися едва комфортом. Исполдье зрело и вот определилось: старые, неудобные, неуклюжие вещи и прежняя жизнь важнее нынешней правильности и порядка и важнее многих ловких, удобных вещей, которые каждый день окружали его теперь. И даже дороги и близки.

Выходило: у того, что он имел когда-то, были свое лицо и душа, но потом они подавались куда-то, растаяли, исчезли. И тогда он был богат, а теперь беден.

Он почувствовал сожаление. Точно не приобрел за все годы, но потерял — упустил что-то важное, самое ценное, без чего и жить не стоит.

Он вспомнил годы, когда шел вперед, сцепив зубы. Он пробился. Но выковывая себя в дороге, он сам, добровольно, лишил себя зрения, слуха, вкуса и обоняния. И привик так жить. И с тем остался. Это была непомерная плата.

Виктор сощурил глаза, замер, застыл, погрузился в солнечное тепло, в блеск, в оцепенение, в дрему. И то ли придумалось, то ли приснилось, то ли при-
виделось среди блеска и водяных бликов, что скачут они вдвоем на конях — в зной — по степи.

20

Антон брел, брел и не заметил, как оказался в переулке возле Плющихи. Здесь было пусто, тихо, грелись на солнце кошки, иногда дорогу перебегаля сонные собаки. С Садового кольца и с набережной сюда слабо доносился ровный тугий гул. От больших улиц переулки были ограждены высокими домами, а сами, тесно сплетаясь, петляли среди покатых косогоров. Здесь, почти в центре Москвы, среди близких высоких домов, провинциально стояли двухэтажные деревянные дома, потемневшие от времени, в которых даже летом окна между рамами были продолжены ватой и украшены елочными игрушками. За домами лежали зеленые дворы, отделенные друг от друга покосившимися заборами и сараями.

Антон свернул за угол и сел в автобус. На заднем сиденье сильно трясло. Антон смотрел в окно. Он уже не останавливал глаз на деталях, которые нужно было запомнить, на отдельных домах, окнах, витринах — взгляд его рассеянно скользил вдоль улицы: эти переулки, улицы и бульвары жили в нем как одно целое, как живет в человеке детство.

Автобус выскочил на Садовое кольцо, круто развернулся и понесся к Смоленской площади. Здесь Антон вышел, дошел до угла Арбата. Слегка изгибаясь, весь Арбат лежал перед ним. Антон еще не уехал, но Арбат уже жил в нем, все сразу, не дробясь на детали, как живет в тебе родина, когда ты вдали от нее.

Рядом заворачивал троллейбус. Внезапно над его крышей загрел металл, раздался звон. Троллейбус дернулся и остановился. Водитель рванул дверь, запальничко выскочил, но тут же скис; запал его исчез. Задрав голову, он тоскливо смотрел вверх. Прохожие замедляли шаги, некоторые останавливались. Троллейбусные штанги, как жерди, торчали в стороны. Оголенный провод свисал, закручиваясь и пересекая мостовую. Его медленно и опасно обхватывали машины. Движение застопорилось, стало тесно, и

крик автомобильных гудков наполнил улицу. На тротуарах толпились люди.

Водитель троллейбуса пошарил в карманах, нашел две копейки и направился к телефонной будке. Появился милиционер, перекрыл движение. Вскоре приехала аварийная машина. Из кабины быстро выскочили рабочие, проворно забрали на вышку; скрепленные подпорки стали выпрямляться, площадка с рабочими поползла вверх.

Антон удивился. В одном из рабочих он узнал Диму Лаптева. Насколько Антон знал, тот работал электриком в эжке, брал рубли и трешки у немцев.

Они быстро и ловко подняли провод и стали крепить. Работали они споро и точно, ни одного лишнего движения, все инструменты под рукой, и только изредка перебрашивались словами. Рядом с Антоном стояли двое приезжих, держа в руках сетки, наполненные свертками и пакетами, и Антон слышал, как один другому сказал:

— Хорошо работают.

И все незнакомые люди, кто стоял и смотрел, были уже объединены этой работой, обсуждали ее и даже подавали советы.

— Лапоть! — крикнул Антон громко.

Его голос прозвучал отчетливо и неуместно.

— Что горло дерешь?! — спросил рядом старик. — Люди работают...

Но больше всего его удивил сам Лаптев. Он слышал, Антон мог похвастаться, но не подал вида, только на секунду скосил вниз глаз и продолжал работать.

Когда машина отъехала, возобновилось движение, люди стали расходиться, Антон подошел к машине.

— Ты что! — недовольно спросил Лаптев, прыгая на землю. — Все смотрят, а ты...

И держался он официально, как часовой на посту. Антон даже растерялся.

— Ты вроде в эжке работал? — спросил он.

— Теперь не работаю, — хмуро ответил Лаптев, как будто отодвигая Антона, как будто опасаясь, что тот снова выкинет что-то неуместное.

В это время Лаптева позвали.

— Звони, — милостиво разрешил он, залезая в кабину.

Антон хотел сказать, что не сможет, уходить в армию, но машина ушла. Он перешел на другую сторону Садовой и свернул в переулок. Антон брел, размышляя, как перемирился Лаптев: еще недавно хвастал, что зарабатывает иногда десятку в день и что работа не бей лежачего, а вот не выдержал, ушел. Теперь и деньги не те и работа опасная: жди, что где стряется, и мчись выручать, как на войне. Антон понял, что Лаптев гордится, когда работает на виду у всей улицы: и работа вроде бы не мирная, и он здесь, на этой улице, сейчас самый главный. Антон вспомнил, как подкатила машина и еще не успела остановиться, а Лаптев стремительно лез вверх, точно матрос парусного корабля.

Он услышал гомон голосов и свернул за угол. Среди старых желтых домов на задворках больших зданий стоял павильон «Пиво-воды № 14».

Гомон голосов встречал прохожих еще в переулке и пугал невидимым происшествием. Потом глазам открывалась очередь. На перекрестке пахло пивом.

Стоящие впереди отклеивались от окошка павильона, пробивались в толпе с полными кружками, разбредались вокруг в поисках местечка. На камнях под музыкальной решеткой, похожей на сдвинутые лиры, стелили газеты с легендарной воблой. Ветки густых деревьев образовывали зеленый навес.

«Пиво-воды № 14» располагались в центре неглубокой долины с пологими склонами, по разным сторонам которой стояли два высотных дома: Министрство иностранных дел и Совет Экономической Взаимопомощи. Они были видны с тихого пивного перекрестка.

А внизу, между ними, среди столичной московской суеты, под близкий гул Садовой колоды, жила себе вольная мужская республика, кипела своими страстями.

Антон взял кружку пива, поискал место, пристроился. Рядом молча потягивал пиво пожилой рабочий в кепке. Вокруг стоял галдеж.

— Там сыграли вничью, дома выиграют...

— А мастер мне: никаких отступов...

— Заезды — так себе, я в ординаре ставил...

Пивной дух плыл в переулке. Горячились студенты, удрали с лекций; у ног послушно стояли портфели. Тихо беседовали два пенсионера. Спорили больничники. Между кучками бродил со своим стаканом маленький, незатраченный человек.

Он сунулся к студентам, они отпили пива, но отстаться не разрешили. Больничники и не капнули. Пенсионеры стакан долили, но заворчали: «Ступай, ступай...» Человек выпил свой стакан, собрал пустые кружки, понес к окну.

— Вот помощничек, — сказала продавщица. — Хоть в мужья бери.

— Я б пошел, — объявил человек из очереди. — Все равно, что на пивной бочке жениться.

21

Вдоль гранитного парапета Виктор вышел к парковому причалу. Под ладонью заскользил поручень турникета. Подходил речной трамвай. Мелкие волны шлепали в стенку. Деревянный причал поскрипывал и качался. Вода неровно лизала набережную: на гранитной стене оставался темный влажный след.

Толстая женщина-матрос приняла чалку, намотала на кнехт. Река светилась под солнцем и блестела в иллюминаторах, солнце било в глаза и отражалось в окнах на другом берегу. Был виден Крымский мост, за ним галереи крыш, а набережные — в обе стороны, далеко, до горизонта, оправленные камнем. На солнце камень стерег реку добродушно, но в тени мрачнел.

Катер прилип к причалу. На корме под тентом сидела Лена. Виктор не обомлел, не поразился, смотрел легко, спокойно. И даже больше удивился своему спокойствию, чем ей.

А он три месяца мечтал о встрече, придумывал слова. И вот теперь стоял спокойно, шурился на солнце, молчал. Такой был день.

Она увидела его и удивилась.

— Что ты делаешь в Центральном парке культуры и отдыха? — спросила жена, глядя с палубы вниз на причал.

— Набирался культуры и отдыха.

— А теперь?

— А теперь решил посмотреть столицу с борта теплохода.

Она удивилась еще больше, уставилась на него, притихла.

Палуба мелко дрожала. Иногда с воды приносило брызги. С середины реки парк был виден весь сразу, осенний, желто-зеленый, местами багро-

гий. Над деревьями поднимались колеса аттракционного.

За мостом теснились дома, уступы крыш, между ними угадывались дворы, переулки, дома поменьше. Тысячи окон смотрели на реку. Город чутко следил за мужчиной и женщиной, угадывая их состояние, и в эту минуту они ничего не могли от него скрыть: он знал о них больше, чем они сами.

Навстречу шла самоходная баржа. На корме стояли двое детей и собака, глазея на берега. Женщины в тельняшке развешивала вдоль борта белье.

— Гармони не хватает,— сказал Виктор.

Из темного проема в белой кормовой надстройке, откуда-то снизу, из глубины, вылез всклокоченный мужчина с гармонью, зевнул, лениво сел, пожурился на солнце и стал гармонью благодушно расплывать тишину. Вдруг потянул дугом, околицей, родиною, Россиею...

Баржа прошла. Они оба оглянулись: на черной корме внятно выделялись светлые буквы «ЗВЕНИГОРОД». Вспомнили шоссе туда, березовые рощи, и косогоры, и ледяные родниковые ручьи, и холмы, и лесные овраги, и белые церкви на зеленых холмах, и солнечные поляны, и себя, там, вдвоем — давно, жизнь назад.

22

Они вышли на Киевском причале. За площадью и сквером шумел вокзал. С Бородинского моста открывались Ленинские горы, река, берега, далекие и близкие дома, людской муравейник у вокзала...

— Слушай,— неожиданно предложил Виктор.— Выпьем пива?

Она снова удивилась:

— Что так вдруг?! — Он никогда не пил пиво на улице.

— Знаешь, захотелось...

За мостом они свернули налево и вышли к перекрестку за большими домами. У пивной палатки теснилось очередь. Вокруг стоял гомон мужских голосов.

— Кажется, я здесь единственная женщина,— засмеялась Лена, глядя по сторонам.— Пестрое общество...

И вдруг толкнула его локтем и показала глазами: в стороне под деревьями, ни на кого не глядя, задумчиво тянул пиво Антон. Виктор спрятался за соседней.

— Не хочу, чтобы он видел,— сказал Виктор жене, и они, стоя так, чтобы очередь их закрывала, наблюдали за Антоном из-за чужих спин и голов.

Он не двигался, не смотрел по сторонам, не обращал внимания на соседей и был задумчив, даже сосредоточен. Таким Виктор его никогда не видел.

Потягивая пиво, Антон думал. Он впервые задумался так всерьез о себе, о маме, о Гале, об Арбате — жаль расставаться,— но больше всего он думал о брате. Виктор и знал больше, и институт закончил, и спортсмен, и всегда делает только то, что полезно и нужно, и твердый он, волевой, как говорят, рациональный, а вот стало Антону вдруг его жалко, как маленького. Уже очень одинок. А теперь совсем один остается. Нот у него ни друга, ни подруги, и жена ушла, да вот еще он, Антон, уезжает. Он не думал об этом раньше; жили — не дружили, а расставаться — защемило.

С гитарным звоном подвалила веселая компания: три парня, три девочки. Шумно потеснились Антона и пожилого рабочего, устроились. Гитарист повертел стриженной головой.

— Петька, тащи всем,— сказал он и сунул купюру.— Нам по две, девочкам по одной.

Кучерявый Петька сунулся в окошко. Очередь поворчала, но не зло, лениво, больше для порядка.

— Гуляйте,— сказал гитарист.— А то уеду, никто не вспомнит.

— Что ты, дружок! — запротестовала блондинка.— Мы тебя ждуть будем.

— Ты будешь! Держи карман!

— Последний неонешный денечек...— Гитарист взял аккорд и крикнул:— Эй, ты! Выпить хошь?

— С удовольствием,— ожил слонявшийся человек, засуетился, зашаркал, прибежал — стакан наготове.

— Пей, угощай.— Гитарист опрокинул кружку в стакан, пиво хлынуло через край. Человек приткнулся рядом, радуясь, что его приняли в общество.

— Я тебе откровенно скажу,— заявил он гитаристу категорично.— Ты человек правильный, широкий. Я таких уважаю.

— Уважаешь?

— Уважаю!

— Ну так спой...

— Пожалуйста, А что?

— Знаешь. «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...»

— Не, не знаю.

— Погоди,— вмешался Петька.— Ты лучше спляши. Кружку отдам.

Все смотрели на человека.

— Я не умею,— сказал он тихо.

— Во-во, смешнее будет,— засмеялся Петька.

Человечек стал озираться по сторонам, ноглянул на полную кружку, тяжело решился. Он стукнул ногой в землю, неловко подпрыгнул. Одна из девочек стала прихлпывать.

— Вприсядку,— подсказал Петька.

Человечек выбросил ногу, но не удержался, сел на землю. Девочки засмеялись.

— Давай, давай! — поставил Петька, захлопывая в хохоте, очень довольный своей выдумкой.

— Бросьте! — вмешался пожилой рабочий в кепке.— Что куражитесь!

— Ты, дядя, не впутывайся,— ответил гитарист.— Тебя не трогают, молчи.

— А то пиво отнимем,— добавил Петька и протянул руку к кружке.

Антон ударил его по руке.

— Эй, вы! — крикнул высокий студент.— Вам что, делать нечего?

Лена тоже высунулась из очереди, хотела вмешаться, но Виктор ее остановил.

— Погоди,— сказал он,— посмотрим...

— А ты кто такой?! — спросил гитарист у Антона.— Схлопотать захотел?

— От тебя?! — сказал Антон презрительно.

— Хоть от меня.

— Плевать я хотел.

Гитарист окинул его взглядом.

— Поидем поговорим...

Пошли вдоль желтой фабричной стены, перешли дорогу, у черного бревенчатого сруба свернули во двор. Петька и третий парень шли поодаль.

— Постой,— сказал Виктор Лене.— Я взгляну. Как бы беды не было...



Он пошел за мальчишками, не спуская глаз с Петьки и третьего, готовый в мгновение перекрыть им дорогу.

Антон шел твердо, но чуток, внимательно, чтобы не прозвать внезапный удар. Виктор следил за теми, думая, но все чаще поглядывал на Антона. Его удивило, что младший брат, которого он всегда считал рохлей, идет спокойно, даже решительно.

Антон и гитарист остановились, молча смотрели друг на друга. Петька и третий двинулись к ним. Антон взглянул на них мельком, шагнул спиной к забору и остановился. Ждал. Те приближались.

— Стоп, детки, — сказал Виктор, выходя из-за угла. Он подошел к забору и остановился рядом с Антоном. — Ну подходите, отшлепаем вас.

Те засыпи. Дело принимало неожиданный оборот. Трое на одного — куда ни шло, но трое против двоих...

Братья стояли рядом, спокойно ждали. Антону вдруг стало весело, легко, надежно. И Виктор чувствовал, что он не один: на брата можно положиться. Уверенность друг в друге делала их спокойными и даже снисходительными.

— Что же вы, ребята? — насмешливо спросил Виктор. — Веселый...

— Хотели поговорить, — напомнил Антон, — теперь стойте, топчетесь...

Уверенность и внутренний покой всегда вызывают в противнике обратные чувства.

— Я, может, на два года ухожу. — Гитарист стал

спускать на тормозах. Он провел ладонью по волосам. — Понял!

— Ну и что? — спросил Антон и провел по своим.

— Так ты свой! — обрадовался гитарист. — Что ж ты молчал?! За это что следует? — Он повернулся к приятелям.

— А пошли вы! Над убогим издеваетесь. Смотрите тошно! — сказал им Антон и повернулся к брату. — Ты как здесь оказался?

— Да так, случайно... Ты сейчас куда?

— Домой.

— Ну иди, я скоро приду.

Они вместе дошли до перекрестка и здесь расстались. Виктор направился к очереди. Лена уже взяла пиво и высматривала его. Он увидел ее и улыбнулся: модно одетая, красивая женщина — светлые волосы, большие зеленые глаза, длинные, стройные ноги — стояла в толпе мужчин с двумя кружками пива. Она ему понравилась, но как-то спокойно, даже умиротворенно. Теперь она для него была не все, было у него еще что-то, он знал. И, как любая женщина, она почувствовала это.

— Была драка? — спросила Лена.

Он молча покачал головой. Потом подумал и сказал:

— Прозевал я Антона.

— Как?! — не поняла она.

— Не заметил, как взрослым стал.

Она смотрела ему в лицо.

— Я думал, его конструировать надо, собирать по частям, натаскивать, а он до всего сам дошел. Грустно... Далеки мы были. Жаль, что я поздно понял.

— Почему поздно?

— В последний день...

— Как?!

— Он сегодня в армию уходит,— сказал Виктор.

24

Антон брел домой. Был третий час, а ничего он не успел, не приобрел в дорогу. Он шел арбатскими переулками вдоль старых домов. Они стояли здесь давно, и каждый имел свое лицо. По вечерам сквозь окна были видны картины в дорогих рамках, иногда иконы, лепка на потолках, голландские изразцовые печи, старинная темная мебель и книги, книги, кожаные переплеты, золотое тиснение.

В последние годы в тихих переулках неслышно, неприметно появились высокие дома, встиснулись, стали вкрадливо среди старых особняков. И так же неприметно исчезали давние дома, а вокруг новых появлялись зеленые газоны и стоянки машин. На газонах в одну ночь возникали молодые березки и голубые ели.

На одном углу продавали котлеты. «Особые»,— прочитал Антон на ярлыке. На ходу взглянул, не нашел ничего особого.

Антон вошел в знакомый проходной двор, не торопился: времени вдоволь. Во дворе было безлюдно. Он сел на скамейку. За деревянными флигелями поднимались кирпичные дома. Теперь трудно было сказать, где кончается один двор и начинается другой.

Когда-то каждый двор был вся жизнь и целый мир, в котором росли, пока не уходили в улицы. Теперь в улицы уходили рано, минуя дворы, и дворы захирели, сникли. Случайные люди, сокращая дорогу, проходили по ним из одного переулка в другой.

Он шел, рассматривая знакомые всю жизнь места. Он не думал о них прежде, не замечал, а расставался—открылись глаза. Его остановил непривычный в городе шамакющий деревенский голос:

— Сынок, где ж тут третий корпус?

— Среди домов потерянно озиралась старуха в платке, плюшевом жакете, длинной темной юбке и мальчишеских ботинках. На земле стоял деревянный чемодан с висящим замочком.

Антон остановился, повертел головой, пощупал, сказал неопределенно:

— Вот, наверное,— и побрел дальше.

Еще недавно в субботний электричка, вырываясь из города на волю, весело тешились, шамака под таких старух: «Чтой-то ейный свекор животом ослаб, маяется, каждый секунд до ветру бега...»— резвились.

Он прошел несколько шагов и обернулся. Старуха, надрываясь, волокла чемодан. Край ударял ей по логу. Она поставила чемодан, ладонью вытерла с лица пот, и, переведа дух, вцепилась в него двумя руками, и натужно потащила дальше. Антон догнал ее.

— Бабушка, погодите, сейчас точно узнаем.

Она поставила чемодан. Антон отыскал среди домов третий корпус, вернулся, взял чемодан.

— Я помогу...

Чемодан был тяжелый. Внутри ничего не мешалось, лежало, плотно, туго.

«Гостинцы»,— подумал Антон и вдруг вспомнил давний детский вкус этого слова и давнее нетерпение, как будто нашел что-то старое, знакомое, но забытое.

Старуха семенила рядом.

— Телеграмму отбила, а никто не встретил. Может, не получили... Сын у меня здесь живет. И невестка.

Лицо у нее было морщинистое, маленькое, в кулачке она зажала бумажку с адресом. Они оба заглянули в нее, посмотрели номер квартиры, поднялись по лестнице.

Антон поставил чемодан у двери, позвонил и сказал:

— Я пойду.

— Спасибо, милый,— просто сказала она и спросила: — Может, подождешь, яблочками угощу?

— Ну, что вы! — засмеялся Антон. — Спасибо. — И под звук открываемой двери пошел вниз.

Дверь открыла женщина в бигуди, посмотрела на старуху, удивилась:

— Вам кого?

Но и старуха тоже удивилась и удивленно ответила:

— Никитиных...

— Не проживают,— услышал Антон и остановился: он свое дело сделал, помог и ждал из любопытства, чем кончится.

— Как не проживают?!—ахнула старуха.—А где же они?!

— Выехали месяц назад.

— Как же так? Я телеграмму давала,— растерянно сказала старуха, ужасаясь безнадёжности и черной пустоте, которая открывалась перед ней у этой двери.

— Ничего не знаю,— ответила женщина спокойно. Она была уверена в прочности своего покоя и правоты, и ей было хорошо, легко, оттого что она была в безопасности, но и никому не вредила. Совесть ее была чиста.

Она даже невинно-благодушно перождала потерянное молчание старухи.

Ждал и Антон, но так, не очень твердо — задержался на секунду, сейчас уйдет: мало ли у него сейчас своих забот. Ему, между прочим, сегодня идти в армию...

— Вот напасты!..— пробормотала старуха.—Где же мне их искать!

Женщина пожала плечами: она и так была любезна сверх меры.

— Что ж мне делать? — в горьком бессилии спросила старуха, боясь, что вот-вот начнется обратное движение двери — и тогда все, конец. А пока дверь открыта, есть надежда.

— Не знаю, не знаю,— уже нетерпеливо сказала женщина, и дверь в ее руке медленно тронулась с места, поехала.

— Милая, погоди...— взмолилась старуха в отчаянном желании спросить последнее, главное, самое важное для нее, поймав в себе этот решающий вопрос, который все ускользнул, не шел на ум, без чего и уйти нельзя. И вот нашла, спросила в тревоге: — Не случилось ли у них чего? Что это они уехали?!

Женщина с досадой глянула на старуху: мальчишеские ботинки, деревенская юбка, плюшевый жакет,— сказала с насмешливым сожалением:

— Квартиру получили,— и захопнула дверь.



26

Антон взглянул вверх: старуха неподвижно стояла перед дверью; бумажка с адресом висела в узловатых пальцах. Он пробежал через три ступеньки, позвонил. Никто не вышел. Он прижал палец к звонку и держал, пока дверь не открылась.

Теперь женщина была рассержена. Она даже открыла рот, но увидела новое лицо, забыла возмутиться.

— Вы посмотрите,— медленно проговорил Антон, глядя ей в лицо.— Может быть, адрес оставили.

Она немного помолчала, потом сказала:

— Посмотрю,— и закрыла дверь.

Они стояли, ждали. В парадном было тихо, с разных этажей сквозь закрытые двери доносились глухие звуки. Полз откуда-то запах жареного мяса.

Антон почувствовал голод, вспомнил снедь, приготовленную мамой к проводам, слотнул слюну. Подумал, что в армии будет вспоминать мамин обед и те холодные ужины под газетой, которые ждали его, когда он, выскочив из темной закрытой станции метро, бежал по ночным переулкам, предвкушая вкусную еду, торопился, как голодный молодой волк.

Он подумал, что будет вспоминать и эти последние поезда, пустынные вагоны, развозившие рабочих второй смены и подгулявших полуночников, и уснувшие станции, и ночные московские улицы, тем-

ные дома, гулкую внятность своих шагов, и одинокие бессонные окна.

Дверь отворилась, женщина молча сунула старухе бумажку и обиженно захлопнула дверь. Антон взглянул, присвистнул.

— Гольяново!— и сказал, как товарищу:— Туда пить и пить.

Она сокрушенно покивала и спросила:

— На метро?

— Не только. Метро, потом автобус. Лучше сразу на такси.

Ему приятно было выглядеть выдавшим виды горожанином. Она печально вздохнула. Он посмотрел на часы— без двадцати три.

— Пойдемте, посажу вас,— сказал Антон и взял чемодан.

27

Снова они шли через двор, переулками вышли на Арбат.

— Подождите,— сказал Антон и поставил чемодан,— поймаю машину.

Она стояла, вся в своих мыслях, он танцевал на мостовой, махал руками; все такси было занято.

— Не горюйте, бабушка,— сказал Антон весело.— Адрес есть, доберетесь.

Она улыбнулась, поверила. Потом осмотрелась, увидела красивые старинные дома и с ними другие, серые, под самое небо.

— Ох и дома! — сказала она, задирая голову а Антон засмеялся. Ей стало совсем весело, легко.

Наконец им повезло, машина остановилась. На картонке под ветровым стеклом стояло 18.00.

— Куда? — спросил шофер.

— Багажник откройте, — сказал Антон.

Водитель вышел из машины, пошел к багажнику. Антон открыл заднюю дверь.

— Садитесь, бабушка.

Она полезла на заднее сиденье.

— Вот и довезут вас, куда надо, — сказал Антон. — Бабушки покажите.

— Спасибо, родной, дай бог тебе здоровья. Без тебя пропала б...

Антон сунул чемодан в багажник.

— Ты не едешь? — спросил водитель.

— Нет, я так, помог только...

— А-а... протянул шофер и хлопнул крышкой багажника. — Посторонний?

— Да...

— Ничего, отвезем. Куда ешь? — спросил шофер.

— В Гольяново.

— Ого! Бабуля, это далеко, дорого станет, — сказал шофер. — Деньги-то есть?

— Сколько? — осторожным, тонким голосом спросила старуха.

— Пятёрка...

— Пятьдесят рублей! — ахнула старуха и всплеснула руками.

— Пятьдесят — это когда было. Теперь пятёрка.

Антон тоже нагнулся, и теперь они смотрели друг на друга через кабину.

— Повезете по счетчику, — сказал Антон.

— Ты вот что, — сказал шофер строго. — Ты не в свое дело не суйся. Посади — гуляй! Дальше тебя не касается.

Антон посмотрел на часы: почти три.

— Ладно, — сказал он эло, открыл переднюю дверь и сел на сиденье. — Поехали.

— Шел бы ты, мальчик... — угрожающе начал шофер.

Двумя пальцами Антон молча потянул картонку, прижатую к стеклу. На обратной ее стороне был номер парка и телефон диспетчера. Вытащил, положил в карман. И ждал спокойно, скупал.

— Ах ты!... — свирепо сказал шофер и замолчал. Потом добавил угрюмо: — Верни.

— Приедем, верну, — ответил Антон.

— У меня машина неисправна.

— Вызывайте аварийную, мы подождем.

— Я в парк поеду.

— Поехали...

Но шофер не тронулся с места, закурил и сидел не двигаясь, молчал. Старуха робко застыла на заднем сиденье. Ей было боляно, что шофер гневается, что она причина гнева — надела всем хлопот, и чувствовала она себя кругом виноватой. Сидели, ждали. Мимо проносились машины.

Шофер докурил, бросил окурок в окно, крутанул резко ручку счетчика и... поехал. Антон сунул картонку в проволочный зажим.

28

Они мчались по улицам. Солнце горело и ярко множилось в окнах, вспыхивало и гасло в стеклах машин, и блеск его глядело скользил по витринам, отражающим глубину улиц. Мимо плыла Москва.

— Видали мы таких, — ворчал шофер. — По счет-

чику! Да по счетчику я тебе сам заплачу, чтоб ты ко мне не садился. Все грамотные стали, права качают. А что у меня план, ума дела нет. Приедем, кто ко мне сядет? Холостяком поеду. За свой счет...

Было это неинтересно, скучно, тягостно. Но Антон не слышал почти, так, краем уха, издали, глухо. Он смотрел в окно.

Он не видел отдельно каждого человека, дом, окно, каждое отражение солнца, но все собралось в нем, свелось в одно — движение, блеск, многолюдье, переменившая живость города, громадные новые здания, старинные особняки, исчезающие печальные дома из дерева, знаменитые церкви, стадионы, пестрота, краски, разногласия звуков, бульвары, парки, мосты, набережные, вокзалы... В нем сейчас жил весь огромный город, такой светлый и беспокойный, но в то же время такой привычный, свой, домашний, в котором собралось, сплослось, свелось в одно так много разного, несоответственного, и оттого столь многоликий, но и столь прекрасный. Он даже рад был, что случилась оказия: напоследок проехаться по Москве.

Хлынули какие-то светлые потоки, переливались, били, струились, празднично разгорались. И даже если гасли, то легко, без сожалений. Он поверил, что да, теперь запомнит, увезет с собой, готов к отъезду — твердо, всерьез; появилось предчувствие нового и даже нетерпение: скорей в город.

Навстречу текли улицы, площади, город открывался перед ним: они остались один на один.

Далеко, за толстой стеной, еще звучал недолго голос таксиста: «Ни днем, ни ночью не тебе покоя, мотаетесь, никто спасибо не скажет...» — но глухо, вяло и все слабел, пока не исчез. Антон один двинулся по городу.

Все было светло, прозрачно, чисто. Солнце дробилось в стеклах, воссоздавало многократно, и Антон забыл обо всем, кроме того, что он прощается с Москвой.

Они проехали старую часть города. Потянулись незнакомые районы, пустыри и поля, застроенные новыми домами, иногда в конце улиц был виден лес.

Изредка среди высоких и длинных зданий неожиданно и странно возникали остатки прежних деревьев, темные срубы, огороды, сады, одинокие, неприкаянные церкви... Они казались детьми, заблудившимися в уличной толпе. Когда-то это был не близкий пригород — за Преображенским, за Измайловом — да и теперь он оставался дальней окраиной Москвы.

И улицы здесь назывались далекими местами России: Байкальская, Алтайская, Уссурийская, Камчатская... Антон даже почувствовал себя в далекой дороге.

За домами и полем гудела колесная дорога, и сразу за дорогой живописно лежала настоящая русская деревня и темнел лес.

— Все. Дальше не поеду, — вышибли его из движения слова таксиста.

Машина стояла. Здесь был конец автобусного маршрута, кольцо. Впереди тянулся большой пустырь. За ним белели новые дома. Через пустырь вела ухабистая дорога.

— Что? — рассеянно спросил Антон, стремительно возвращаясь из праздника в будни. — Приехали!

— Мне машина дороже, — сказал таксист.

— Отвезем бабушку, я поеду с вами назад, — предложил Антон.

— Это городской транспорт, а не вездеход, — ответил шофер, радуясь, что игра пошла в чужие ворота и можно отыграться — Я не обязан. Платите деньги и освобождайте машину.

«Опоздаю», — подумал Антон и сунул деньги.

— Такие, как ты... — начал он, но слов не нашел и вышел, хлопнув дверцей. Потом вытащил старуху и чемодан.

У Бровки паслись автобусы. Машина круто развернулась и ушла.

— Вам туда, — сказал Антон и показал на далекие дома. Старуха из-под ладони по-деревенски напрягла глаза.

— Далече, — сказала она.

И Антон стоял, смотрел.

— Вон куда заехали... — бормотала старуха, — пути нет, почитай, деревня...

Она протянула Антону деньги, но он не взял, нерешительно поглядывая на часы, на дома, на автобусы.

А она была так озабочена, что ничего ему не сказала, все бормотала что-то неразборчиво и так, бормоча, ухватила свой чемодан, поволокла. Антон догнал ее и отнял чемодан.

29

Все свои девятнадцать лет прожил Антон в Москве на Арбате. Он не знал, откуда старуха приехала, не был никогда в деревнях, не видел ничего, кроме города, — субботние подмосковные походы не в счет. Но что-то, не отмеченное им самим, твердо, еще тайное для него, то, что спокон веку тревожило людей родной земли, кем бы они ни были, проснулось в нем и держало в тревоге.

Не мог он бросить эту старуху.

Но он об этом не думал, не понимал и даже злился, что терять время.

Он шел размахисто, иногда менял руку. Старуха торопливо семенила, отставала, распарилась вся в своем жакете, утирала пот узловатыми пальцами и все бормотала что-то на ходу.

Они нашли высокий белый дом, поднялись по лестнице: лифт то ли еще не работал, то ли уже не работал, — позвонили в квартиру.

Долго не открывали.

Потом зашлепали шаги, щелкнул замок, молодая женщина открыла дверь.

Мгновенье она смотрела спокойно и отчужденно, не понимала. Потом охнула, засуетилась:

— Мама! Вот не ждали! Бы же в ноябре соби-
рались! А мы думали: устроимся — напишем. Как вы нас нашли? Ах да, Саша оставил адрес. Да проходите, проходите!..

Антон внес чемодан в прихожую.

— Как же все-таки вы нас нашли? Тут не всякий москвич найдет. А Саша на работе. Да снимите жакет-то свой...

— Я пойду, до свидания, — сказал Антон.

Женщина заметила его.

— Ах, этот мальчик помог вам? Минутку, молодой человек...

Она выхватила из сумочки рубль и протянула Антону. Он удивился, взглянул на деньги, на нее, поосторожился, по-прежнему удивленно посмотрел на старуху, отодвинулся боком и вышел.

Потом он бежал вниз, прыгая через ступеньки. Было четыре часа. Он бежал по живописному пустырю, веселил иногда себя — взмахивал руками, подпрыгивал высоко, корчил рожи, орал на разные голоса, — думался, мог позволить себе, имел право: целый день был серьезным и правильным.

На дороге ему повезло, поймал такси, спокойно доехал до Галицкого дома, но никто не вышел, не открыл дверь.

— Так и будет, — решил Антон и побежал домой. Такой был день.

30

Дома его ждали. Ждала вся в тревоге мама; ждала — странной! — Галя; ждал Виктор и — на тебе! — Лена, сколько лет, сколько зим.

Ждал его и стол. Антон твердо знал: в ближайшие два года такой стол он увидит только во сне. Если приснится... Он проглотил слюну.

— Где тебя носит? — спросил брат. И больше ничего, замолчал. Антон даже удивился. Ведь такая зануда. А тут спросил, и все. Не стал пилить. Да и спросил-то без упрека, по-приятельски, не зло. И даже насмешливо, даже грустно, печально немного.

— Я давно тебя жду, — сказала Галя.

— Сядь поешь, — сказала мама.

Только Лена молчала.

31

Шел уже шестой час. Антон мотался по комнате, укладывая чемодан, расширяя все, что пригостила мать. Иногда подсккивал к столу, хватал, что попадало в руку, выплывал жевал. Все сидели, молчали, следили за ним, и только мать время от времени протестовала, когда он отбрасывал что-то важное — шерстяные носки, или теплую рубашку, или кальсоны, без чего не то что в армию — за порог нельзя.

Хорошо бы, конечно, посидеть час-другой за столом, поговорить со всеми, с каждым и хоть минуту побыть с Галкой наедине.

Лена сидела у стены и смотрела на Виктора, стараясь, чтобы он не заметил. «Изменился», — думала она, — складка на переносице, и непреклонности в лице меньше, неприимчивости... И лезла в нем побуждение, задумывается часто. И глаза грустные немного, лицо озабоченное, говорит мирно, по-человечески, а временами даже тепло, даже мягко, печально даже... Как будто отогрели немного, оживили...»

Антон в спешке шарил глазами по комнате, все ли взял, заметил в углу конки, вдруг резанула жалость — к ним и к другим своим старым вещам. Он не подумал — угадал: когда вернется, многое не понадобится, будет другим. Он на ходу поцеловал мать, схватил чемодан, сделал всем рукой — «пока» и ушел. Такие вышли проводы. И было после него тихо-тихо. Только мать ладонью вытирала слезы.

Потом и она успокоилась и сидела, не двигаясь. Все молчали. Антон в этой комнате казался посторонним. Он и почувствовал себя посторонним. Бываю минуты, когда уместны только женщины. Они сидели все разные, но сейчас они были связаны вечной связью женщин, провожающих мужчин в армию.

Виктор вышел на кухню, сел на табурет и стал думать.

Он сидел неподвижно и думал, вспоминая брата, жену, себя, маму, наездника и весь этот день. «Что же дальше, что дальше?» — думал он.

Дондок Улзытуев

Антон бежал по улице. За домами садилось солнце. Нестерпимо горели стекла. Солнце заходило, набиралось меди, и все становилось медным, и медью горели окна, отражавшие свет. На бегу Антон подумал, что забыл напоследок взглянуть на свои окна.

В светлом медном тепле угасал погожий день. У года осталось их уже немного; славная пора кончилась, приближалось ненастье; а впереди была еще неизвестность.

Но пока светило солнце, и легкий желтый лист невесомо и долго метался в прохладно-теплом воздухе и прикорнул на чем-то подоконнике. И славно так было бежать в тишине, в закатном свете — вроде и не торопился вовсе, не летел сломя голову, но тешился, разминал себе в радость кости.

Издали навстречу тронулся грузовик, в кузове сидели стриженные новобранцы. Антон понял, дернулся, рванулся, замахах руками.

И тут же пружинно распахнулась дверца, и вслед за ней на подножку вылез хмурый капитан в полевой форме с портупеей.

— Григорьев! — спросил он негромко.

— Да... — ответил Антон, тяжело дыша.

— Что ж вы в армию опаздываете! — проговорил капитан медленно, боясь себя расплескать.

— Я бежал...

— Бежали? — усмехнулся капитан, сдерживаясь из последних сил. — Хорошо начинаете...

Антон хотел объяснить, что так вышло, ненароком случилось, стряслось... И вдруг разом понял: не нужно.

И так же разом подвелась черта под всей прежней жизнью, в которой можно было объяснять и оправдываться.

— А ну марш в машину! — скомандовал капитан.

Антон кинулся к заднему борту. Чемодан расторопно поймал один из сидящих; Антон мимоходом узнал гитариста, любителя пива.

Машина дернулась, Антона с борта рвануло назад. И он не удержался бы — несколько рук подхватили его.

«Ничего, не пропаду», — подумал Антон на лету и врезался в гущу тел.

Грузовик миновал Дорогомиловскую заставу, промчал по Кузцовскому проспекту мимо Бородинской панорамы, мимо Триумфальной арки, выскочил на шоссе и полетел дальше.



Перевел с
бурятского
Ст. КУНЯЕВ



Время движется величаво
вдоль вселенной, словно река.
Ни конца у него, ни начала —
скрыты в дымке его берега.
То ревет оно, то бесшумно
в вечность воды свои стремится...

А земля, как малое судно,
по его просторам бежит.
То светлеют времена воды,
то темнеют в ненастный час...
Но прекрасны мирные годы,
когда беды минуют нас,
когда лебедь летит к озерам,
прижимаясь к другу плечом,
и когда с землей разговором
трактор, а не танк увлечен.
Ничего нет прекрасней поля
в синеватых дымях костров,
позабывшего привкус горя
и огонь мировых катастроф...

Глаза

Пляшет огонь в человеческих глазах,
и тускло сверкает лед.

В глазах человеческих — улыбка и страх,
радость, и боль живет.

В глазах оленя шумят леса,
журчат лесные ручьи...

Они, как и человечьи глаза,
то холодны, то горячи.

Вспоминаю свой край

В невеселом, сумрачном краю
не хватает солнца человеку.

А без солнца родину свою
степняку трудней себе представить.

Где, она, моя большая степь,
где мое начало первой песни!
Где она, с кем повстречал рассвет
в первый раз под утренней звездой!



АЛЬБЕРТ
ЛИХАНОВ

паводок

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. НОВОЖИЛОВА.

25 мая. 14 часов 30 минут.
Сергей Иванович Храбриков

Свежевать лося Храбриков взялся сам. Охотник он был никудышный, но зато славился по части разделки туш еще дома, имея процент с этого своего, как ныне говорят, хобби. Он колол поросят соседям, мог забить корову. Не очень сильный физически, хотя и жилистый, он применял в таких случаях свои собственные хитрости — сперва оглушал животину тяжелым ядром, купленным в магазине спорттоваров, просверленным специально для этой надобности и надевшим на топориче, а потом колол, целясь заостренной, как бритва, финкой прямо в сердце.

Окончание. Начало см. в № 7 за 1972 год.

Дома он занимался этим за маду — приличную долю мяса или за выпивку, и все, кто держал в округе скот, знали Сергея Ивановича как мастера этого дела.

Здесь Храбриков свеживал дичь тоже не зазря. Была у него, задетого однажды Кирияновым, обзванного едва ли не жуликом, одна своя идея, вроде бы как страховка мало ли на какой случай.

Для этой своей страховки он купил за двугривенный жестянку с зубным порошком, порошок вытряхнул за ненадобностью — своих зубов у Храбрикова не было — только протезы, — а жестянке нашел другое применение.

«Сучий ты сын, — думал он всегда в таких случаях о Кириянове, — мальчишка сопливый, нашел кого оскорблять». И, свежив туши лосей, первым делом выковыривал из них кирияновские пули, кладя в коробку из-под зубного порошка.

Никто никогда на это занятие его не обращал внимания, Храбриков помаленьку заполнял коробку, мечтая набить ее полной, а потому и шутил в своем стиле, как пошутил сегодня.

Когда вертолет, закончив преследование, вернулся к прогалине, где лежал убитый, как они думали, лось, зверь был еще жив.

Испуганный громом винтов, он приподнялся на согнутые передние ноги, жалостливо крича.

— Ишь ты! — сказал Кириянов, сдерживая с плеча карабин. — Живучий!

Понимая, что будет дальше, Храбриков, улыбаясь, шагнул к начальнику, тронул его за рукав и протестно сказал:

— Дайте я, Петр Петрович, а! Стрелок из меня никудышный, так хоть малость поупражняюсь.

Кириянов снисходительно улыбнулся, хлопнул больно его по спине и протянул оружие.

Кредучись, Храбриков подошел к лосю на верное расстояние и, целясь в холку, дал три выстрела. Зверь рухнул, не издавая больше никаких звуков, но был еще жив, мотал широкой мордой.

— Что ты, как хорек, крадешься! — крикнул Кириянов Храбрикову. — У него позвоночник перебит. Экспедитор хихикнул, подступил еще на пару шагов. «А то я не знаю, — ответил про себя Кириянову, — был бы не перебитый, так и полез бы я тебе на рожек!» Он прицелился снова и, чувствуя сильные толчки выстрелов, закончил обойму.

Вчетвером они принялись тягивать матерого лося в кабину, кантуя его, кряхтя и надсаживаясь, потому что туша не проходила в неширокую дверь. Не помогала даже кирияновская мощь. Они отступились, закурив, соображая, как быть.

— А ну-ка, орлы, — подумав, засуетился Храбриков. Глаза его засверкали, дряблые щеки порозовели. — Не найдется ли топора?

Топор нашелся, и Храбриков изложил свою идею. — Бревно кабы не полезло, как поступили б? — спросил он, изображая сметливого простоватого мужика. — Распилили, разрубили. Вот и мы его разрубим. — Он засучивал рукава, похихикивая. Теперь — она стала его поря.

Кириянов поморщился, сказал:

— Ну и мясник ты, дядя! — но протестовать не стал. Отошел вместе с летчиками в сторону, чтобы не забрызгал его находчивый экспедитор.

Храбриков долго рубил лося и ни разу не поросился за все время.

Закончив работу, вспотев, с лицом, избрызганным красными точками крови, он приветливо, радуясь себе, пригласил остальных к завершению погузки.

Тушу по частям втащили в машину, летчики торопливо заняли свои места, машина поднялась в воздух...

Теперь, доставив добычу в поселок, Храбриков снова занялся разделкой туши. Он сдирал с мяса откаты шкуры, полосовал его на огромные куски, отыскивая при этом блестящие конусообразные пули. Время от времени жестянка из-под зубного порошка негромко звякала, если один кусочек металла ложился на ее дно, и было невозможно выяснить, какая пуля кирьяновская и какая его, Храбрикова.

Он свежевал лоса, а собирался другое: как подсадить эту дуру девуку, начальника партии.

Такой хай сегодня устроила, вспомнил тошно. Тихона, тихона, а вдруг заговорила! Лодку, видите ли, он не доставил. Жалко, Кирьянова не было, уже ушел к себе, а то бы он настроил его против Цветкова. Заставил бы его прищучить ее. Он-то, чай, понимает, что, кроме этих лодок, полно других забот у экспедитора.

Храбриков оторвался от мяса, постучал, задумавшись, финкой по столу.

Юченя может быть, что девка сама к Кирьянову пойдет,— подумал он,— тогда тот метнуть может, тут такая игра—кто на кого раньше наговорит.

Сергей Иванович встал, с трудом, поднимая миску, набитую мясом, отнес на кухню. Там уже вовсю шла жарка и парка. День рождения Кирьянова отмечали всегда широко и щедро. Оставшиеся в поселке собирались в общей столовой, возвоили заранее ящики выпивки, главным образом спирта, напитки для заедших краев и привычного и рентабельного: хошь крепче—так пей, хошь—разбавляй, получается вродь водки, и тогда возрастает объем—из бутылки спирта две—водки.

Попутно с поварами, выхватив со сковородки помитк поджаренной, хрулкой картошки, Храбриков вернулся во двор, к своим мясным делам, и едва снова взялся за нож, как почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он встрепенулся, сповно жулик, которого застали за воровством, и закурил голову.

Перед ним, прислонясь к дереву, стояла Цветкова.

Она глядела прищурясь, зло, словно выносила приговор, и Храбриков встал под ее взглядом, чужа недоброе. «Настучала-таки, сучка»,—подумал он про себя,—ну, да не испугаешь, видели мы таких».

— Ну вот,—сказала Цветкова,—опоздали вы, Сергей Иванович.

— Никуда я не опоздал,—буркнул он, успокаиваясь, приходя в себя. «С Кирьяновым-то я как-нибудь разберусь»,—подумал он, уронив взгляд на жестянку с пулями.

— Опоздали,—повторила Цветкова.—Вот радиогамму держку.—Она помахала листочком.—Им уже не лодка, а вертолет нужен.

«Ага, голубушка!»—сообразил Храбриков, уловив в голосе Киры неуверенность.—Чего-то у тебя не так, за меня спрячься хитишь! Он почесал лоб, поглядел на нее хмуро и сообщил, выстраивая в цепочку ход своих потайных мыслей:

— Один вертолет на ремонте, другой только с задания вернулся. Вот пообедает и полетит. А еще лучше завтра.

— Завтра!—нервно засмеялась Цветкова, и Храбриков снова уловил это.—Людей заливает, а вы—завтра!

«Раз заливает,—моментально сообразил Храбриков,—вызвать надо немедленно, но пусть помучается,

подрожит эта дура». И ответил, оглянувшись вокруг, нет ли кого поблизости, свидетелей не найдется ли:

— Ну, раз так, тогда конешю.

— Значит, отправил!—обрадовался Цветкова, и Храбриков кивнул, радуясь про себя: попробуй-ка докажи, что был этот разговор. И припомнил еще одну подробность про Кирьянова.

Там, на прогалине, когда вгрузили лоса, разрубленного надвое, и Храбриков для аккуратности присыпал снегом кровавое крошево, оставшееся на прогалине, а летчики уже торопливо прошли в кабину. Кирьянов, улыбаясь и трепля Храбрикова за плечо, спросил, кивая головой на тайгу:

— А впрямь ведь, дядя, губерния целая!

— Губерния!—охотно согласился Храбриков.

— А правда, дядя, что меня поэтому губернатором кличут?—игриво спросил Кирьянов.

Цепкий Храбриков понял, к чему это разговор, обрадовался ему, подтвердил, отводя глаза и как бы стесняясь передать хорошему человеку, что говорят о нем заглазно:

— Как есть, кличут.

Кирьянов заредел, опять больно хлопая экспедитора по плечу, и Храбриков хихикнул тоже. Хихикнул от души: нет, не зря он жизненный итог такой сделал, что при должности никогда не пропадет. Не то что на должности.

Подробность эта держалась у него в голове до тех пор, пока Цветкова, довольная разговором с ним, не свернула за избу.

«Петр Петрович не продает,—подумал он удовлетворенно и хихикнул.—Кабы вот только я его не продал!»

— Юридически пули в жестяной коробке и прошение на Енисее не связаны между собой. Это особые, отдельные дела.

— Что ж. Вы положили козырную карту. Я действительно не ожидал такого.

— Вы, кажется, полагали, что хорошо разбираетесь в людях?

— Оставим это. Жестянка с пулями—убедительное доказательство. Я и готов ответить за это. Но почему вы ставите знак равенства между охотой на лосей и тем, что случилось?

— Но разве это не две стороны одной медали?

— Я не понимаю.

— Понимаете, но не хотите признать. Итак, оставим пока лосей. Вернемся к людям.

25 мая. 15 часов. Слава Гусев

Когда на рассвете Семка разбудил его удивленным криком и, выснувшись из палатки, Слава увидел, что холм, на котором расположен лагерь, окружен водой, он не испугался, не растерялся, а велел греть завтрак.

Заспанные и вздохмчатые вилупились из нагретых спальных яды Коля Симонен и Орелик, беспокойно заколготились, озираясь по сторонам, но Слава невозмутимость произвела на них свое действие.

— А что, мужики!—зюрал Валька, подбегая к краю снега и брызгая водой в лицо.—Это даже ничего! Речка сама подгрела! Хоть умоемся!

— Снег, обратно, оттаивать не надо,—поддержал его Семка, набирая чайник. Костер уже трепыхался, будто живой, щелкая сучьями, нороя заговорить, создавая уют и полевую домашность.



— Погодите орать! — осадил парней дядя Коля. — Еще натужимся сейчас, похоже по всему, таскать оборудование придется.

Гусев обошел образовавшийся остров по кромке воды. Снег заметно осел, ноги хлопали в снежной жиже, но глубоко не проваливались. Видно, им повезло: они устроились на холме, основательно подтаявшем снизу, и земля находилась неглубоко.

Счастья, однако, в этом было маловато, приходилось что-то соображать, хотя чем внимательней приглядывался Гусев, тем больше успокаивался: постепенно созревал вариант действий. Он воткнул у стыка воды и снега сучья для ориентира и подошел к костру. Вчерашний ужин дымился, разжаряя аппетит, они забарабанили ложками, успокоившись при виде хорошей еды и хорошего утра.

Солнце, словно играя, пряталось за редкие облака, выбегало снова, сияя прозрачную воду, роняя слепящие блики. После завтрака наступал обычный сеанс связи, и, когда Семка настроился, Гусев, не говоря ничего другим, не советуясь, продиктовал радиogramму.

Семка щелкнул выключателем, заканчивая передачу, а Орелик сказал глуховато, видно, переживая:

— Слава, может, не надо самим?

Гусев сдержал себя, не выразил ничем своего недовольства, спросил:

— Что ты предлагаешь?

— Вызвать вертолет, пока позволяет площадка, и переправить вещи по воздуху.

— Я думал об этом, — сказал Гусев. Он действительно думал об этом и говорил правду. — Только ты плохо знаешь. Кириянова и его прихлебатели.

— Храбрикова? — спросил дядя Коля. Гусев кивнул. — Да уж, этот хореk вонюч, — пробормотал Симонов.

— За лишний перегон вертолета устроят канитель. Могу сократить премию.

— Но мы же попали в аварийную ситуацию, — возразил Орелик.

— Тут неглубоко, — не согласился Гусев. — Перенесем, может, не замочив ног.

Валька недовольно умолк, не согласившись, видно, с его решением, но Гусев постарался сразу забыть это. «Пусть, пусть вырабатывает свои взгляды», — подумал он и, выбрав из सूчев богат покрепче, звалил на себя чей-то рюкзаk.

— Погодь-ка, — остановил его дядя Коля.

Он подхватил штатив, приборы в футляре, по примеру Гусева придирчиво выбрал дрин, и они осторожно ступили в воду.

Первый десяток метров к высоте, где стояла триангуляционная вышка, они прошагали легко и быстро, лишь по щиколотку замочив сапоги, и Гусев был обрадован, что все идет пока гладко.

Прикидывая, он решил, что ничего страшного пока не произошло, просто где-то в верхних началась бурная потайка, вода залила коренной лед и пошла как бы вторым руслом, а это еще ничего, пережить можно — такая вода быстро не поднимется, может так и простоять тонким слоем до самого ледохода.

Однако радость оказалась недолгой. Идя по щиколотку в воде, Гусев и дядя Коля все-таки несколько раз оступились — земля тут, видно, была неровной, колдобистой, да и плотный слой снега под водой начинал мягчать — приходилось торопиться.

Гусев ощущал, как ледовая вода неприятно жмет ноги, но вида тем не менее не подавал, делая это скорее по привычке, нежели из желания скрыть от дяди Коли.

— Охолопнулись? — спросил тот хрипло, с сочувствием и вдруг спросил: — А может, послушать?

— Чего послушать? — не понял Гусев.

— Орелика, — смущаясь, ответил дядя Коля.

Слова эти будто стегнули Гусева, — вот пришла мало-мальски хреновая ситуация, и его, начальника группы, решение уже обсуждают кому не лень, — он резко, забывшись, пошел вперед, расхлестывая воду, и провалился по колено.

Симонов помог ему выбраться, они постояли минуту, отдыхая, переводя дух. Ледяная вода как бы отрезвила Гусева. Он постарался взглянуть на себя дяди Колиными глазами. Ей-богу, это начинало походить на Кириянова, который только и знал, что горлопанил: мои вертолеты, моя экспедиция, моя работа. А у меня, выходит, «мое решение»!

Он обернулся. От лагеря они отошли уже далеко, высота с вышкой была ближе, и, смягчаясь, Гусев сказал дяде Коле:

— Давай все же доберемся.

— А я разве что говорю? — ответил Симонов.

Гусев пошел снова, продавливая дринком подводящий снег, старшая нащупать твердину, и уже у самого почти холма провалился по пояс.

Дядя Коля стоял сади, Гусев, приказав ему не трогаться, попробовал было выбраться, но оказалось, выбраться некуда, тут шла низина. По пояс в воде, он продрался сквозь хлябь до подножия холма, вылез, даже не отряхиваясь, поднялся повыше, снял с себя рюкзаk и снова вернулся в воду.

Гусев шагнул, раздвигая рукой плывущий колючий снег, не чувствуя ног, не чувствуя поясницы, сдерживая себя, чтобы не показать слабости перед дядей Колей и не застонать.

Он принял у Симонова штатив и приборы, снова велел ему стоять на месте, опять вернулся к высоте, уложив принесенное рядом с рюкзаком.

Не оборачиваясь лицом к дяде Коле, Гусев с усилием закусил губу. Боль слабым толчком пронзала тело... «Надо бы выпить», — подумал он. — Спирту. Но аварийный запас, наверно, у палатки». Наклониться и проверить принесенный рюкзаk не было сил. Гусев собрался, уняв дрожь, и повернулся к дяде Коле.

— Симонов! — крикнул он. — Вели ребятам сворачиваться! Несите сюда имущество. Я здесь переусу.

— В себе ли, начальник? — ответил ему дядя Коля, не думая уходить. — Сдохнуть через два дня хочешь? Никаких планов тогда не кончим. И премий не выдашь.

— Хрен с ней, с премией! — крикнул Гусев.

— Тогда баш на баш, — ответил Симонов. — Что вертолетом, что на гору. Здоровье токо сохраним! За кой ляд ломаться?

— Ничего! — не очень уверенно сказал Гусев, думая о том, что ему надо поскорее выпить, чтобы согреться.

— Себя не жалейшь, ребят пожалей! — крикнул ему дядя Коля.

На это Гусев ничего не ответил. Он постоял, едва сдерживая дрожь, смерил расстояние, отделявшее его от Симонова.

Тридцать метров полужидкого снега, пробитого его телом, смотрелось обманчиво и неопасно. Он ждал и шагнул в это месиво, с трудом думая, что теперь останется одно: вертолет.

Уже в лагере обнаружилось — аварийный запас спирта Гусев унес на высоту. Возвращаясь снова, идти опять через этот ад не было сил. С трудом, отвергая помощь Семки и Орелика, он переоделся в сухое, но согреться это не помогло.

Снова, не советуясь и ничего не объясняя, он велел Семке вызвать экспедицию по обычной волне и попросить вертолет.

— Может, по аварийной? — настырно спросил Семка.

— По обычной, — упрямо ответил Гусев, жадно глотая крутой кипяток и понемногу оттаивая. — Пока ничего страшного. Тут пятнадцать минут лета.

Наклонясь, Орелик подлил Славе заварки. Они посмотрели друг на друга, и Гусев не отвел глаза. Орелик был прав, и Гусев признавал это.

— Не горюйте, ребята, — сказал он, улыбаясь потрескавшимся губами. — В случае, так и не больно нужна нам эта премия.

На другой стороне костра хмыкнул дядя Коля.



— Ты это деньгами-то больно не сорись,— посоветовал он, пощучивая.— Деньги нужны всякому, то есть даже, как кислород. И мне, старому, и Семке, молодому, и тебе, многодетному.

Вечно хмурый, дядя Коля шутил редко, но уж когда шутил, было весело всем и ему самому тоже. Они рассмеялись.

Гусев лежал на полушубке, брошенном поверх брезента, смеялся, а холодными, несмещающимися глазами отмечал, что судья, которые он воткнул утром у крошки воды, едва торчат из нее.

— Третья радиogramма, как зарегистрировано, принята в 15 часов 30 минут.

— Она тоже не значилась аварийной. Подчеркиваю — не значилась.

— Да, Гусев был спокоен очень долго. Он верил в экспедицию, верил, если хотите, в вас.

— Но он обязан был выйти на аварийную волну и поднять нас по тревоге. Таковы правила.

— В свое время он сделал это.

— Что такое «свое время»? И разве я виноват? Меня не информировали!

— Знаете, почему не информировали? Вас боялись! А когда Цветкова доложила вам, что вы сделали?

— Был праздник. День моего рождения.

— Кажется, тридцать шесть?

25 мая. 16 часов. Семен Петрученко

— **Т**ак и сидеть будем? — спросил Семка, оглядывая дядю Колю, Славу, Орелика.
— Плыть прикажешь? — откликнулся Гусев.— Валий. Это полезно.

— А и то! — поднялся дядя Коля, с треском разминая кости.— Поразмяться не грех.

Шутя, вывивая в снегу глубокие рывтины и подыгравая себе на губах, он прошелся вгрядку. Обродовавшись, Семка выхватил расческу, приложил кушечек газеты, задул в свой инструмент, наигрывая пронзительную жужжащую музыку. Дядя Коля напился, хоча поддел Семку под бок, тот повалился, дурачась, болтая ногами и не переставая наигрывать на расческе бурный марш.— Семка Симону был не пара,— и тогда он поддел Славу, вызывая на бой.

Гусев поначалу отлынивал, отмахивался от дяди Коли, но это было не так-то легко: Симонен захватил Славу за шею, перевернул в снег. Пришлось за ним гнаться, бороться, то уступая, то побеждая, едва дыша, слабее от хохота.

Семка изображал судью, гудел в свою расческу, Орелик был за публику, свистящую, орущую.

Наконец они утихомирившись, уселись вокруг костра, отодвинулись, утирая со лба пот, обмениваясь колкими шутками насчет чьей-то силы, а чьей-то немощи.

— Ты не силен, но широк! — шумел дядя Коля.— Никак тебя не перевернешь бабок.

«Публика» хохотала, а Слава отзывался в ответ: — Сам ты матрасная пружина. Как ни дави, только колешься!

Довольный общим балагурством, желая продолжить, поддержать начатое, Семка сказал:

— Мужики! Теперь потренимся. Вот, когда я в лагерь ездит, мы перед сном в палате байки рассказывали. Старались страшнее. Только чем страшнее байка, тем больше смеху. Давайте и мы!

— Сказки, значит? — спросил дядя Коля.— Не-а, я сказок не знаю. Выход из возраста.

— Я тоже,— потянулся Гусев.— Вот вздремнуть бы сейчас.

— Ну, а правду? — просительно сказал Семка.

— Какую же тебе правду? — усмехнулся Гусев, кладя голову на кулак и прятаясь под шубу.

Семка посмотрел вдаль, словно высказывая там, какую он правду хочет, обвел глазами воду, разлившуюся вокруг, и придумал:

— Ну, к примеру, про стихийные бедствия, раз мы тут, как цуцки, загораем.

— Эх, хавтил,— возразил Гусев,— стихийных бедствий у нас быть не должно. Разве что отдельные наводнения и частные землетрясения.

— Во дает! — кивнул на него Семка.

Ему иногда вожжа попадало,— усмехнулся дядя Коля.— Под хвост.

— А я был про одно бедствие,— отозвался Орелик.— На Памире. Ледник там двинулся.

Семка заколотился, подтащил к Вальке спальник, устроился поудобнее.

Орелик засмеялся.

— Ты чего это в рот глядишь? — спросил он.

— Слушаю про ледник.

— Э-э... — шута толкнул его Валька.— Так, брат, не годится. Сам выдумал, сам первый и рассказывал. Семка сморщил нос, выпучил глаза.

— Я никаких таких случаев не знаю! Ничего такого не видел!

— Ну, тогда посним,— обрадовался Слава, поворачиваясь набок.

Семка растерялся. Ему так хотелось хоть раз какой-нибудь, пока все вместе и никто не мешая, как в поселке, и никому не надо идти опять в маршрут, посидеть немножко, поговорить, повеселиться в конце концов. Сколько они вместе ходят и только вечером собираются. Да и то! Поедят, свалятся от усталости и храпят. А он ходит вокруг них или сидит рядом, и поговорить не с кем. Нельзя же так, все дело да дело. А время — мимо, мимо. Потом же жалеть будет — ходили, жили рядом, а поговорить основательно во все времена не хватало.

Гусев уже свистел носом, симулируя сон, дядя Коля тоже чего-то скисал, один Валька глядел на Семку выжидающе, и он стал спасать положение, стал спасать эти минуты, когда он дудел на расческе, а дядя Коля плясал и потом боролся с Гусевым.

— Я-э... это,— торопясь, начал Семка,— про бедствия не знаю. Смешным можно заменить?

— Дуй! — велел дядя Коля.— Вали смешное! — И растянул рот, готовый смеяться.

Семка лихорадочно и тиснет перебирал свою короткую жизнь, неинтересные, обыкновенные случаи, свидетелем которых ему приходилось быть, но ничего, кроме глуповатых анекдотов и розыгрышей, не вспоминалось. Он решил рассказать про один розыгрыш посмешнее, это было не так давно, когда Семка уезжал от мамы в другой город, на учебу в радиотехнику, и там вторым с двумя приятелями снимал частную комнату.

Поначалу оба товарища очень нравились Семке. Один, Ленька, привез с собой аккордеон и вечерами громко играл, свесив на глаза челку и наклоня голову к инструменту, словно прислушиваясь. Второго звали Юриком, он был сероглаз, неприметен и любил поест, но зато здорово работал на клочке, обходя остальных и в чистоте и в скорости.

В общем, Семка делил свое добродушие поровну между двумя товарищами до одного случая, вернее, розыгрыша, на который толкнул его и Леньку Юриком: так они прозвали соседа после этой истории.

Вечером, после занятий, Семен и Ленька пришли домой. Жутко хотелось есть, днем они заняли у кого-то рубль, пообедали, думая дотянуть до завтра — завтра выдалели стипендию, но своих возможностей не рассчитали: по дороге на частную квартиру аппетит разгорелся до невозможности. До стихийного прямо бедствия.

У булочной они проверили карманы, вытряхнули медяки, насребрили восемь копеек, взяли булку, похожу на лодку, перевернутую вверх дном, и еще копейка осталась на разжиг.

Дальше до дому они трусили легкой рысью, надеясь, что Юрик, любивший поесть, уже дома и у него можно будет разжиться сахаром и маслом.

Юрик, верно, был дома, пил чай из эмалированной кружки, перед ним стояли слегка подкопченный дуралевый чайник, поллитровая банка, наполовину заполненная маслом, слегка синим от некачественного стекла банки, и возлежал солидный куль из грубой желтой бумаги. В куле был сахар.

Семка и Леонид скинули пальтишки, бросили их на кровать, вытщипали свою посуду, Ленька налил чай и сказал Юрику, не очень льстясь, но и не очень грубо:

— Дай-ка сахару-то!

— И маслица! — добавил Семка.

Юрик поднял на них утомленный взгляд, отер испарину, выступившую на лбу, оставив, однако, бисинки пота под носом, и, распрямляя свое хлипкое тело, велел:

— А вы попросите!

— Ишь ты, — возмущился Ленька. — Как это у тебя просить, интересно, надо?

— Как следует, — проговорил Юрик, прихлебывая чай, — не грубо.

— Да брось ты, — сказал Семка, — давай гони! Вон у тебя сколько.

— Мое, сколько б ни было! — произнес Юрик, придвигая к себе пухленький куль с сахарным песком.

— Все равно не в коня корм, — попробовал убеждать его Ленька, — сколько ни жрешь, вон какой худой. — Но Семка оборвал его:

— Плюнь! Пусть подавится, частный капитал.

Они тогда обозлились здорово, разделили городскую булку пополам, захлебали ее несладким чаем и улеглись голодные.

— Во, идиот! — обзывал Юрика из своего угла Ленька.

— Куркуль! — бурчал Семка.

— Мазурик! — придумывал приятель.

— Юрик-мазурик! — досочинил Семка.

Юрик-мазурик молчал, не замечая перекрестного огня ругательств.

Назавтра Ленька и Семен устроили над соседом жестокую расправу.

Мысль о мести пришла им случайно, ни о чем таком они не думали, даже забыли вчерашнее, но, вернувшись домой и не застав привычно жующего Юрика, возмущались снова.

— Вот гад какой! — шумел Ленька, кочегаря остывшую злость.

— Надо ему отомстить! — придумал Семка. — Насолить как-нибудь за жмотство.

Они распахнули тумбочку Юрика, глумясь над ее изобилием.

— Буржуз настоящий! — бормотал Семка. — Сахара — куль, масла — полбанки. Даже трюнного одеколону полная бутылка. Давай весь сахар сожрем! — загорелся он. — Или все масло!

— Не съестся, — удрученно сказал Ленька, — а то бы можно.

Он взял бутылку с одеколоном, раскрутил пробку, щедро побрызгался сам, пролил стружку на Семку.

— Пахни ароматно! — приказал Леньке и вдруг вскопил от хохота. — Слышь! — заорал он. — Идея! Давай одеколон в сахар выльем! Во закукарекает!

Семке идея понравилась, они вылили в песок почти полбутылки, принохались, попробовали песок на вкус и еле отплевались.

Вечером пришел Юрик, принес свой любимый чайник, разложил на столе продукты, набухал в кружку песку, пожег шесть, не меньше, и поднес ее к рту.

Резкий запах дешевого одеколонушибанул ему в нос, он попробовал чай на вкус, сморщился, тайком взглянул на ребят, но они внимательно глядели в книжки, задумавшись ненадолго и вдруг с удовольствием стал потягивать чай, заедая его намазанной булкой. Семка и Ленька переглянулись, расширили глаза, едва сдерживаясь от смеха, а Юрик спокойно допил чай, сложил куль в тумбочку, — сыпал сахар, наверное, целый месяц, так и не решившись вынуть.

— Неужто не пахнет? — удивлялся Семен, когда они оставались одни. — Нос, может, у него заложено!

— Пахнет, — уверенно отвечал Ленька. — Просто жмот. — И поражался: — Надо же, так и дожрал одеколоновый куль.

Эта история врезалась Семке в память, Юрик-мазурик иногда выплывал из нее для того, чтобы поведать о нем другим, с удивлением и смехом; смеялся, Семка рассказывал о нем и теперь, но засмеялся только Орелик.

— Чего же тут смешного? — спросил Слава Гусев. Семка растерянно поглядывал на него.

— А говоришь, стихийного бедствия не видал, — сказал хмуро дядя Коля. — Я вот по свету ползал, где только не бывал, — проговорил он неслышно, — и скажу тебе, Сева, что этот твой Юрик — самое паскудное гадство на земле. Вошь, гнида, и что обидно, нет ему переводу.

— Чего хочешь? — спросил Слава. — От старых образуются молодые, каков плод, таков и приплод. Я и то гляжу: все, говорят, молодые лучше старых. И новей, и умней, и грамотней. Но вот, рассуждают, тогда: откуда подлость берется? Гадство всякое. Помрут, мол, старики, пережитки прошлого, останутся одни молодые, ну, бывшие молодые, и все хорошо станет? Ан, фиг!

— Ты, Слава, молодых не вини, — возразил ему дядя Коля, — и среди стариков гады встречаются.

— Дядь Коля, — всхлипнул Слава, перебивая его, — а впрямь парень этот, мазурик-то, на хоря нашего похожий.

— И то, — засмеялся дядя Коля. — Вылитый Храбриков.

Семка, все это время молча слушающий рассуждения Славы и Симонова, вспомнил Храбрикова — маленького, щуплого, но, выдавъ, жилистого, мелкие его, вертлявые глазки, морщинистое, измощенное лицо — и подумал, что в самом деле Юрик-мазурик смахивает на этого старика.

— Может, папа его? — спросил он, улыбаясь слову, — или дедушка?

Они засмеялись.

— А вот Юрик-мазурик, — вспомнил Семка, оживляясь, — еще девок подглядывал. Увидет зимой до ветра, и его нет, нет. Ну, думаем, окошел, пошли поглядеть, а он к ону прижался, глядит, как девки без платков ходят — студентки там у нас рядом жили.

— Вот, вот,— сказал дядя Коля,— точно. Мелкий паскудик.

Они не улыбнулись; от этой Семкиной подробности стало как-то гнушно, и Семка заругал себя: вот тебе и посмешиш.

— В 16 часов 20 минут рация Гусева вышла на аварийную волну, передавая, правда, довольно споконно радиогамму. Напоминаю. «Остров, котором находимся, быстро сокращается. Просим вертолет». Ни слова «срочно», ни «немедленно». Просто «присми».

— Слишком спокойная.

— Какие за этим последовали действия?

— Мои?

— Партии, экспедиции? Ваши лично?

— Цветкова радировала в ответ, что вертолет выйдет в ближайшее время.

— И пришла к вам?

— В том-то и дело, что нет! Стала искать Храбrikова.

— И где его нашла?

— На кухне в столовой. Они поругались.

— Где вы были в это время?

— В столовой. Шел вечер.

— Цветкова не подошла к вам?

— Нет. Она отправилась на радиостанцию и запросила, как чувствует себя группа. Гусев ответил: «Нормально. Ждем помощи».

— «Ждем помощи». Разве этого мало?

25 мая, 16 часов 40 минут. Валентин Орлов

«А» ленка, мы аляпались в забавное происшествие. Сидим на острове, окруженном водой, и похожи на зайцев, которых спасал дед Мазай.

Только Мазай что-то не видать, хотя Гусев дал с утра три радиогаммы. Опять, наверное, не на месте вертолеты или еще какая-нибудь мура — Храбrikов, например, горячее экономит,— вот мы и загораем в прямом и переносном смысле: солнышко жарит неистово.

Поту Гусев пытался пройти с острова вброд, испугался основательно, окопел и послушал меня: на этот раз правым оказался я. А мой вариант прост — вызвать вертолет, чтобы перенес нас вместе с вещами на недоступную воде точку.

Теперь ждем деда Мазая на вертолете, и я не понимаю только одного: о чем-то беспокоится Гусев, стараясь скрыть это. Но что? Долго не летят? Прилетят. Тут пятнадцать минут ходу. Быстро поднимается вода? Ну и что? Даже для того, чтобы нас затопило окончательно, потребуется, по моей прикидке, не меньше трех часов. А за это время мы сможем выбраться десять раз как минимум.

Так что волноваться пока не приходится, и мы, загорая, рассказываем байки по предложению радиста Семки. Он вообще малый — молоток, выдумал забавную тему для разговора — о стихийных бедствиях: парень с юмором, учел курьезность ситуации, но сам, правда, толковал совсем о другом — про парня, который не дал им сахару, и они пили несладкий чай. Пересказываю я тебе, понятно, кратко и не очень так: писать всегда труднее, чем говорить. Мужики наши, берендеи эти Гусев и Симонов, Семку не поняли, он хотел посмеяться, они же обернулись всерьез. А я, пожалуй, в таких случаях — нас. Слишком угромо глядеть на жиниз, по-моему, просто скучно. И этот куркуль, о котором говорил Семка, просто глупец, дурак. Жизнь его обкатает,

Я попробовал было выразить это, меня не поняли.

— Гадство,— поучал меня наш малограмотный дядя Коля,— нестребимо!

Видишь, в какой высоконаравственной обстановке я живу? Впрочем, ладно, это я с досады. В общем-то, мужики они отличные. Разве что грамотешки не хватает.

Одним словом, за краткой перепалкой настала моя очередь рассказывать байки про стихийные бедствия, и я вспомнил подходящий случай. Как угрозило меня попасть на знаменитый ледник, вернее, на один из его языков.

Только теперь, рассказав эту историю, понял, что тебе о ней никогда не говорил, не приходилось просто, так что пока ждем вертолета, запишу ее. В истории этой, должен предупредить, есть элементы смеха, так что, излагая ее, здесь, на острове, я дал ей название «Стихийное бедствие, происшедшее из-за свиньи».

Дело было после третьего курса, в Средней Азии, куда меня и еще нескольких ребят послали на практику.

Мы жили в жарком городе, где по вечерам на улицах продавали розы, лежавшие в тазах и ведрах. Цветы издавали одуряющий аромат, и мы, бездельничая, бродили по этим улицам, удивляясь женщинам, закутанным в блестящие цветные шали, крикам музэдина из-под купола мечети, бороатым старцам с тюрбанами на головах, усевшимся пить зеленый чай чуть ли не на асфальте. Времени нам хватало вдосталь — работали мы только по утрам, днем, по законам юга, отлеживались в густой тени, а вечером гуляли и, постанывая от счастья, ели великолепные душные шашлычки.

Возле мангала, светящегося угольями, а отнюдь не в своей высокоточной «Гидрометслужбе», где практиковались, и услышали мы впервые про злосчастную свинью и про страшное бедствие, которое она навлекла.

Держа, как букеты, шампур, унизанные сочным мясом, шашлычник, путая русские слова, рассказал нам, что с гор двинулся ледник.

— Инженер виноват, инженер,— поднимал он палец, и мы не понимали, при чем тут инженер.— Свинью притащили к горе, не ешь свинью, слушай, ешь баранину, э?

Тут надо сделать отступление и объяснить, что я на курсе считался альпинистом. Ходил в институтскую секцию. Честно говоря, альпинизм этот был липовый: какие у нас горы, сама знаешь. Тренировались мы на полусопавшемся каменном столбе, который был в лесу, недалеко от города, и в известном карьере с некрутыми обрывами, упражнялись в подвесах и спусках, с применением страховки костылей и всякой прочей техники. Окрестные мальчишки над нами смеялись. Наверное, со стороны это действительно было смешно: взрослые люди, а валяются дурака на горках, куда можно запросто зайти.

Словом, секция тихо скончалась, никаким альпинистом я не был, не залез ни на единую вершину, но иногда случается так, что слава оказывается сильнее тебя. И я оказался жертвой дудой славы.

Наутро после ненаучной беседы с шашлычником мы узнали научную трактовку вопроса: язык ледника, о котором шла речь, двинулся вниз с курьезной для него скоростью, заградил речку, вытекающую из соседнего ущелья, и там образовалось мощное озеро. В район происшествия формируется экспедиция, которая полетит проводить съемку, подсчитывать объем водоема, наблюдать движение ледника. Ей требуются люди, одновременно альпинисты и спецы.

Ребята вытолкнули меня вперед, я не сопротивлялся, был приставлен к трем инженерам, обмундирован в казенную амуницию и отведен на аэродром. Лететь было жутковато, особенно когда пересекали какой-то памирский хребет и приходилось идти вдоль тесного каменного рукава.

Обмывая в воздушных ямах, я глядел через открытую дверь на пилотов, натянувших кислородные маски и вжавшихся в штурвалы, озирался по сторонам, холодел: едва не касаясь крыльев, коричневые, словно иссохшие, kamenи отвесные обрывы ущелья, а воздушные потоки подбрасывали и норовили самолет, норовя ударить его о стены.

Когда мы сели на краю маленького поселка в огненной от цветущих маков долине, я долго трял голову и глотал воздух: в ушах лопались какие-то гулазы. Сказывался перепад давления — мы были в горах, на огромной высоте.

В поселке, у чайханы на маленькой площади, предрика, узнавший о прибытии спецрейса, выкрикивал шоферы, желающих отвезти научную группу к подножию ледника. Шоферы топтались в пыли, отворачиваясь, сосредоточенно разглядывая кур, kloкoтaвшe в тени грузовушек, и никто не хотел нас везти.

Я тогда возмущился, сказал что-то резкое предрику: какой, мол, он начальник района, если не может найти шофера,— но тот строго посмотрел на меня и ответил:

— Кому надо, понимаешь? Чего там хорошего?

— А чего плохого?— удивился я. Но удивлялся, как выяснилось, напрасно.

Предрика обнаружил в водительских рядах какого-то молодого испуганного парня, заставил его сгрузить из кузова ящики с бутылками и silkом затопкал нас.

— Команду имею!— кричал он при этом каким-то оправдывающимся голосом.— Отправьте ученых! Зрители и чайханщик глядели на предрика осуждающе.

Пока мы отъезжали от поселка недалеко, наш шофер раза три останавливал машину, вылезал из нее и, прижав руки к груди, добавлял что-то непонятное к русским словам, умолял нас отпустить его.

Мы ничего не понимали, пока через пять часов не добрались к подножию ледника.

Водитель тут же развернулся и уехал, а к нам приблизились небритые люди — остатки горного отряда, который из-за ледника вынужден был эвакуироваться. Мы сказали про странного шофера.

Горняки как-то сразу умолкли, скованно улыбаясь, потом один показал на чан, от которого вкусно пахло мясом.

— В этом все дело!— И добавил убежденно:— В нем!

Мы не поняли, и тогда горняки нехотя объяснили, что захватили с собой поросенка, откармливали его, а мусульмане, узнавая о свинье, пугались и твердили: «Будет беда!» И что ж, подтвердилось. Тронулся ледник.

Мы засмеялись, но, не поддержанные горняками, умолкли. Они сосредоточенно, с яростью, словно вымещая обиду на поросенка, поедали его.

Потом горняки уехали, мы остались одни.

Я глядел на ледник спереди, сбоку, сверху и не мог побороть отвращения. Он походил на жуткую тварь, влезшую из-под земли. Ледовые глыбы, черные от грязи, перемешавшие с осколками поменьше и просто крошечком, передвигались незаметно для глаза, только изредка взрывая тишину утробным грохотом. На кончике своего языка ледник волол останки сооружений, где была электростанция горняков. Снизу и спереди ледник действительно напоминал гигантский язык, усеянный искореженными, беспорядочно смешанными, заостренными глыбами. Лед таял, и с языка текло.

Мы проводили обмеры скорости движения ледника, его возможный объем, передавали все это в город, а оттуда настоятельно требовали: оставить в покое ледник и выяснить объем озера.

Чтобы выполнить это, надо было взобраться на гору. Альпинистом я оказался бездарным, и старший группы, чертыхаясь, буквально волол меня наверх: отступать было поздно. На высокой площадке мы установили приборы. Дул стремительный ветер, сбивая кашпоном, наполняя его, и тогда кашпоном становился похожим на камень. Страх пронизывал позвоночник, я делал измерения, стараясь не глядеть по сторонам.

Отсюда, сверху, он действительно походил на доисторическое чудовище, которое одним боком прижало речку. Образовалось озеро, по нашим подсчетам, в несколько десятков миллионов кубов.

Не помню, как я спускался вниз, навстречу, ползком, моля мать родную не оставить в беде. В общем, наш старший спустил меня на веревках. Внизу он смерил меня критическим взглядом, пригрозил к высказыванию. Но смолчал: я был мокрый от пота. Мы передали наши измерения в город. По подсчетам выходило, что опасность велика. Озеро медленно накапливало мощь и готовилось сорваться с ледником. Ледовая плотина, хотя и мощная, но неоднородная по структуре, могла не выдержать напора воды.

Мы запросили аэрофотосъемку, и вот над нашими высокими горами пролетел самолет, как бы заиндевелый в холодном синем небе. Когда он летел, оставляя прямой инверсионный след, старшему пришла в голову блестящая идея — разбомбить ледник. Он радировал об этом в город, но нам приказали сворачивать работы и прислали за нами машину. С машиной приехал предрика, который отправлял нас в горы. Испуганно озирался на серый лед, уважительно помогал нам и спрашивал, что ему делать. Но как мы могли ответить?

Опасность была известна лишь теоретически, мы только измеряли и подсчитывали, советовать должны другие.

Я уже уехал с практики, был дома, когда узнал: прогнозы подтвердились. Многометровый водяной вал, подхватив вечный лед, промчался по долине. Были жертвы...

Что-то написал я тебе свою притчу и вижу: забавного мало, и поросенок тут ни при чем. Вот и Семка спросил о поросенке, при чем, мол, тут он. Да, дела.

Хотел мужиков наших растормошить немного, а вышло наоборот. Сидят молчаливые.

— Один, если можно так выразиться, психологический вопрос. Почему вы так рьяно защищаете Храбrikова? Вас что-то связывает?

— Нет.

— Странно. Вы упорно стоите на стороне интересов экспедитора, а ведь он ведет себя иначе.

— То есть?

— Закладывает вас, как говоритесь.

— Пули в жестянке — этого еще мало. В конце концов я заболел о коллективе.

— А рыба — тоже забота о коллективе?

— Какая рыба?

— Храбrikов все записывал. Смотрите. Числа, когда вертолет ходил на станцию. Фамилии проводников. Хранил квитанции об отправке телеграмм вашей жене.

— Я об этом ничего не знал. Может, он хотел сделать приятное?

— Бросьте, Петр Петрович. Храбриков говорит про вас совсем иначе.

25 мая. 17 часов. Николай Симонов

Николай сидел, скукожась, вдавив шею в плечи, и мысли его бродили далеко от этих мест, от этих ребят, от этого времени.

Поперев, когда видно стало, что хвалиться им своим островом ни к чему, начал шутковать, а вот Орелик сбил все, о стихиях говорить подначивал и сам такое рассказывал, что теперь ему, дяде Коле, как они его клычат, не до смеха и не до шуткования.

Вспомнил он себя в многолетней давности, странно, будто и не с ним это было, а с кем-то иным: другого лица, другого сложения, другой жизни,— и, вспомяв, влез в то изгоняемое годами, забываемое и никак не забываемое, в то, что норовил он как бы заасфальтировать, сгладить, да так, видать, и не смог.

— Дядя Коля, твой черед! — окликнул его Орелик, уже не улыбаясь, как сперва, не хорохорясь, погустев.

— Нет, я про стихию-то не знаю, — ответил дядя Коля и, подумав, будто убеждаясь в этом, снова подтвердил: — Не знаю.

— Ну что иное рассказки! — потребовал Семка. «Надо ли?» — подумал нерешительно дядя Коля, поднимая глаза и обводя пацанов этих, обошедших его в жизни, расторопных, толковых. «Надо ли и к месту ли сказано будет?» — снова взвесил он, не понимая толком, отчего вдруг после ледника Валькиного пришло на ум покрытое давнотелой забытостью. Какое-то слово, равно камню, обрушило и повлекло за собой память. «Какое же слово?» — напряженно вспоминал он. — Стихия? Нет... Хотя это, может, тоже стихия? Все же, видать, не оно. Жертвы. Вот жертвы!».

Не глядя на парней, заскорузлыми, огрубелыми пальцами выхватил Симонов из костра уголек, прикурив цигарку, отхаркал густо и смачно вечно застуженную глотку и сказал:

— Я про войну скажу.

— А ты воевал, что ли? — удивился Семка.

— Воевал и не говорил? — спросил Славик.

Он мотнул головой, потому что и воевал, и не говорил, и не гордился своей солдатской службой, которая бывает разной: и героической, и не героической, обыкновенной, и такой, как у него, жуткой. Про войну он не рассказывал никому никогда, не говорил и Кланьке, боясь напугать ее, но теперь чувствовал, что не устоит, что расскажет этим пацанам всю про себя правду, что не должен он более держаться в себе такое.

В сорок четвертом, восемнадцати лет от роду, не образованного, необученного, его призвали в солдаты и сразу отправили на фронт. Здесь Коля попал в армейские тылы.

Он сперва не больно-то разобрался, понял только, что, хоть и не придется ему стрелять по немцам, винтовку ему все же выдадут, а это было приятно, льстило самолюбию. К тому же он мечтал раздобыть кинжал, настоящий немецкий кинжал с какой-то там надписью по блестящему лезвию и красивой рукояткой со свастикой. Свастику Николай предполагал сточить, а кинжал носить при себе.

Сейчас понять трудно, что ему был какой-то кинжал, пацанство еще не выветрилось. Однако оно исчезло скоро. Очень скоро.

По прибытии в часть его направили, согласно предписанию, к худому, будто лущеный стручок, старшине с лицом, изрытым оспой, шрамами да еще и обоженными: старшина был в прошлом танкистом, горел, но выжил и попал сюда — так что вместо лица была у него полумаска. Губы, глаза, часть щеки жили, остальное, глянцевито блестя, никогда не менялось.

Увидев его, Коля вздрогнул, старшина усадил его напротив себя и спросил, верно заметив смущение солдата:

— Испугался?

— Не-а, — соврал Николай, а старшина добавил:

— Это, Симонов, еще не страшно. — И удивился: — И кто тебя только сюда направил?

Коля бодро, не тушуясь, сослался на свою необразованность. Но старшина пожал плечами, спросил:

— Ты знаешь хоть, где служить придется?

Коля молчал.

— Не повезло тебе, брат, — вздохнул старшина. — В очень страшное место на войне ты попал. В похоронную команду.

Коля молчал, соображая, что это, конечно, нехорошо, но тут он свой кинжал непременно добудет, потом пошел спать в свое отделение — к старым, молчаливым солдатам, и они оглядывали его удивленно, жалеючи, а его задевала эта непонятная жалость.

Понял он все только поутру, когда, поев, они сели на телеги, запряженные обыкновенными лошадыми, и направились в поле.

Эта эзда напомнила Николаю деревню, страду, или сенокос, или сдачу хлеба: вот так же, колонной, они возили мешки с зерном на хлебосдаточный пункт, — он повеселел, замурлыкал, опять поймал на себе жалеющие взгляды, замолчал, хмураясь, а потом зрачки его сами по себе расширились до предела.

Поле прорезали траншеи, и в них, и между ними, и возле обугленных танков лежали мертвые люди...

Наутро старшина ответил Колюкк к какому-то офицеру, и тот спросил:

— Хочешь, Симонов, мы тебя отправим куда-нибудь? На кухню, что ли?

Николай молчал, понура голову.

— Говори, хочешь? — толкнул его старшина, и Коля сказал мертвым, безликим голосом:

— Теперь все равно.

Офицер долго молчал, молчал старшина — его лицо ничего не выражало. Только подрагивали губы и часть живой щеки. Потом они поднялись, и старшина с Николаем вернулись в команду.

Он осунулся, похудел, как его командир, стал молчалив и не боялся мертвых: теперь его глаза видели все, что может видеть человек. Больше ничего не оставалось.

Уже за границей, в Польше, получив несколько медалей — похоронную команду, видно, из сочувствия к ее работам, никогда не обходился, — Николай вместе со своими товарищами был неожиданно поднят по тревоге и грузовиками переброшен в незнакомое место.

Дело было ранним утром, стался туман, на ветках кустов взблескивали капельки влаги. На большой поляне, куда пригнали грузовики, стояли «виллисы», много офицеров, генерал, какие-то люди в штатском и немец в фуражке с кокардой.

У немца было мордостое, курносое, совсем не немецкое лицо, длинная голубая шинель застегнута на все крючки. Руки он держал за спиной и опустил их только раз, когда все закончилось и с ним стали говорить люди в штатском.

Пока же команда стояла в стороне, строем, хотя и волюно, перекуривала перед заданием, а офицеры отменяли на поляне какие-то точки.

Потом они начали копать. Николай думал, это склад снарядов, однажды им приходилось уже работать за саперов, но под снегом и тонким слоем земли было совсем другое.

Это был ров, заваленный расстрелянными людьми.

Лопаты звякали, цепляясь иногда одна за другую; на поляне, где было много народу, стояла мертвая тишина. Старшина с обгорелым лицом работал вместе со всеми, на правом фланге, ведя ровную линию, соответствующую обрезу ямы, и вдруг краем глаза, разгибаясь, чтобы отбросить землю, Николай увидел, как старшина бежит. Бежит к нему, подняв над собой лопату. Николай молча кинулся ему наперерез, пытаясь задержать, но не успел. Мордастеру фрицу повезло: он уклонился, и удар лопаты пришлось по плечу, да и то черенком, который, правда, с треском переломился, хотя черенки к лопатам в похоронной команде насаживали крепкие. Немец упал, старшина с остервенением плнул его пару раз, но его схватили подбегавшие люди, стали оттаскивать, а он хрипел, оборачиваясь к генералу:

— На передовую! Отправьте меня на передовую! Николай повел старшину в лесок, подальше от рва. Тот послушно переставлял негнущиеся, словно враз одеревеневшие ноги, часто спотыкаясь, глядел вперед остановившимся взглядом. Пугаясь, Николай негромко звал его по имени, но старшина не отзывался. Николай усадил командира на пенек. Тут было совсем тихо, даже звенело в ушах от такой тишины. Старшина был бледен, и цвет его губ совсем сравнялся с цветом белого лица. Верхушки деревьев тронул ветерок, рядом неожиданно шлепнулась шишка, старшина вздрогнул, и Николай увидел, как торпильно прыгнул кадык над воротом старшины. Из глубины его, будто тяжкий выдох, вырвался нарастающий глухой вой.

Командир всегда был молчаливым и угрюмым, и ничто, казалось, не пугало его. Маска обожженного лица скрывала его чувства, а сам он, как и все остальные в команде, никогда лишнего не говорил. Теперь что-то сломилось в командире, он рыдал, но это был не плач, а что-то необычайное, странное, похожее на приступ или судорогу.

— Не могу! — проговорил старшина сквозь стон. — Больше не могу! Сил нету... Моих вот в таком же рву уложили, слышите, Симонов. Всю деревню в таком же рву.

Они посидели, старшина притих, потом велел Николаю идти работать.

Вечером команду отпустили на отдых. Николай сходил в лесок за старшиной. Тот все сидел на пенке, но Симонов не узнал его: за эти полчаса, от силы два часа, пока его не было, старшина осунулся и постарел, будто прошли целых десять лет. Он и так был немолодым, бывший танкист с обожженным лицом, но сейчас перед Николаем сидел старик.

Симонов тронул его за руку, старшина поднялся, вздохнул, сказал: «Что-то сердце схватило» — и снова вздохнул.

Они поехали в деревню, где предстояло ночевать все эти дни, пока не закончит работу комиссия и пока они нужны. Вечером, когда уже все легли, старшина позвал Николая.

Он присел к командиру, придвинув поближе «летучую мышь».

— Николай, ты, однако, просись-ка на передовую, — сказал старшина. — Не то худо все обернет-

ся. Ты молодой еще, тебе еще жить, любить надо, веселиться. А ты только смерть видишь. Коли не убит, передова все заровняет.

Николай кивнул.

— Я за тебя похлопочу, — прибавил старшина.

На рассвете Симонова грубо растрясли. Николай спросился не понимая, Николай вскочил, стал наметывать портянки, думая, что тревога, но вокруг тихо, понура головы, стояли солдаты, товарищи по команде, и он остановился, соображая, посмотрел на кандец в угол, где лежал старшина, и, поняв, ощутил, как, помимо его воли, дергаются плечи. Изба, солдаты, старшина распылись перед глазами, но он не стыдился этих слез.

Вызвали военврача из комиссии, он увез старшину в пустующую избу, а потом команде сообщили, что старшина их умер от сердечной болезни.

Похоронили командира там же, в прозрачном лиственном лесу. Могилку отрыли быстро, умеючи, а когда отрыли, застыдились своей спороности и долго сидели кружком вокруг старшины у зияющей коричневой ямы. Еще одной ямы, в которую надлежало прибрать еще одного человека, убитого войной.

На передовую Николая не отпустили, он заменил старшину, дошел до Берлина, в солдатских разговорах представлялся как пехотинец, да и кем он был в самом деле, если не пехотинец, пехом испотавшим землю. И как испотавшим!

От того рва и от могилы старшины у Николая начался как бы другой отсчет жизни. Был он пустой, словно вытряхнутый, и жил и глядел вокруг себя скорей по привычке, чем из интереса. Ровно вышла из его жил вся кровь.

— Мы с вами разбирали последовательность, в которой ответственные виновные. Первым вы назвали Гусева, и тут у меня к вам вопросов нет. Вторым — Цветкову. Третьим — Храбрикова. За это время, пока мы беседуем, вы не переменили места?

— От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.

— Однако изменилась.

— Вы меня просто удивляете. Давайте начистоту. Одно условие — без протокола. Ведь стало меньше преступником.

— Я много видел циников, Петр Петрович. Но то, что говорите вы, даже не называет цинизмом.

— Вам же, следственным органам, правосудию, меньше работы.

— А вы еще и добренький, оказывается.

— Добренький — понятие отрицательное.

— Это я слышу впервые.

25 мая. 17 часов 20 минут. Кира Цветкова

Пиршество по случаю дня рождения Кирьянова шло уже давно, но Кира никак не могла заставить себя пойти в столовую.

Что-то с ней случилось, понимала она, что-то надломилось в этот знаменательный день: перед ней возникали преграды — естественные и искусственные, она пыталась проломить их плечом, слабым своим плечом, но только расшибалась. С ней такое уже бывало не раз: неожиданно, в один день, в одну неделю, месяц или еще какой-нибудь ограниченный отрезок времени, обстоятельства, ситуации, не зависящие как будто от нее, прихотливо переплетались, и каждый шаг, каждый поступок, даже самый мелкий, незначачий, приводил исключительно к неудаче.

Сети обстоятельств оплатали ее, и чем энергичнее она действовала, тем бесполое ее выходило. Сегодня был такой день, однако именно сегодня она не склонялась винить нечто высшее — рок, судьбу, случай или что там еще, которые опутывали ее своей незримой властью. Нет, сегодня ее неудачи зависели от людей, только от людей, и она видела, понимала это, сжимая в отчаянии и бессилии свои маленькие кулачки.

Кира была давно готова, одета по-праздничному, в закрытое, строгое платье со стоячим воротничком, серое, элегантное, которое очень шло ей; на ногах взблескивали изящные туфельки: среди своих недостатков женщина всегда может найти и выделить достоинства — Кира втайне гордилась маленькими ногами и маленьким размером обуви, это было чисто женское преимущество; волосы она причесала очень изысканно, подкурила локоны у висков, под Марию Волконскую — в альбоме хранилась репродукция миниатюры с ее портрета.

Все было хорошо, Кира гордилась немногими своими плюсами; среди них умение одеваться со вкусом, негромко, соответственно облику и характеру, было основным и раньше; одеваясь празднично, она чувствовала какое-то обновление, внутренний подъем, легкость. Хорошая одежда все-таки вдохновляет, что ли, человека, тем более женщину и трижды тем более, если она одевается так редко, обычно не выезжая из брезентовой робы, грубых чулок и резиновых сапог с высокими голенищами.

Да, Кире радовала хорошая одежда, честно признаясь, она ждала день рождения Кирьянова, думая о редком случае выглядеть хорошо, скромно и непривычно для этих мест, но теперь все было сломано.

Она стучала каблучками по дощатому полу своей комнаты, сжимала кулаки и, не чувствуя приятности одежды, не могла думать без содрогания и ненависти о Храбрикове.

Днем, после возвращения вертолета, она сказала Храбрикову про лодку, потом, позже, про вертолет. Он резал мясо, несчастный мясник, заверил ее, что машину направит после обеда, но через час Кире передали уже аварийную радиogramму.

Она, как девочка, как школьница какая-нибудь, побежала к этому крестину, разыскала его на кухне — прихлебатель, приедоло, мразь! — и устроила, не узнавая себя, скандал. Она подстигала, понукала свое едва просыпающееся самолюбие, в конце концов она начальник партии, и этот пень на дороге — человеком его не назовешь, — это ничтожество, глядящее в рот одному Кирьянову, должно подчиниться ей.

Она непривередлива и никогда не вмешивалась в эту странную связь Кирьянова с Храбриковым или Храбрикова с Кирьяновым, что их там разберет, не собиравшая соваться не в свое дело, но теперь эта дворцовая игра раздражала ее. В опасности оказались люди, и в этом случае служебные и частные пирамиды, воздвигнутые Храбриковым и Кирьяновым, должны рухнуть — о чем разговор!

После скандала на кухне она хотела немедленно поговорить с Кирьяновым, открыла уже дверь в столовую, но тут же притворила ее. Пягиз говорил речь, похотывая, модулируя голосом — речи его всегда отличались бескрайностью и определенным уровнем исполнительства — приглашенные сидели тихо, словно мыши.

Кира ломала пальцы, нервничала, несколько раз заглядывала в дверь одним глазом, но Кирьянов, покрасневший от выпитого, все говорил и говорил, и она не выдержала, накинута пальто и побежала к радистам. Преодолевая расстояние от столовой до

дома, крыша которого была усеяна причудливыми антеннами, она ликорачодно думала, что поступила очень верно, побежав сюда, а не объяснялась немедленно с Кирьяновым. С мерзавцами надо бороться доказательно, сильно, а у нее, кроме эмоций и одной аварийной радиogramмы, ничего не было, хотя аварийная радиogramма говорит сама за себя. Однако это можно доказать кому угодно, Кирьянову же лучше всего предложить более веские доказательства: флегматичную аварияку Гусева он обсмеет, и только. Она бежала к рации, надеясь, что запросит у Гусева подробности, что он наконец объяснит внятно, что там случилось, забудет тревогу.

Радисты — Чиладзе был в столовой — выполнили ее требование, но в ответ на запрос, как чувствует себя группа, Гусев ответил: «Нормально. Ждем помощи». Чертыхнувшись в душе, Кира пошла назад, к столовой, но на подлороге повернула домой. И вот психовала, нервничала, злилась.

Пытаясь успокоиться, она анализировала причины своего состояния. Может, это просто форма женской истерии? Реакция уязвленного самолюбия? Перестраховка безвольного существа, боящегося любой ответственности? И, черт побери, люди, которые просят вертолета, тут совсем ни при чем?

Она прохаживалась по скрипящим половицам. Наверное. Может быть. Даже очень может быть. И истерика, и самолюбие, и в конце концов перестраховка неуверенного в себе человека, но не только, не только! Гусев, широкий, костистый, хотя и невысокий, с крабками, крепкими хватками, не выходил из головы. Да, он спокоен, даже чересчур, порой просто непробиваем, но тем более! Если он просит вертолет, значит, уже перепробовал все другое.

Кира остановилась у окна. Больше тянуть невозможно. Ее поведение и так походило на вызов. Она оделась и вышла из дому.

В столовой дым стоял корымислом, Кира обрадовалась, что, может быть, ее появление не заметят, будет считаться, что она тут давно, но Кирьянов, сидевший в голове стола, зорвал истошно, ломая Ваньку:

— Кира Васильевна! Голубушка! Где же вы? — и без перехода: — Штрафную ей! Штрафную!

Окружающие засмеялись, Кирьянов, ломаясь, поднес ей граненый стакан, наполненный спиртом и подкрепленный аварией.

— Конячку отдавай, — прогремел он, — наше-го, сибирского конячку, — а сам кланялся, изображая хлебосольного хозяина.

Кира пригубила спирт — все внутри обожгло, но она сдержалась, не закусавшая, приложив все силы, что отвел от себя внимание гостей и хозяина. Кирьянов, поломавшись недолго, отошел, и взгляд Кире упал на стулья, составленные в углу.

Там лежали подарки: перевязанная бечевкой и свернутая в рулон, мездра наруку, медвежья шкура, три одинаковых транзистора БЭФ-12, купленные, верно, в небогатом поселковом магазинчике, грузинский большой рог на серебряной подножке — от Чиладзе, наверное, — и охотничья дувалетка. «Сколько же у него этих ружей!» — подумала Кира, собираясь, что второпях забыла дома свой подарок, приготовленный для Пягиза — изящно изданный двухтомник Лермонтова. Книги прислала Кира подружка; она специально и заранее заказывала подарок, зная по опыту, что день рождения начальника экспедиции отмечается шумно, непременно с презентами.

Заказывая книги, Кира искренне хотела выразить свое благодарное отношение к Кирьянову — к его

уважительности и терпению. Надо отдать должное: не каждый начальник был бы столь снисходителен к ней; этот, зная ее, никогда не попрекал, ругая других, и у Кирья не было к нему, как говорится, никаких претензий до сегодняшнего дня.

До сегодняшнего дня... Что же случилось сегодня? Да ведь ничего. Просто она испугалась. Пришли эти радиogramмы, она затрепетала, и все предстало перед ней в мрачном свете.

Выпили за семью Петра Петровича, он снова принялся со стаканом спирта в руке говорить длинную речь, теперь его слушали не столь внимательно, в столовой висело гудение, бражки вилки, слышался шепоток.

Кира выпила еще чуточку, как будто ненадолго отлегло. Она улыбулась Чиладзе, поддерживала разговор с соседом, немного поела жареной лосатины, вкусной, но жестковатой. Заноза, засевшая с утра, все-таки не выходила. Нет, дело не в испуге. Дело все-таки в духоте, да, да, в духоте. Ий нечем дышать, не хватает кислорода, и хотя вполне может оказаться, что лично для нее кислород губителен, и ей и всем остальным в экспедиции надо вздохнуть. Поглубже вздохнуть, распрямить все клеточки легких.

Кира поднялась. Она не была пьяна, ну, может, самую чуточку, но это не в счет. В голове что-то позванивало едва, а так в ней было чисто и прозрачно.

Увидев ее со стаканом в руке, Кирьянов забрел ножом о графин, наполненный спиртом. Не так скоро, как вначале, не столь послушно гости умоляли, перешептываясь: «Тост, тост, тисель» — и, услышав это, Кира демонстративно поставила стакан. По столовой прокатился шумок.

Кира обвела взглядом столовую, поглядела на Кирьянова и вдруг бухнула:

— Какого черта!

Плпз, задыхаясь от хохота, молча отвалился на спинку стула, громогласно захопал в ладоши, крикнул:

— М-молодец!!

Ему нравилось начало тоста, и эта пигалица выглядела совсем ничего сегодня — надо же, а? — и он скомандовал:

— Просим дальше!

— Какого черта! — повторила Кира, решительно признавая себе, что все-таки немного пьяна и что это даже хорошо: трезвой бы она так никогда и не сказала б. — Там люди шлюты аварийки, а мы пьем спирт.

Кирьянов сбросил все маски, смотрел пристально, настороженно.

— Петр Петрович, — сказала Кира, оборачиваясь к нему. — Ну когда будет покончено с этим безобразием?

— Кира Васильевна! — нависая над гостями, поднимая Кирьянов. — Здесь, простите, день рождения, а не общее собрание.

— Но там люди!.. — воскликнула Кира, не столь требуя, сколько умоляя, протянула руку к окну. — Там люди, они на острове, их заливают. И я не могу добиться вертолета.

На мгновение в столовой стало тихо, и Кира успела окинуть взглядом лица гостей. Что-то неуловимо сломалось в этом беспечном празднике, лопнула какая-то пружина. Кира поняла это сразу, определяя по застывшим или, напротив, неестественно оживленным лицам, что ее бунт — факт не ожидаемый, что большинство сидящих тут как будто давно готово к неприятностям, ожидающим экспедицию, и дело тут не в ней, Кире, отнюдь не в ней.

Мимолетная пауза кончилась, гости зашумели, споря пока между собой, потом вскоили напартим Лаврентьев, близорукий и странноватый, всегда выступавший невпопад на летучках у Кирьянова, не понимавший его тонких внутренних схем, и крикнул:

— Надо организовать группу спасения!

Кира увидела, как передернувшись побуревшее лицо Кирьянова, как он вжал голову в плечи — начиналась обычная игра.

— И вообще, — опять крикнул Лаврентьев, несурово размахивая руками, — с Храбриковым никогда не договоришься, для него мы все мальчишки!

— Я подтверждаю! — напруга голос, сказал начальник радиостанции Чиладзе. — Радиogramмы идут, Кира Васильевна хлопчет, а ей никто не поможет. Возмутительно просто! Храбриков у нас важнее нач-экспедиции!

При упоминании Храбрикова партийным секретарем Чиладзе, которого Кирьянов если и не побаивался, то старался не задевать, столовая оживилась еще больше. «Нет, оказывается, у него сторонников тут, кроме Плпз, — подумала Кира, — но зато Кирьянов — сторонник серьезный. Что дальше?»

Плпз все бурел, склоняя голову, привлекая к себе внимание, но, странно, то ли от выпитого спирта, то ли еще отчего, гости на хозяина внимания не обращали. Они галдели, возмущались, они обсуждали недопустимость такого поведения Храбрикова. Лаврентьев, свесив было за стол, вскоили снова и уже вызывал желающих срочно лететь на спасение.

Кира молча поглядывала на галдящих гостей, приходя в себя, чувствуя если и не серьезную поддержку, то единственное недовольство Храбриковым. Срочно лететь вызвали лысым, хотя и молодого, бухгалтер, Чиладзе и чья-то жена. Кирьянов, молчавший все это время, излучающий обстановку, вдруг вскоили со стула и заорал, надрывая глотку и наводя своим криком порядок и тишину:

— Хра-абр-риков!!! Храбриков! Хр-раб-риков, в конце концов!!!

— Когда Цветкова таким странным образом, который она была, потребовала от вас хоть каких-нибудь действий, что сделали вы?

— Прикажи лететь.

— И только?

— А что еще?

— Нет, ничего. Сумма еще не переменилась. Или вы такой тугодум, Кирьянов?

— Ну, я велел залететь потом еще в одно место.

— Потом или вначале?

— Не помню.

— Я вношу это в протокол

— Вносите. Такое ваше дело.

— А вот Храбриков помнит, Петр Петрович. Очень хорошо помнит и ссылается на свидетеля. На повариху.

— Нет, не может этого быть, не может... Хотел бы я поглядеть на этого подонка!

— Не волнуйтесь, скоро, возможно, встретитесь.

25 мая. 19 часов. Сергей Иванович Храбриков

Рук у него трясился из-за происшедшего, склеротические щеки раскраснелись от выпитого спирта, урчал желудок — верно, склизывалось не очень прожаренное лосное мясо, — и вообще он недоога, вообще он чувствовал себя разбитым, а тут приходилось лететь.

Привычный к грохоту вертолетных моторов, к дребезжанию стенок, сидения, пола, к тому, что вибрировал он сам вплоть до кончиков пальцев, до чокот ушей, сейчас он раздражался, отчаялся, изнемогал, испытывая неумолчное желание открыть дверь и немедленно, несмотря на высоту, выйти из машины.

Зная глубину своей хитрости, он чувствовал себя сильным, когда удавалось благодаря ей получать преимущество над другими, прямой или косвенный процент хоть какой-нибудь пользы. Но если случайно проигрывать, он тосковал, липко потел, анушая самому себе мысли о недоумогании, усталости.

Так было и сейчас.

Вертолет летел над тайгой, а Сергей Иванович стервел от обиды и злобы — все, что произошло в столовой, на этом дне рождения, для которого он столько хлопотал, столько работал, было униительно. Бог с ним, унизиться иногда не грех, если видишь пользу для себя, тут же не было никакой пользы, а была публичная порка, порка...

Леденя, Храбриков перебирал подробности происшедшего; в таких случаях он не торопился забыть, успокоиться, а, напротив, терзал себя, подзуживал, тербил по частям, по фразам и минутам, словно лоскуты, свою обиду.

Он сидел на кухне, ел лосатию — одну, без хлеба, для пользы здоровью, — резал ее своей финкой на мелкие куски, и ему было хорошо, очень хорошо. Храбриков любил такие минуты одиночества. На кухне было много людей, но он отвернулся от них к стенке, к бревнам, конопаченным мхом, и был как бы один. Только иногда от плавного течения мыслей его словно отдергивала повариха, толстозадая, обрюзгая, недолюбливавшая его.

— Ты хоть прожегнешь, Храбриков! — кричала она, довольно взвизгивая от собственного остроумия. — А то глоташь, как енисейская чайка! Подависсь, гляди!

Он вздрагивал, посылал ее про себя в соответствующие места и снова углублялся в еду, неторопливо и основательно. Подбородок его блестел в жире; маленькие, льдистые глазки как бы оттаивали; в нем звучала внутренняя музыка, невразумительная, без мелодий, означавшая сошедшую к нему доброту и умиротворенность.

Так он ел, не думая ни о чем неприятном, и вдруг из-за прикрытой двери, откуда неслись взрывы хохота, галдеж и рокошующий голос Кирьянова, раздался крик.

Храбриков прислушался, звали как будто его. Он недовольно вытер о штаны масляные руки, наверное, подбредший Пэлэз приглашал к общему столу, спохватившись, что нет ближайшего помощника, а ему больше нравилось здесь, в одиночестве. Вдохнув, Храбриков взял в обе руки тарелку с кусманом лосатины, прикинул ногой дверь и повесил на себя улыбку, пошел к общему столу.

Сейчас в вертолете, вспомнил этот первый шаг в столовую, Храбриков проклял себя за минутное благодушие. Надо же, старый хрен, решил, что его зовут к столу! Особенно его убивала эта тарелка с огромным ломтем наилучшего мяса — он так и стоял с ней до конца и с ней потом встал. Из всего, что случилось потом, его ничто не угнетало столь сильно, как эта первоначальная промашка, мысль о том, что его зовут к столу, и эта тарелка.

Он вошел, и, уже когда переступил порог, Кирьянов крикнул

— Хрр-раб-риков, в конце концов!

Сергей Иванович, улыбаясь, подошел к Кирьянову вместе с тарелкой — гости глядели на него нис-

ходительно, словно на прислугу, и, даже не видя их, Храбриков чувствовал это.

— Храбриков! — воскликнул Кирьянов, прохаживаясь возле него, разрывая оплетку спектакль. — Сколько это может продолжаться?

Приходя в себя, видя стоящую за столом Цветкову и соображая, о чем будет речь, Храбриков все же слегка ссутулился и дрогнувшим, упавшим голосом спросил:

— Что продолжаться?

Кирьянов прошелся возле него, и Храбриков заметил, как он встал, чтобы казаться еще выше, на какую-то приступку в полу. Что-то должно было произойти, какая-то неприятность, это было ясно, неясно только, в какую сторону и как поведет Кирьянов свой цирк, даст ли возможность экспедицию, от которого, между прочим, не ведая того, зависит и сам, сманеврировать, выкрутиться? Или пойдет, как бум-бозер, сквозз чашу?

Насторожась, подбравшись, Храбриков посмотрел Кирьянову прямо в глаза, как бы намекая на существующую между ними связь. Но Кирьянов был непробиваем.

— Долго будет продолжаться это безобразие!! Начпартни просит вас переправить людей в безопасное место, людям угрожает опасность, может, даже смертельная, а вы тут, — он оглядел Храбрикова с головы до ног и закончил уничижающе, — занимаетесь обжираловкой!

Храбриков вздрогнул, в мутных глазках от обиды навернулись слезы, но он тут же спрятал их, поморгал и сказал:

— Не понимаю, об чем речь?

Цветкова, все еще стоявшая за столом, кажется, поперхнулась. Храбриков заметил, как Кирьянов мельком, подозрительно взглянул на нее и довершил:

— Про лодку мне Цветкова действительно говорила, тут я виноват, запамятовал, а больше ничего не знаю.

— Как не знаете! — крикнула Цветкова. Заметив, что она поблудела, Храбриков вновь почувствовал себя в форме.

— А так! — удивился он наивно. — Ничего вы мне не говорили!

— Вы что! — всплескивая руками, плачущим голосом закричала Цветкова. — Белены, обьелись?

— Э-э, заблелся Храбриков, щуря глазки и мотая головой, — нехорошо обзываться-то, девушка! — Он переходил в атаку, по многолетнему опыту зная: чем наглее он будет себя вести, тем лучше. — Ты ведь мне в дочки годишься, а старика обзываешь.

— Да он подлец! — крикнула Цветкова. — Разве вы не видите?! Подлец! Отказывается от своих слов.

— Ну-у! — протянул Храбриков, победно глядя на Кирьянова. — Дак она пьяная!

В зале стоял шум: не зная истины, люди всегда много и охотно толкуют, строя предположения, догадки, осуждают и обсуждают. Важно было вызвать симпатии у этих незнающих людей — и Храбриков сказал громко:

— Ишь, набралась!

Он пошел к выходу, сутулясь, изображая несправедливо оскорбленного. Цветкова бухнулась на стул, заплакала — громко, истерично, ее бросились утешать долговязый начпартни и Чиладзе. Но Храбриков довольно усмехнулся, подумав: «Съела, сопляка? Съела!»

— Стой! — услышал Храбриков окрик Кирьянова.

Пэлэз кричал властно, словно собаке, но Храбриков, ликуя победу над Цветковой, не заметил этого. Он обернулся.



— Я не знаю,— воскликнул Кирьянов,— как там было! Кто и что сказал или вообще не говорил...

Столовая слушала его внимательно, притихнув, только слышались всхлипы Цветковой, а Кирьянов смотрел лишь на гостей, не замечая как бы ни Цветкову, ни Храбрикова, выключая их из дела, беря решение в свои руки, играя, опять играя.

— Сейчас важно не это! Важно другое! — ПэПэ стоял с наполненным стаканом в руке, но глаза его казались холодными, деловитыми. Стакан был лишь подробностью, он не имел никакого значения в том, что говорилось. — Важно другое! — воскликнул Кирьянов. — Важны люди! Группа Гусева! Их надо спасать! Немедленно! Товарищ Лаврентьев, — сказал он, успокаивая нескладного начпартии. — Никакой группы спасения не надо. Ничего страшного пока не произошло. Храбриков обязан лететь, он и полетит.

Кирьянов поднял стакан. Лицо его опять выражало сердечность и добродушие.

— Выпьем за людей! За тех, кто в поле! За тех, кто решает все! — И перед тем, как выпить, велел Храбрикову: — Слышите! Летите немедленно! Сию секунду!

Храбриков сжался, понимая, что ему приказывают унизительно, властно. Тарелка с куском лосятины снова стала оттягивать руки, он увидел, что гости

смотрят на него — недоверчиво, с опаской, как на жулика.

Плечи его опустились, он вышел в кухню под придирчивый, насмешливый взгляд поварихи, поставил тарелку на стол.

Заскорузлые пальцы тряслись, как после контузии, в животе противно заурчало. Он натянул картуз, когда дверь из столовой хлопнула и его обнял Кирьянов.

— Ничего, дядя! — хохотнул он, залезая в карман, и прибавил, приглушая голос, укорительно: — Нехорошо, нехорошо девушек неморочных обижать!

Храбриков вскинул голову, прищурился, готовясь защищаться, но Кирьянов добродушно поглядывал на него, подмигивая, едва заметно, как бы успокаивая, все понимая и даже присоединяясь.

— Вот возьми, — сказал он, протягивая мятые, потные бумажки. — Долетишь заодно до станции, ящич спирту возьмишь. А то кончается!

ПэПэ хохотнул, больно ударил его по спине, даже зазвенело что-то в груди — отлобля стютерсовая, — и исчез за дверью.

Храбриков мгновение соображал, держа на ладони деньги, потом, веселее, подмигнул поварихе.

— Слыхала! — спросил он.

— Слыхала! — недовольно ответила та.

— Запомни! — привеределливо велел он.

— Чего запомни? — удивилась повариха.

— Запомни, что велено мне долететь заодно до станции, взять спирт.— В голосе его слышалось злорадство.

— Ну? — проямлила повариха.

Он ничего не ответил ей, не стал едаться в подробности, матюгая ее про себя за бабье тугодумство, и пошел к вертолетам.

Теперь, в воздухе, его мучило, ему было нехорошо, и единственное, что помогало, что выводило из раздражения, — приказ Кириянова.

Храбриков знал: группа Гусева сидит где-то по дороге к станции. Кириянов велел купить спирт, но не сказал, что раньше.

Притаившись у иллюминатора, Храбриков глядел в темнеющую тайгу, норвежца разглядывал палатку. Когда машина пересекла Енисей, он понял, что внизу вода — она была темнее снега, лежавшего на берегах. Прямо над водой стлался туман. Отмечая эту подробность, Храбриков увидел красную ракету. Она, померкшая, светилась сзади и правее их курса. За ней поднялась еще, еще...

Храбриков прищурил веки, отмечая сквозь ресницы шарики, всплеснувшиеся позади. «Только бы не заметили пилоты!», — отметил он, но вертолет летел точно к станции, не зависая, не разворачиваясь.

Сергей Иванович успокоенно закрыл глаза, жалея в душе всеисильного Кириянова за его грубость, невоспитанность и... глупость.

— Я хотел бы подробнее поговорить о Цветковской.

— Говорите, один черт.

— Некоторые утверждают, что у вас близкие отношения.

— Это тоже имеет отношение к делу?

— К сожалению, да. И этим объясняется ваша к ней мягкость. Анализируя характер «губернатора», можно подумать, что так оно и есть — к остальным вы были строже.

— Просто жалел ее, дуру.

— Теперь ваша жалость исчезла?

— Теперь у меня все к ней исчезло. Вы, пожалуй, правы, от перестановки мест — изменятся. Прежде всего виновата она. Цветкова. В конце концов она начальник партии и непосредственно отвечает за жизнь людей. Гусев виноват меньше.

— А Храбриков?

— Храбриков вообще сволочь.

25 мая. 19 часов. Петр Петрович Кириянов

Отправив Храбрикова, ПзПз подсел к Кире и стал, как ему казалось, восстаивать равновесие.

Гости, настроив для громкости все три подарочных ВЗФД на одну волну, тостовали, шейковали — у кого что шло, — гадали, хотогали, пили. Решительные действия Кириянова успокоили их, разом прервали минутную смуту, которую внесла в общество Цветкова, и, дрогнув сначала, обобзая на ее выходку, теперь Петр Петрович был до чрезвычайности доволен собой. Он опять оказался в форме, и это прекрасно, неповторимо, когда ты осознаешь свое преимущество над толпой.

ПзПз ощущал приподнятую взволнованность, ему очень нравились этикие бесшабашные гулянья, отключение на краткое, но необходимое время от всяких дел, хлопот, решений. Его дни рождения были

как бы венцом справедливости, когда за тяжкий, неблагодарный, ответственный труд приходит долгожданное вознаграждение. Нет, до истинного, полного вознаграждения еще далеко, но эти вечера уже что-то, и что-то немалое, потому что они свидетельствуют о его авторитете среди людей и о преданности их ему. И разве мог он — божь! — допустить, чтобы в его день рождения кто-то из любящих его плакал, переживал, страдал.

— Кира Васильевна, — склонился он к Цветковой, деликатно, держа в рамках приличия, заигрывая и едва обнимая ее огромными ладонями, — Кира Васильевна, успокойтесь, вы правы, конечно же, но теперь все позади!

Кира подняла голову, достала из рукава батистовый платочек, промокнула слезы, внутренне стыдя себя. Так она еще никогда не срывалась. И хотя дело как будто закончилось благополучно, пусть не для нее лично, для группы Гусева, сама она ничего не приобрела, кроме глупого публичного скандала, — надо все-таки держать себя в руках.

Кириянов улыбался, поглядывая на нее с видимым удовольствием. Ну вот, кажется, она уже проморгалась, уже отошла благодаря его такту, умению ладить с людьми — когда властно, а иногда деликатно, даже с долей нежности.

Он подвинул к ней стакан, вынудил выпить немного, заест ласточкой, делая все это снисходительно и в то же время заботливо, добродушно.

— Милая вы моя, — приговаривал он, — нас, мужиков, прижимать надо, ружье на нас надо наводить, а то тут, в безлюдье и, простите, в безбабье, омедеживаемся вовсе.

Пигалица, отходя, недоверчиво взглядывала на него, и он, честно признаваясь, удивлялся ее сегодняшней прыти: устроить такой спектакль у него на дне рождения, разве мог он подумать? Но ничеро! Кто-то, а он, ПзПз, мог уладить и не такое.

Приговаривая, успокаивая Цветкову, Кириянов, однако, скучал. Спроси его об этом, он ни за что не признался бы, наоборот, театрално захохотал, но факт оставался фактом. Эти гости, оружие, поющие, пляшущие, вновь не обращали на него никакого внимания. Словно отбыли обязательную программу, выслушали, к примеру, доклад, едва дождавшись конца, и теперь — дорвались до спирта, до еды, музыки. Улыбаясь, но с трудом сдерживаясь, Кириянов оглядел публику. Народ был сбородный: несколько поселков, здешних, приглашенных для количества, остальные — бухгалтер, некрасивая радистка, допущенная в общество из-за отсутствия женщины, захвоч, к которому приехала жена, начальник радиостанции Чиладзе, этот Лаврентьев.

В другом, цивилизованном месте, подумал Кириянов, эту необразованную гольбебу он не подпустил бы близко; единственное, на что могли рассчитывать они, скажем, в городе, так на снисходительный кивок головы при встрече. Здесь же приходилось. Приходилось сидеть с ними, пить спирт, заигрывать, ломать Ваньку, изображать добродушие и щедрость.

«Послат бы сейчас их к черту, — подумал Кириянов, — врезать кулаком по столу, чтоб проломить фанерную столешницу, да напугать до смерти, зарвать, надравая глотку, — должны же они понимать, с кем пьют!»

Он зевнул, скучая. Цветкова сидела, успокоенная, больше уговаривать ее он не собирался, но и стучать кулаком не собирался тоже. Все-таки вокруг демократия, народность. И он должен быть кумиром окружающих его людей. А тут уж — любиишь

кататься, любви и саночки возить — само не стронется...

К ним подсел Лаврентьев и начальник радиостанции Чиладзе.

— Пет-р Петро-вич! — протягивая слова, сказал Лаврентьев, жестикулируя своими аршинными ручищами. — Пристринуть этого Храбрикова надо, а то в конце концов житья никакого!

— Приструним, приструним! — отговаривался Кирьянов. — Накажем, если надо, а то и уолим. Чего там в самом деле! Но вы уж тоже! Будьте справедливы. Вон он сколько сэкономил нам. И потом работать с ним надо! Воспитывать! Он человек беспартийный, незрелый, мы доводить до кондиции его должны.

— Ха, до кондиции! — воскликнул Чиладзе, поигрывая глазами. — Он тут любого из нас сам до кондиции доведет. И похоронный марш сыграет.

— Ну вот, — вскинулся, хотонул, Кирьянов, — уже о похоронном марше заговорили! Да разве мы на похороны собрались?

Лаврентьев и радист отчужденно молчали.

— Все-таки надо бы с Храбриковым кому-нибудь полететь, — сказал Лаврентьев. — Не ровен час...

— Летите! — бесечно ответил ПзПз. Занудство Лаврентьева и Чиладзе порядком надоело ему. — Летите, — повторил он снова, — но меня увольте. Я чуужую работу делать не намерен.

Наступила неловкая пауза. Вокруг веселились люди, а они молчали.

— На минуточку! — сказал неожиданно Чиладзе. Кирьянов сначала не понял, чего он хочет.

— На минуточку вас, Петр Петрович, — повторил начальник радиостанции.

Кирьянов нехотя встал, отошел вместе с ним в угол, к орудию во всю глотку ВЗФам.

— Слушайте, Петр Петрович, — волнуясь и потев, проговорил Чиладзе. — Ты что, в самом деле, глупости делаешь? — Когда Чиладзе волновался, он не только потел, но и путался в обращении, перескакивал с «ты» на «вы» и обратно. — Чего ты, в самом деле, губернатора строишь?

«Ну вот, — подумал Кирьянов, — еще один псих. Власть, видишь ли, чувствует, партийный секретарь. По душам беседует с руководством. В порядке воспитания».

— Знаете что, товарищ Чиладзе, — строго сказал Кирьянов: надо было осадить все-таки секретаря, — не предполагал, что партийный секретарь может собирать обо мне грязные слепки. Не для того, по моему, существует партийная организация. Вы должны помогать руководству в реализации планов, а не ставить палки в колеса...

— Какие такие палки? — удивился Чиладзе.

Приходилось быть гибким.

— Ну хорошо, хорошо, — изменил тон Кирьянов. — Разве же я не прав, отправив Храбрикова самого? Оснований для тревоги нет. И вы мне помогите, успокойте людей.

Улыбаясь, он вернулся к столу, стараясь выгнуть из себя неожиданную хандру, стараясь искусственно создать хорошее настроение, это он умел, чего ж не уметь, если вон черную икру и ту искусственно научились производить, а настроение уж как-нибудь. Он вскинул, оглаживая светлый, по случаю праздника надевший костюм.

— Кира Васильевна! — крикнул Кирьянов, вновь привлекая к себе внимание, как бы раздвигая других. — Давайте сюда!

Он не повторил приглашения, хотя Цветкова еще сидела, не решаясь, подхватив ее со стула, аккуратно поставил рядом с собой, наклонился, чтобы добраться до ее талии, пошел в старомодном танго.

Гости образовали круг. Глядя в глаза Цветковой и смущая ее до краски, ПзПз выделял всевозможные сногшибательные пируэты, вспоминая то, что умел, импровизировал, и все это выходило у него легко, даже изящно, потому что партнерша не мешала ему, он не должен был приравниваться к ней: партнершу он просто вскидывал, если она не понимала его, переносил по воздуху, как переносит легкую мебель.

В каком-то крутом повороте краем глаза Кирьянов увидел Чиладзе и Лаврентьева. Подхватив палки и шапки, они топтались у двери. ПзПз понял их — хотая утащить с собой и Кирю, но она, слава богу, не видит их, от спирта и стремительных поворотов, подика, кружится голова, не то что люди, стены плывут у мышки, да и ни к чему она вам, господа хорошие. Подтолкавшись, Чиладзе и Лаврентьев вышли из столовой, никем не замеченные, кроме ПзПз.

«Пусть летят в конце концов, — благодушно подумал Кирьянов. — Пусть летят, коли охота, только не паникуют и компанию не рушат».

Танец продолжался, гости посмеивались, однако негромко — Кирьянов танцевал все-таки с нечепаром, а там черт знает, какие у них отношения, — ведь иногда даже смеяться надо сознательно, к месту и с толком.

ПзПз махнул рукой, видя умоляющие глаза Кирю; гости, словно бы по команде, расслабились вновь, наполняя стаканы, закусывая, шумя, танцуя.

— А ведь вы, — сказала неожиданно Кира, — вполне обожались бы без них.

Он кивнул, щедро улыбаясь, потом сообразил, что говорит Цветкова о гостях, отодвинул ее от себя, продолжая танцевать, окинул взглядом. Сначала он думал взрывать ее, дать понять, что психоаналитика не для нее, но неожиданно расхохотался.

— Точно! — хрипло шепнул ей в ухо. Она слегка отодвинулась. Танец разгорячил его, и, видя, что Кира отстранялась от него, он несиловым движением прижал ее к себе.

«Ого, — подумал он тотчас, — а я-то думал, — и деликатно переложил ладонь чуть ниже. Цветкова попятилась, он исправился, боясь спугнуть ее, а сам захохотал, как бы продолжая разговор, но думал совсем о другом.

— Точно! — повторил он, наклоняясь к Кире и принюхиваясь к ее приятно пахнущим волосам, и вдруг предложил: — А давайте пошлем их к черту!

Кира не поняла, он разъяснил, что можно сходить на радиостанцию, и эта дурочка обрadowалась, немедленно побежала одеваться. «Надо бы заставить ее выпить», — подумал он, чувствуя, как в висках начинает тукать кровь. — Ну, да ладно. Дома, кажется, есть коньяк».

Стараясь быть непринужденным, он نکردнул на полную мощь транзисторы и как бы невзначай вышел за Кирю.

На улице были густые сумерки. Луна просвечивала мутную кисею, образуя возле себя круг, напоминающий белесый нимб.

— Похолодает, что ли? — спросил вслух Кирьянов, беря Кирю под руку и пожевывая от холода. — А по сводке метель, мокрый снег, — засмеялась Кира. — Ну, эти симпатки!

Нешесно, прогулочным шагом, они дошли до радиостанции, и Кира совсем было успокоилась. Она делала все, что могла, и оказалось — возможно невозможное. Да, самым удивительным во всей этой истории ей представлялось поведение ПзПз. Готовясь к своему публичному бунту, она ждала возмущения и ярости Кирьянова, а вышло все гораздо

проще и нормальнее — то ли он понял, не дурак же в конце концов, то ли испугался? А может, опять играет?

Так и не поняв, что произошло с Кирияновым, Кира толкнула дверь. Посреди радиостанции стояли Чиладзе и Лаврентьев, оба какие-то вздерженные. «Как они обогнали нас! — удивилась Кира, — улица в поселке одна?» Тут же она поняла: прозвала что-то очень важное, словно закрыла глаза и на мгновение уснула. Да, да, да! Так оно и случилось. Всех всполошила, подняла на ноги, а сама, успокоенная Кирияновым, стала думать о случившемся в прошедшем времени. В прошедшем... Почему в прошедшем? Ведь ничего еще не прошло, ничего не закончилось.

Как бы сдерживая с себя оцепенение, Кира шагнула вперед, но ее опередил ПэПэ.

— Ну? — властно спросил он. — Какие новости?

— Не успели, — ответил ему Лаврентьев. — Прибежали на площадку, но вертолет уже ушел.

— А что здесь? — спросила Кира.

— Молчат, — хмуро сказал Чиладзе. — Не отключаются ни по обычной, ни по аварийной волне.

ПэПэ потребовал последнюю радиোগрамму. Она была краткой: «Нормально. Ждем помощи».

— Неразговорчив, бродяга! — бросил он и повернулся к Кире. — Ничего страшного. Может, батареи подмокли или еще что...

— А если не подмокли? — спросил Чиладзе. Он был собран, встревожен, от праздничного настроения не осталось и следа, а Кира вздрогнула. На вечеринке она зывала спасти группу Гусева, говорила, что им угрожает опасность, а Чиладзе сказал уже не об опасности. О другом.

— Не паникуйте! — сказал шутливо Кириянов. — Вы же не барышня.

— Я не барышня! — согласился Чиладзе. — Просто я не желаю быть безучастным свидетелем.

— Вы увлеклись праздником, — сказал Кириянову Лаврентьев. — Выйдите наконец, Петр Петрович, из этого состояния! Там же люди, они погибнут!

— Да, черт возьми! — воскликнул ПэПэ, и Кира вновь увидела прежнего «губернатора». — Я здесь не первый день! И все это было, тысячи раз было, помните! И аварийки, и прерванная связь, и так называемые ЧП! И все кончалось нормально!

— Раз на раз не приходится, — возразил Лаврентьев.

ПэПэ сорвался с места и заходил из угла в угол, высокий, широкоплечий, и за ним металась его большая тень. Потом остановился.

— Хорошо! — взмахнул он рукой. — Вот вам доказательство от противного. Я не прав, вы правы. Я спокоен, вы беспокоитесь. Но посмотрим на ситуацию реально. Вертолет ушел. Вторая машина на профилактике. Что мы можем поделать? Вы? Я? Ждать! Нам осталось ждать! Можно было, конечно, вскочить из-за стола, сесть всей компанией в вертолет и коллективно полететь на выручку Гусева. Но это дешевый энтузизм, помните! Энтузизм наполовину со спиртом. И потом, если действительно виноват Храбриков, пусть он и исправляет свои ошибки. Или я не прав?

Чиладзе глядел в сторону, Лаврентьев стоял потупившись.

— Храбриков за людей не отвечает, — сказал, помолчав, Чиладзе. — Он отвечает за вертолет, да и то — отвечает ли?

— Не спугайте, — ответил твердо Кириянов, — и возьмите себя в руки. Все будет в порядке. И контроллируйте эфир. Если что, докладывайте.

Отдавая команды, Кириянов был равнодушен. Вось этот психоз выдумала Цветкова. А сейчас его

занимало другое, совсем другое. ПэПэ подхватил Киру под руку, они вышли на улицу. Четверть часа, не больше, пробыли Цветкова и Кириянов у радиостов, а погода уже переменилась, как это часто бывало здесь. Луна едва пробивалась сквозь дымку, а с севера дул холодный, обжигающий, мощный ветер. Казалось, невидимая, но плотная и необъятная воздушная стена наваливалась на тагту, на поселок. Улицная грязь сковывалась морозом, становясь вязкой, лужи хрустели льдом.

Навалился на ветер своим тяжелым телом, Кириянов тащил Киру. Она мрачно молчала — видно, выходил на таком сквозняке хмель, а может, опять переживала за Гусева.

— Бросьте! — крикнул ей Кириянов. — Вертолет уже забрал их, вот весь и секрет, потому молчат.

— Они молчат давно! — ответила Кира. — И потом такой ветер...

— Это первая! — весело солгал Кириянов. — Скоро успокоится.

Они были возле кирьяновского дома. За руку, как маленькую, ПэПэ звал Киру к себе.

Потирая покрасневшие щеки, она сидела на диване, и Кириянов, разглядывая ее, подумал, что эта серая мышка, в сущности, не так уж дурна собой и что, щадя ее в деле, не предьявляя особых требований, какие он предьявлял к другим, он, кроме прочего, подспудно, про себя, имел ее в виду... на будущее.

Эта маленькая мышка могла пригодиться, ведь всякий человек интересен по-своему, любопытной оказалась и она, повисив сегодня голос и этим как бы напоминая о своем существовании, об окончании своего статичного, законсервированного состояния. «Ну вот», — подумал он, огораживая морально от предстоящего. — Она виновата сама: если бы молчала, я не обратил бы на нее внимания.

ПэПэ подошел к Кире, поднял ее за плечи, прощая заботливость и галантность, помогая снять пальто, она, ничего не понимая, кивнула, благодаря, и Кириянов оценил это как одобрение последующих действий.

ПэПэ обнял Киру, обхватив ее за спину, так что она не могла слохнуться, не наклонилась, а приподнял ее, оторвал от полу, к своей бороде, поцеловал по-медвежьему, овладев ее ртом.

Напрягаясь, извиваясь всем телом, Цветкова пробоовала вывернуться из его лап, но это было бесполезно. Неожиданно Кириянов ощутил пронзительную боль, вздрогнул и засмеялся — мышца вцепилась в него зубами, даже, кажется, прокусила кожу у запястья, но это только подхлестнуло его.

И вдруг он услышал, как она сказала — спокойно, даже равнодушно:

— Какое производное слово от испанского «кабальеро»?

Он опешил, потом захохотал: «Ну, девака!»

— Какое? — спросил он, останавливаясь.

— Кобельеро.

Кириянов захохотал вновь.

— Слушайте, «губернатор», — сказала она опять столь же спокойно, — что вы рвете мое платье? Ведь, кажется, я еще не ваша наложница?

Он рассмеялся вновь, отпустил ее на минуту. Завязывался, кажется, деловой диалог.

— Ну так будешь! — успокоил он ее.

Неожиданно, словно выстрел, зазвонил телефон. Чертыкнувшись, Кириянов отпустил Киру и схватил трубку. Он молчал, слушая, что говорят на том конце провода, потом крикнул, свирепая:

— Но вертолет ушел! Ушел!

Швырнул трубку, обернулся к Цветковой. Она стояла, накинута пальто, из-под которого торпачилась разорванное платье.

— Чертов проповедник! — ругнулся он. — Грузинская кровь заговорила! Требуется, видите ли! — и неожиданно велел Кире: — Раздевайся!

— Что там? — спросила она.

— Твой Гусев подал голос. Говорит, падала антенна. И заливает. Раздевайся!.. — Ему надоело с ней бороться: в конце концов он не мальчик, и у них не такие отношения, чтобы она могла пренебрегать им. Эта мышь должна уступить сама! Тем не менее Пэлэ шагнул к Кире, повторил: — Раздевайся!

— Между прочим, это — уголовное дело, — сказала она совсем спокойно.

— Что? — не понял он.

— То, что вы хотели сделать.

— Дрян! — ответил он ей лениво, подумав: «А что, такая может! Эта дура все может». — И вдруг заорал, сатанея: — Дрян! Девка! Я тебя вышвырну отсюда!

— Давно пора, — грустно ответила Цветкова, и эта готовность быть вышвырнутой вывела его из себя.

Пэлэ ощерился, походя даже внешне на волка, подскочил к стене, схватил карабин и нажал на спуск, целясь в потолок.

Жахнул выстрел, комната заполнилась дымом.

Он устало швырнул оружие на диван и понял, что противен сам себе.

Цветкова уже исчезла из комнаты, да и игрой была вся эта пальба. Игрой для единственного зрителя — самого себя, и это было отвратительно, невыносимо.

— В 19 часов 10 минут от группы Гусева поступила последняя радиogramма. Связь вновь оборвалась. По каким причинам, вы знаете. Это был уже сигнал бедствия.

Вертолет в это время уже ушел. Отбросив все предыдущее, скажу честно: я не боюсь ответа. Но тут уж я не виноват. Остальное ложится на Храбринува.

— Напоминаю: он утверждает со ссылкой на свидетеля, что вы не указали ему, куда лететь иначе — за спиртом или за людьми.

— Доводы подлеще, что тут говорить. Если даже так, и я не говорил, куда раньше, неужели нельзя понять?

— Вы стали говорить точнее. Но в том, что Храбринков поступает так, разве не виноваты вы сами? — Виноват. Я теперь понимаю. Вы занесете это в протокол?

— Да, это мой долг.

25 мая. 19 часов. Слава Гусев

Когда кончили рассказывать байки и очередь дошла до Гусева, он был уже натяннут, словно тетива, хотя лежал развалился, непринужденно. Пока говорил дядя Коля, Слава пристально смотрел, как окончательно скривился в воде сучья, воткнувшиеся им для ориентировки, прикинул по часам и высчитал, что вода поднимается стремительно, примерно по дециметру в час.

Островок таял на глазах, но Гусев был спокоен, зная, что остальные не заметят резкого подъема воды не могут, а если и говорят о чем-то постороннем, то только для того, чтобы убит время, чтобы не дергаться понапрасну. Но теперь, когда очередь дошла до него и Орелик сказал: «Валая, Славик!» — он резко вскопился.

— Вот она, моя байка, — сказал Гусев, сгруппировавшись по сторонам. — Видите, что такое стихийное бедствие! Никто ему не возразил, даже Орелик, и Гусев вынул себя в душе за утрированную покорность. Теперь это было очевидно, настолько очевидно, что становилось тошно. Надо было настоять на своем тогда, пусть всем промокнут, даже заболеть в результате, но перенести лагерь вброд. И хотя, по логике, Орелик был прав, предлагая вызвать вертолет, кроме логики, на свете были еще кое-какие вещи, и уж он-то, Гусев, это прекрасно знал.

Да, знал поговорку: «На бога надейся, а сам не плошай», — всегда ей следовало, но вдруг вот поддавался агитации Орелика и дяди-Коллинува незаметному попреки, сравнил себя с «губернатором», уличив вдруг в себе его черты, озяб и сдался. «Немного же, немного было надо тебе», — корил он себя, думая о том, как спокойно сидели бы они сейчас под триангуляционной вышкой, безбоязненно оглядывая речную стын, и не думали бы ни о каком вертолете.

Успокаивая себя, стыдя за нервность, которая сейчас передедается другим, Гусев обошел остров.

Южная сторона северным ветром, вода у крайков покрывалась тонким льдом, но большое пространство не оставалось неподвижным, и ледок ломался, позвякивая и качаясь на волне. Теперь территория, свободная от воды, походила на язык дельной метров в пятнадцать и шириной метров в семь. Со временем язык превратится в снежный гребень — впрочем, язык или гребень, какая разница, — если не подойдет вертолет, язык превратится в гребень, а гребень скроется под водой. «Что тогда?» — думал Слава, прикидывая наилучшие варианты.

До холма, где стояла триангуляционная вышка, было метров двести. Утром три четверти из них Слава и дядя Коля прошли легко, изредка оступаясь, и лишь последние пятьдесят — тридцать метров он давался по груди в воде. Теперь дорога к вышке была неодолима, он понимал это: упущено слишком много времени.

Скрывая озноб, охвативший его и перемежавшийся неожиданным жаром, Слава подошел к палатке. Костер угас — кончился хворост, — только в его глубине изредка подхлывали оранжевые угольки, отдавая последнее тепло. Гусев погрел над ними руки, велел Семке настраиваться на аварийную волну, но радист не шелохнулся. Слава вопросительно поглядел на Семку и почувствовал, как его опять пронзил жар. Он стер со лба выступившую испарину, потерпел Петрученко!

— Давай быстрее!

Семка поднялся, затоптался на месте и шевельнул посиневшими от холода губами.

— Славик, антенна упала!

Гусев вскопился, в глазах поплыли круги, он обернулся к кустам, куда тянулась антенна. Шест, за который была зацеплена проволоочная нить, их единственная связь с поселком, лежал в воде, а антенна исчезла.

Он ругнулся, переходя на крик, но его остановил дядя Коля.

— Не стали тебя будить, — сказал он. — Ты прикурнул, а дрын отвалился. Видно, подталкал снег.

«Верно, — отметил Гусев, — снег, в который воткнута подставка для антенны, осел, может, даже растаял, и все свалилось». — Но спросил, холодеет вновь, чувствую недоумогание:

— Чего же не разбудили?

— Какой толк? — сказал Орелик не так бесечно, как утром. — Лезть в воду? Ты уже заболел. Хватит.

Гусев оглядел их — посиневшего, виноватого

Семку, угрюмого дядю Колю, Орелика. Эти рационалистические идеи Орелика уже давно надоели ему, он захотел сказать по этому поводу что-нибудь резкое, грубое, но сдержался, насупился, взвешивая положение, измеряя пространство до вышки, где было спасение, до неба, откуда спасение не приходило, до места с антенной — ничтожес к спасению.

Из трех вариантов этот был самый близкий, самый простой.

Не говоря ни слова, Гусев медленно, но твердо двинулся по острову в сторону, где лежал, почти затонув, шест, и равномерно, не сбавляя и не прибавляя скорости, вошел в воду.

— Славик! — заорал сзади Семка, бросаясь за ним и шлепая по мелководью. — Славик! Я сам!

— Назад! — прикрикнул Гусев, оборачиваясь, и снова рывнул: — Назад!

В приказе его были нотки, незнакомые Семке, он послушался и поборол оброто.

Гусев шагнул дальше. Удивительное дело, вода не казалась теперь ледяной. Он был в ней уже по пояс, поражаясь, как быстро поднялся уровень, прикидывая, что, верно, кроме подъема уровня, резко осел, стоял снег под водой, соображая не к месту, что неожиданный ледоход может ускорить подъем реки, и уж тогда, тогда...

Гусев хмыкнул, отгоняя дурные мысли, взялся одной рукой за скользкие ветки куста, подхватил шест с антенной, воткнул его вновь. Над водой, перерезая небо, протянулась черная нить.

Слава повернулся, чтобы идти назад, сделал несколько шагов, но сзади с плеском вновь обрушилась подставка. Разгребая ледок, он вернулся, теперь уже обеими руками всадил шест в дно. Мерзлая земля под снегом, однако, не поддавалась, шест не держался, и Гусев, обернувшись к острову, крикнул Семке:

— Передавай! Я стану держать!

Издли он увидел, как Семка напялил наушники, засуетился возле своей машинки, затих.

— Давай аварийку! — крикнул хрипло Гусев. — Требуя срочно вертолет!

Семка и Орелик с дядей Колей сгрудились на острове в одну темную кучу и затихли.

Гусев услышал тихий плеск воды, какое-то журчанье и чмоканье.

Он любил воду, любил купаться, не вылезал, бывало, из реки в детстве. Умел таскать раков, рыбачить, закидывая всевозможные снасти, ловить и бреднем и неводом. С детства обученный плавать отцом — тот бросал его с лодки и, подставив корму, потихоньку отплывал, — он мог часами находиться в воде.

Но не в такой воде.

Держа обеими руками шест с антенной, опираясь на него, Гусев ощущал онемелость всего тела. Только голова была горячей. Незаметно для него в сознании стали наступать провалы. Синяя вода перед глазами вдруг становилась серой, чернела, изменяя цвет, неожиданно становилась красной, и на то время, пока все возвращалось на место, приобретая прежние краски, Гусев отклонялся. Зауки долетали до него с опозданием, как бы сквозь плотную шапку с ушами, обвязанными поверх еще и шарфом. Он забывал, где находится, и едва приходил в себя, усилием воли заставляя опомниться.

Когда Семка принял ответную морзянку, узнав из нее, что вертолет вышел, и заорал, надрываясь на радостях, Гусев его не услышал.

Он стоял, приспосаивая к шесту, теряя сознание, слух и волю. Новый крик дошел до него с трудом. Он едва повернул шею.

Три тени на острове подпрыгивали, мелькали. Отпустив шест, рухнувший тут же, Гусев пошатнулся, упал в воду, но, мгновенно придя в себя, поднялся. Ребята приняли его в мелководье, подхватив под руки.

С него текло ручьями, и одежда тотчас леденела, покрываясь тонким, хрупким, но вездливим льдом.

Гусев сопротивлялся, с трудом выговаривая слова, но его донага раздели. Командовал дядя Коля. Велев бросить в костер спальник и загородить Гусева брезентом, он содрал с себя рубаху. Семка напялил на него две пары запасных трусов. Орелик вытянул из мешка трико и кеды. В запасе у дяди Коли обнаружили валенки. Еще один спальник Симонов расплосковал ножом, проделав дыры для рук и ног, и Гусев хрипло захохотал. Теперь он походил на черепаху или еще на какую-нибудь странную из здешних мест тварь, но только не на начальника.

Желтый, душный дым, валивший от тряпок, резал горло, ел глаза, но дядя Коля держал Гусева у самого огня, чтобы согреть хотя бы чуточку. Брезентовый полог сдерживал, прогибаясь, ветер, костер давал тепло, и Гусев постепенно приходил в себя. Провалы в сознании не проходили; время от времени он вздрагивал, словно проснувшись, и все-таки мысль действовала, боролась: «Вертолет не летит, вертолет не летит. А связи больше нет».

Темнота сгустилась. Над головой повисла луна, окруженная туманным кольцом. «Погода переменится», — отметил он. — Возможно, ударит мороз». Он обвел глазами остров. Вода сжимала их все теснее, она плескалась у самой палатки и недалеко от костра. Еще час, а может быть, меньше, и он погаснет. Будет темно и холодно.

Голова походила на ватную, внутри что-то жгло. Он чувствовал, что еще немного, и он потеряет сознание. Ледяная вода не прощает таких купаний.

Однако надо было что-то делать. От него, начальника группы, требовалось действие. Он отвечал за людей и, упустив время утром, обязан спасти их теперь.

— Вы говорите о квалификации происшедшего? Что ж, пожалуйста. Вы предлагаете назвать это халатностью. Если подходить формально, пожалуй, и можно.

— Постарайтесь, пожалуйста...

— Зачем просить. Я называю дело уголовным.

— Вам не хватит доказательств.

— Экспертиза подтвердила доказательство оставшихся в живых: вертолет мог подлететь к группе со времени первой серьезной радиогаммы по крайней мере десять раз.

— Не учитываю...

— Учитывая посадку на месте происшествия и эвакуацию лагеря. Халатностью это не назовешь. По крайней мере в трагическом финале.

— Но хоть в начале-то это была халатность. Я просто не придавал значения! Доверился другим! В конце концов что вам надо? Что вы хотите со мной сделать?

— Спокойно, Петр Петрович. Вы видите, утратили чувство меры. Вам кажется все аудимом. Вы посылаете вертолет за ящиком спирта. И в этом ящике заключены сразу три преступления: перед людьми Гусева — первое, злоупотребление служебным положением — второе, коллективная пьянка, именуемая днем рождения, — третье! За все это вы ответите на суде.



Валька увидел, как через силу поднялся Гусев. Нелепый в своем странном обмундировании, он приказывал четко и разумно.

В углу палатки лежал ящик с консервами. Их вытряхнули, а ящик разломали, соединив в нечто похожее на плот. Палаточные опоры придали сооружению некоторую надежность. В ход пошла измерительная рейка, а Семка догадался, вытаскивал за антенну из воды шест.

Его разубедили, плотик стал крепче.

Работали молча, намертво крепя дерево, не обсуждая, что, зачем и к чему.

Втайне Орелик упорно надеялся, что вертолет все-таки прилетит и плотик не пригодится. Утром и потом, позже, он был уверен в своей правоте, не собиравшись отступить и сейчас, обвиняя во всем какие-то иные, не зависящие от них обстоятельства, о которых они не знали, не подозревали и из-за которых так долго не шел вертолет.

Последняя радиограмма, полученная Семкой, вселила в него окончательную уверенность, что все нормально, и он до звона в ушах вслушивался в тишину, старательно, однако, слызывая плот.

Но тишину ничто не нарушало, кроме стука обледеневших ветвей кустарника и прерывистого дыхания людей.

В первое мгновение, когда к этим звукам примешался еще один, похожий на гудение шмеля, Орелик, перестраховываясь, не поверил себе и смолчал. Но голос шмеля был все громче, и Валька, ликуя, крикнул:

— Ага! Летит!

Оставив плотик, они сгрудились, враз; вдруг не стесняясь больше друг друга и не таясь, громко и радостно заговорили, а Орелик засвистел — пронзительно, переливисто, заложив в рот два пальца, как свистел пацаном. Это было смешно: вертолет находился еще далеко, да и вблизи разве можно расслышать свист скользя грохот винтов? Но Орелик заливался, не умоляя, и остальные хохотали, размахивая руками, бросаясь к мешкам, собирая их в кучу, чтобы было удобнее и быстрее грузить.

Шмель увеличивался в размере, напоминая теперь уже небольшой темно-зеленый огурец, и в какое-то мгновение Орелик, как и остальные, отметил, что машина пересекает реку, что она совсем и не видит лагеря. Это было так просто, так элементарно. Ведь уже наступили сумерки и с вертолета могли не разглядеть их.

— Ракеты! — услышал Орлов хриплый крик Гусева, кинулся к мешку, где хранили патроны гильзы со спасительными зарядами, но его опередил дядя Коля.

Огромными прыжками Симонов подскочил к мешку, склонился в и в одно мгновение, даже не поднимаясь, с колена, выстрелил. Красный шар послушно взлетел вверх, осыпая за собой огненное крошево, а дядя Коля, не давая остыть ракетнице, стрелял и стрелял.

Догоняя друг друга, ракеты тревожно метались по небу, озаряя низкую облачную кисею и черную, жутковатую от красного света воду.

Вертолет, монотонно таратай, прошел над рекой ниже лагеря, исчез за деревьями, не заметив сигналов.

Орелик словно окаменел. Он стоял на краю пятачка, оставшегося от острова, и глядел, не веря, в ту сторону, куда ушел вертолет. Ему казалось, это шутка или оплошность. Сейчас шмель снова вынырнет из-за тайги и возникнет над ними. Но вертолет исчез, уже не слышалось жужжание, и в упавшей на

остров тишине Орлов услышал опять хлопанье обледеневших ветвей впереди, а за спиной — сдержанное дыхание людей.

Он обернулся.

Гусев, дядя Коля и Семка копошились серыми тенями над плотиком. Они молчали, не обронив ни слова с тех пор, как исчез вертолет, и в их движениях Орелик увидел ожесточенность.

Медленно, не понимая происходящего, он подошел к товарищам и повторил иступленно:

— Но почему? Почему?!

Вертолет пролетел мимо, и это было ужасно, глупо, неправильно! Это было ошибкой и ошибкой, только ошибкой! И он не понимал этого, не мог понять!

Гусев обернулся к Орелику, взял его за плечи и крепко тряхнул.

— Валентин! — сказал он осипшим голосом. — Вали! Хвати! Понял! Надо спасаться самим! — И засмеялся хрипло, подбадривая: — Ничего! Спасем! Теперь нам нужны только силы и терпение.

Плотик был готов, и Гусев принялся сбрасывать с себя спальный. Его движения казались судорожными, какими-то скованными, и Валька, еще не зная, что затевается, понял: это должен сделать не Гусев, а он.

Истина казалась очевидной, просто элементарной: во всем, что случилось, виноват он. Пусть ему хотелось как лучше, но не зря говорится: благими намерениями устлан путь в ад. Его намерение было благим, но теперь, когда от острова осталось по нескольку шагов вдоль и поперек, это не имело никакого смысла. Вода поднималась, и жизнь их группы зависела теперь от кого-то одного.

Орелик видел, как раздевался Гусев. Как готовился он в третий раз сегодня войти в ледяную воду. И он не должен, не имел права допустить этого.

Орелик скинул с себя толгрейку, подошел к плоту, отселил Гусева, который уже склонился над ним, аккуратно сматывая шнур.

— Теперь я! — повторил Орелик. — Теперь я!

Он заметил на себе серьезный, взвешивающий взгляд Гусева и столкнул плот на воду.

— Слышишь, Орелик? — оттянул его за рукав Гусев. — Я тебе ведь сказал. — Он смотрел на Вальку с укором. — Я сказал: сила и терпение. Нам нужны сила и терпение. — Он хрипло, с присвистом дышал. — Не сердись, — продолжал Гусев, — понимаешь, у нас такая работа. А у тебя не хватит сил, чтобы добраться до вышки. Я не уговариваю тебя, дело не в этом. Дело во всех нас. Нам надо спастись обязательно всем. До единого, понял?

Валька поднялся. Слова нагруппы были правильными. Ни мгновения не сомневаясь, Орелик готов плыть к берегу. Но он не мог поручиться лишь за одно, что доберется.

— Ты болен, — сказал Орелик, думая о том, что Гусев тоже может не добраться.

— Я смогу! — ответил Гусев. — Я должен, понимаешь, должен доплыть! — Он помолчал, потом добавил, обращаясь к дяде Коле: — Ты будешь старшим, Симонов! Если что случится со мной, притяни плотик назад, и попробуй следовать.

Гусев сжал Вальку локоть, вступил в воду, сделал несколько шагов и, опустившись, проваливаясь, стал толкать плотик перед собой.

Сперва глубина достигала ему до пояса. Потом он стал скрывать по грудь. Затем поплыл, нависая на плотик, наполовину топя его и часть передыша. Ветер резко похолодал, там, где только что прошел Гусев, вода сразу сковывалась тонкой коркой льда.

Орлов травил бухту шнуром, глядясь в темноту, которая ступала Гусева. Он слышал плеск воды, легкое потрескивание непрестанно нарастающих льдин и клял. Беспрестанно клял себя за утреннее благодушие, за свою правоту, которая теперь обходилась такой ценой.

Ни на минуту страх за себя не навешал его. Страха вообще почему-то не было, но было сознание вины перед товарищами, и теперь, когда Гусев, сказав свои слова, исчез в сумерках, тараня плотиком ледяную воду, это чувство вины, которую ничем невозможно искупить, вновь овладело Орелником.

Дрожь на ветру, он нетерпеливо прислушивался в звуки плещущейся воды и шуршащего льда, определял по себе расстояние, которое осталось Гусеву. То, что делал сейчас Гусев, про себя Орелик назвал подвигом, боясь даже думать о мере этого поступка.

Не раз он читал, много слышал о людях, попавших в ледяную воду. Это всегда плохо кончалось — речь не шла, конечно, о каких-нибудь суперменах, сверхзакаленных моржах, — люди заблуждались.

Орелик вдруг вспомнил, словно кадры из старой ленты, как лежал он в больнице, подхватывая даустро-роннее крупное воспаление легких. Это было поздней осенью, он шеголял в больные и без шапки, подражая моде, потом стал потеть, харкать кровью, свалился, теряя даже сознание на больничной койке.

Не к месту, не вовремя Орелик вспомнил вдруг, как сидел, выздоравливая, на подоконнике в больничной палате, махал рукой демонстрантам — мимо больницы текли яркие ноябрьские колонны — и как было сразу и весело и грустно.

Ему, студенту, симпатизировали молодые сестры, делавшие небольшие уколы пеницилина, врачи, любившие при случае поболтать о науке, ему делали поглажки и послабления, и Вальке жилось, принавшись, неплохо там, в этой больнице, даже нравилось, если бы не один старик.

Старик этот лежал в коридоре: мест не хватало. Его изможденное, морщинистое лицо напоминало коричневую кору усохшего дерева, и старик кивал по утрам Вальке: его кровать стояла против открытой двери в палату. Они не говорили, однажды только Валька остановился на минуту возле него, и старик сказал ему, что у него три таких же, как он, сына. Валька кивнул, стараясь поприветливее улыбнуться, но больше говорить не стал, думая иногда, где же эти сыновья: к старику приходила только жена.

Читая или просто глядя в окно, Орелик часто ловил на себе взгляды старика и смущался, но тот улыбался одобрительно, одними глазами, прикрывал веки, поворачивался к стене и утихал. В пристальных взглядах Валька улавливал странное любование, а иногда зависть. Он тогда не очень понимал это.

Понял позже.

Однажды утром, проснувшись, он пошел в коридор поразмяться и, только возвращаясь, заметил, что кровать, где лежал старик, аккуратно застелена.

— Выписали? — спросил он у медсестры, краснотой и конопотой.

— Выписали, — ответила она, сморкаясь, но позже, от врача, узнал, что никуда старика не выписали. Валька понял стариковские взгляды, и ему захотелось плакать. Глотая комок, засевший в горле, он подумал тогда впервые в своей жизни: «Как ужасно, что есть смерть!»

Да, смерть была ужасна, она несправедлива — нет ничего страшнее даже мысли о смерти. В этом он

убедился чуть позже — из-за своей мальчишеской дурости.

Его долго не выписывали: то подпрыгивала, то падала температура. Наконец, после утреннего обхода врач объявила, что ладно, так и быть, пусть собирается домой, и Валька понесся по больничному коридору, едва не сбивая нянечек и больных, к телефону, который стоял в приемном покое.

Там никого не было. Он набрал мамин рабочий телефон и, изменив голос, аушительно и сердечно объявил Маргарите Николаевне Орловой, что ее сын, Валентин Орлов, скончался.

Он тут же захохотал, выдав себя, мама обругала его дурнем, а приехав за ним на такси, сказала в машине, что ей делали укол и приводили в себя нашатырем.

Мама у Вальки не была нервной особой — работала инженером на производстве, после ухода отца к другой женщине стала курить и как будто немного огубела, она не проронила ни слезинки и не дрогнула даже лицом, когда отец уходил, — а тут потеряла сознание от неуместной шутки сына...

Орелик вспомнил старика. Вспомнил, как лежал он, уткнувшись в подушку. Он не знал даже имени старика. Нет, дело тут не в чувствительности. Дело в том, что невыносима даже мысль о смерти.

...Травя бухту веревки, прислушиваясь к плеску, доносившемуся из мрака, Орелик подумал без перебоев о том, что ведь вот сейчас, сию минуту, может настать это ужасное, даже сама мысль страшит.

Пока человек жив, его смерть трудно представить. Но когда его уже нет...

Он вслушивался в плеск плотика, который то возникал, то замирал. А вдруг Гусев затихнет сейчас? Затихнет навсегда?

Валька порывисто дернул шнур. Он натянулся, а Слава крикнул из мрака:

— Чего?

— Это отрезвило Орелика. Он ответил:

— Норма!

Но мысль о том, что в гибели Гусева или кого-нибудь еще будет повинен он, только он, не отпустила его.

— Итак, протокол заполнен. Осталось его подписать.

— Спросите еще что-нибудь! Может быть, вы что-нибудь недовыяснили.

— Благодарю. Все «довыяснили».

— К чему же вы пришли?

— Я веду следствие, дознание, я опрашивал свидетелей. Прямую убийцу пока в этом деле нет. И все-таки он есть.

— Это Храбриков?

— Нет. Вы. Если бы вы не были таким, какой есть, не было бы и Храбрикова. И ничего бы не произошло. Однако вы не под стражей, и вы не прямая убийца. Вы не поднимали нож на человека, как какой-нибудь бандит. Но такие, как вы, страшнее бандитов.

— Эк вы куда! Обвинять легче всего. Следователем или прокурором быть очень удобно: тебя самого не касается. Ты в стороне. А как быть, если руководил сотнями людей, техникой, вращал миллионы! Я же человек, поймите, просто человек, а разве человек не может ошибиться?

— Ошибиться может. Но не может убить. Не имеет права! И ваша биография сплотнулась не на ошибки, нет, не утешайте себя. Вся ваша деятельность, вернее, суть ее, нравственная сердцевина, преступна,

понимаете, преступник! Не надо опускать голову. Я не верю, что вы раскаяваетесь. Вы еще не скоро поймете, что наделали и что случилось лично с вами. Одного понять не могу. Разве не было возле вас людей сильных и честных?

— Были! Были! Но не ценил. Отталкивал. Прогонял. Видимо, все понял?

— Ну, если понял? Это учтется? Будет принято во внимание?

— А вы неплохой актер, Кирьянов. Загубленное дарование.

25 мая. 19 часов 30 минут. Николай Симонов

Помалу — по шапочку, по ступне они отступали назад, от кромок воды, напряженно вслушиваясь в хруст льда и дальние всплески.

Слава пыл, борясь за их спасение, и дядя Коля оставался спокоен, в то же время готовясь к худшему. В своей жизни он видел так много смертей, приняв на себя долю других людей, которые получали лишь подтверждение смерти в форме листка бумаги, заполненного стандартно, что уже не боялся этого и мог рассуждать о худшем без страха, без паники, с готовностью принять эту мысль и жить дальше.

Жить дальше, даже если погибнет Слава, его обязывал последний приказ начальника — немногословный, но вполне ясный. Уходя первым, Гусев возложил ответственность за ребят — за Орелика и за Семку на него, и дядя Коля, признаваясь в этом только себе, выработал план дальнейших действий на тот случай, если Гусев не доплывет.

План был прост, он являлся необходимым продолжением гусевских действий: вытаскивать плот назад и пойти вторым. А для спасения ребят надо непременно плыть вторым, выбраться на высоту возле вышки, вернуть плот назад, а дальше — тянуть шнур, помогая ребятам скорее преодолеть пространство до суши. Вот все.

Все? В мыслях пока выходило просто, но Симонов хорошо представил, что кроется за этой простотой. Пройти две сотни метров лыдистого крошева на хлопчатой плитке было непомерно трудно, и то, что делал сейчас Слава, дважды уже искупавшийся, превосходило все известные дяде Коле физические испытания. Но он сознавал и иное, скрытое пока от глаз: даже пройдя эти двести метров, не получивший гарантии остаться в живых. То, что называлось у стариков горячкой, подстергало каждого из них, и, понимая это, Симонов приговаривал себе роль второго на случай Славной гибели вовсе не из героизма, а опять же выполняя приказ и полагая побыстрее протаскать ребят до вышки. Помочь им, сократить их купание, охранить от горячки, к которой молодой организм, может, более уступчив, чем старый.

Размышляя так, Симонов хитрил сам с собой. Горячку мог уступить скорее организм как раз молодой, но это было теперь не так уж для него важно.

Он оставался старшим среди этих ребят, хотя занимал самую младшую среди них должность, и понимал, отлично понимал Гусева, решившего так. Выбавать в жизни события, когда отступают в сторону должности, а вперед выходит возраст, опыт, спорность. В нынешней ситуации из трех человек, оставшихся после Славы, он был самым бывалым, опытным, и Симонов принял приказ Гусева как должное.

Сумерки обдували его холодными, упругими накатами ветра, влажный шнур, тянувшийся к Славе, обмерз и побрякивал деревянкой о корку льда, а вода все подступала и подступала.

В какое-то мгновение Симонов понял, что еще не

много, и остров исчезнет совсем, и он принял решение возвести остров искусственный, как был нарастить ту малую часть земли, что оставалась под ногами. Орелик держал шнур, это требовало внимания, и тогда дядя Коля, мобилизовав Семку, принялся стащить в кучу все их имущество — палатку, спальные мешки, рюкзаки, радио, образовавшая из этого спокойно и деловито небольшую высотку.

Теперь они стояли на казенном и своем имуществе, тесно прижавшись друг к другу. Вода медленно пропитывала брезент, покрывая его льдом, островок становился скользким, а Слава все еще не добрался до вышки. Однако он и не сдался. Плеск и стук льда слышались явственно — Гусев добирался до суши остервенело, настырно, наверняка.

Симонов представил себе его: задыхающийся от холода и от внутреннего жара, выбивающийся из сил, с окровавленными, немеющими руками, изрезанными о тонкий, но острый лед. Изредка Гусев подавал голос, кричал что-нибудь несвязное, и дядя Коля, понимая его, немедленно отвечал: одному в этой хрупкой зыби было жутко, неизменно страшно, и, видно, Слава кричал, чтобы уверить в себе, нащупать ниточку, соединявшую его с людьми, ободришь вымотанный, остоженный и, может, почти мертвый организм на борьбу, которая не должна, не имеет права остаться бесполезной. Хруст льда и плеск доказывали продолжение этой борьбы, существование Славы, а значит, надежды, и дядя Коля вздрогнул — хотя готовил себя к худшему, — когда все стихло.

Он заорал, загигикал, окликал Славу, требуя подать голос, если живой, и Семка, и Орелик заорали тоже. В их голосах Симонов услышал страх и тотчас, без перехода — радость: с той стороны, от вышки, с натугой, тяжело кричал Слава. Он выговаривал какие-то слова, на островке разом умолкли, вслушиваясь.

— Порядо-о! — изнемогая, орал Гусев. — Пью спирт! — Они хохотнули: значит, правда, порядок! — Тяните плото-о!

— Тяни! — командовал дядя Коля, но Орелик и без команды уже яростно мотал шнур. Он шел с натугой — видно, плот цеплялся за льдины. Валька стал помогать Семке.

Симонов смотрел, как спорю, по-мужички молча тянут шнур ребята и, хотя было совсем не до этого, залюбовался ими. И Валька и Семка вполне могли быть его сыновьями — одному двадцать, другому двадцать три, а ему за сорок, — могли, что же. Но все у него сложилось иначе, и хотя считалось, что женщин после войны много и можно было, конечно, выбрать себе жену, равную по возрасту и понимающую, и народить после войны ребят, Симонов жил по-другому.

Обнесло его демобилизовался без единой нашивки за ранения, считалось, крепко повезло, но не так это было в самом деле, не так.

Глядя на ребят, тянувших шнур, дядя Коля вспомнил сегодняшнюю ночь, ненужную свою откровенность, обругав себя по этому поводу, не очень понимая, зачем это он расстроился здесь, перед тем, что сейчас...

Мысль, однако, вернулась к тому, послевоенному, к скитаниям с места на место, когда был он неприкаян и не знал, чем заняться: до войны ведь ремесла не было, кроме простой крестьянской работы, а то ремесло, которому научила война, он хотел забыть.

Да, крепко пометила его война, хотя считалось, будто он обнесенный. Правда, пуля не цапнула, осколок миновал, но ведь и другие меты от войны остаются. Сперва он вернулся домой в деревню,

работал в поле, как все, но война, как равно патефон, что ли, раскручивала в нем свою пружину, сбились ему по ночам пирамидки, обугленные танки, гробы, он просыпался, глотал самогонку посреди ночи,— после ушел из деревни, убежал от себя. Деревенские девки шутили промекх себя, намекая: «Да, может, Николая не в туда ранило, а не признается»,— но он восстанавливал свои достоинства не стал, ни к одной не приближался. Боялся себя, боялся людей. Боялся, что, заведя семью, родит уродцев, произведет на свет страшные тени войны— слышал, что и такое бывает.

Он побежал от тягостных воспоминаний по городкам, по артелям, по заводам, но война всюду наступала его, привычного к смерти, привычного к горю и не слезливому, грубоватого по натуре: даже далеко от бывших фронтов, в глубине Сибири, встречал он воинские могилы, где хоронили умерших в госпиталях.

Потом зацепился в маленьком городишке. Решил получить специальность, выучился на шофера, водил грузовики. Но совсем отлегло, только когда повстречал Кланьку— долгое у нихшло ужасство, потом долгая бездетная жизнь. Наконец Шурик родился... А ведь Шурка мог бы быть уже как Семен или как вон Орелик. Ходили бы по тайге вдвоем, говорили про жизнь, про разное...

Дядя Коля спохватился, вспомнив, по какой нужде попал в тайгу, как оказался здесь, словно бы протрезвел, и стал помогать ребятам.

Шур натянута, а плотик не шел. Вначале они пробовали тащить вместе, напрягались. Не помогало. Тогда Орелик, отстранив других, принялся бродить по мелководью, окружившему их искусственный островок, как рыболовную снасть из-под коряги, пытаясь освободить плотик от одолевших его льдин. Не помогало и это.

Взгромождаясь повыше и напрягая зрение, дядя Коля разглядывал черневший в сумраке плот. Он трезво взвешивал обстановку, и получалось куда хуже, чем предполагалось сперва: плот застрял где-то посредине пути, скованный льдом. Тонкий, как стеклышко, под порывом морозного северного ветра он упрочился мгновенно, а плотик вдобавок тащил, наверное, перед собой ледяное крошево, увеличивая сопротивление.

Валька все бежал по воде со шнуром, то потягивая его, то отпуская, и Симонов велел ему:

— Брось!

Дальше надлежало единственное. Дальше полагалось исполнить свою часть дела, которую оставил ему Гусев, и дядя Коля, не крикнув ничего Славе, не желая его беспокоить, несмело держась за Семку, снял сапоги и поаккуратнее, понадежнее подкрутил портянки. Особо обнажаться он не хотел, но деловито прикидывая, что вода, конечно, тотчас пропитает всю одежду и будет тянуть вниз, снял еще телогрейку.

Растегивая пуговицы, дядя Коля услышал сильный плеск, а вскинув голову, увидел, что Валька Орлов плывет к плоту, руками ломая перед собой лед.— Назад! — заорал дядя Коля и кинулся в воду.— Приказываю, назад!

Орелик, однако, не слушая его, торопливо двинулся вперед. «Дурак», — отметил про себя дядя Коля.— Дурочок глупенький, эдак не сто, и двадцать метров не проплывешь.

Он настиг Вальку, заграбастал его за живот и потащил назад. Орлов упирался, брыкался ногами, будто на пляже или в купальне какой, и дядя Коля беззлобно и деловито врезал ему по лицу. Орелик захлебнулся, ушел под воду, высочился, тараща глаза, но послушно повернул назад.

На мелководье, у острова, дядя Коля ударил Вальку еще раз, сильнее, метя в подбородок. А делая это, он думал только об одном: привести Орелика в себя, заставить опомниться, дать понять, что здесь не самостоятельность, а геодезическая группа, и, пока они живы, надо уважать приказ.

Валька пошатнулся, но устоял, не проронив в ответ ни слова, и дядя Коля почувствовал себя виноватым. Однако размышлять не приходилось.

— Поддай-ка варежки, — велел он Семке, не глядя на Орелика. Потом взял телогрейку, чтобы обламывать его лед, повернулся.

— Дурачок ты, Валька, — сказал он, смущенно улыбаясь.— Только запыхал меня да охолодил. Глядишь, я бы у плота был.

Он вошел в воду и, уже плывя, крикнул Семке: — Семен! Ты за старшего! Гляди за этим полумым!

И засмеялся.

— Ну вот, мы и подошли к концу.

— Куда торопиться, поговорим. Вы женаты? Давно кончили юрфак?

— Примерно тогда же, как и вы, но почему вам это интересно?

— Конечно, интересно. Может быть, встретится как-нибудь? Поговорим, посидим? Коньячок, правда, вздрожал, но ничего, достать зато можно!

— А вы, ей-богу, молодец. И что вас только сможет остановить, если не остановило даже это? Даже гибель человека.

— При чем тут я! Тут виноваты другие! И обстоятельства.

— Вы слышали такое слово — «доброты»?

— Вот-вот, вам надо, чтоб я добреньким был? Чтоб я на себя чужое дело взял?

— Не прикидывайтесь, Кирьянов. Хотите послушать Чехова?

— Ну вот, давно бы так, по-человечески.

— Чехов писал однажды: «Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой».

— Опять вы! А при чем тут я?

— В том-то и дело, что ни при чем.

25 мая. 19 часов 30 минут. Семен Петрущенко

Семка стоял на куче имущества, сунув руки в карманы, замерший и испуганный.

В отличие от дяди Коли Симонова, относившегося к событиям с готовностью выполнять свое дело, и от Вальки, который чувствовал за собой вину, Семка не испытывал ничего такого.

Он просто боялся. Боялся и еще жалел.

За спиной у него висело ружье, Славина двустолка, с которой он добывал дичь, разнообразя сытный, но уж слишком концентратный, а оттого тоскливый обед, и ему мгновенно становилось смертельно жаль того, прошлого.

Семке почему-то казалось в отчаянии, что теперь уже все, что ничего не повторится больше, и они никогда не станут выгружать, перекидываясь, приборы из грохочущего вертолета, обедать, ушедших кружком у костра, а потом балакать между собой, и никогда уже Валька не станет писать свое бесконечное письмо, а Слава с дядей Колей Симоновым храпеть при этом в спальных мешках.

С дрожью и жалостью Семка предвидел конец, общую смерть, которая их жалела и они останутся здесь, в пойме Енисея, постепенно погружившись в эту жуткую, стремительно поднимающуюся воду.

Пончалу, до того, как вертолет прошел мимо них, ему передавалась Валькина беспечность, тем более что он сам, собственными ушами приняв радиogramму о выходе машины. Но теперь все было иначе. Теперь он воспринимал происходящее по-другому, и это поджогное ощущение надвигавшейся беды не оставляло его, вызывая страх и непонятные, ненужные, глупые мысли. Одна была особенно навязчива и неотступна.

Отглядывая взбунтовавшуюся реку, перебирая события дня, он снова и снова думал, что их предали. Да, предали! Кто, зачем, почему. Семка не знал, не мог знать и даже предполагать, но не могло же все, что происходило, быть чистой случайностью!

«Странно,— думал Семка,— мы даже ни разу не сказали об этом. О предательстве. Как удивительно, что это даже никому не пришло в голову!»

Он останавливал себя. А может, пришло? Славе, например, не зря он не любил Кирьянова, хотя и не распространялся очень. Да и над Храбриковым все они посмеивались, называя хормом. В этом прозвище была не только нелюбовь, неприязнь, но и недоверие. И дядя Коля и Слава не верили Храбрикову, человеку с лисьими глазами и обманчивым словом.

Семка не знал толком ни Кирьянова, ни Храбрикова, ему только не нравилась Цветкова, тощая и, как казалась, пустая. «Что ж,— сообщал он,— она виновата, начартии! Может, это она!»

Мысли о предательстве походили на речную волну — то наплескивали, то отступали — и отступали все чаще: Семке казалось невозможным такое. Люди просят вертолет, сообщают обстановку, и никто не обращает на это внимания.

Что-нибудь такое могло быть у маленьких, у ребят, но только не у взрослых.

Семка вспоминал себя в седьмом классе и своего приятеля Демидку Львова. Демка учился в другой школе, но это им ничуть не мешало дружить, и каждый вечер, выучив уроки, Семка шел домой к приятелю, оставив маму одну.

Он делал это беззаботно, естественно, да мама и сама отправляла его погулять, всегда поощряла, как она выражалась, «хорошее товарищество»: у Демки и отец и мать работали в институте, хорошо зарабатывали, прилично одевались; хорошо и небрежно, не обращая внимания на то, что штаны, рубашки, костюмы недешево стоят, одевались и Демка. Семку нравилось в нем это сочетание, хотя сам он ходил в аккуратно шитых брюках, в курточке с латками на рукавах.

В доме у Демки всегда было тепло, уютно: отбрасывал на потолок яркие пятна зеленый торшер, тихо, как бы воплощая, играл проигрыватель со стереофоническим звучанием. Семку всегда ужасно смущало время чая. Анна Николаевна, Демкина мать, приносила им на красивом подносе, как господам, чайник, плетистые, разрисованные ею самой чашечки, которыми она очень гордилась, подвигала хрустальный кораблик, полный дорогих шоколадных конфет, печенье и, усевшись рядом с ними, закинув одну на другую красивые полные ноги, начинала угощать.

Особенно она усердствовала, когда угощала Семку, стараясь при этом взглянуть в глаза, расспросить о школьных успехах, и он прямо не знал, куда деться. Кусок не шел в рот, Семка ерзал в ставшем неудобным мягком кресле, чашечка дрожала на блюдце, норовя кончиться, и Анна Николаевна, шутя, предупреждала, чтобы он был поаккуратнее, объясняя всякий раз, что это ее работа, и после этого Семка вообще готов был испариться.

Иногда он замечал, что, если нет Анны Николаевны, Демка может повторить ее слова. Особенно насчет чашечки. А еще больше — про угощение.

— Ешь, пожалуйста! — великодушно звал Демид — У вас-то таких, наверное, нет! — У него получалось грубее, чем у Анны Николаевны, но зато яснее. И Семка иногда вскакивал, глотал обидные слезы и убежал.

Демидка приходил к нему завтра, они милились, потом все начиналось снова, и Семка как-то привык к этим бесконечным угощениям, только иногда задумывался: «Что ж, они, выходит, жалеют меня? Думают, раз мы одни с мамой, так я и конфет не ем!»

Таких, как у Демки, он, пожалуй, не ел действительно, но судя от того, не менялся, он улыбался: «Смешные люди! Им кажется, меня надо жалеют!»

Они дружили, бегали в кино, фехтовали на деревянных шлагах, катались на лодке — у Демкиных родителей был знакомый на лодочной станции, Демка хвастался этим и пользовался своим преимуществом, — и Семка ко многому привык, а многое не замечал или просто еще не понимал.

Однажды в каникулы, летом, Демидка объявил, что они втроем — мать, отец и он — едут не на юг, как обычно, а в деревню. Чтобы был доказательным, он провел Семку в пустой отцовский кабинет. На полированном столе лежали катушки с леской, грузила, крючки разных размеров и блесны, великолепные блесны, посверкивающие латуной.

Семка кивнул, стараясь быть равнодушным, но сердце его запылало от зависти. Счастливики же этот Демка: у него есть отец и он едет на рыбалку. В Семкином понимании рыбалка тогда соединялась только с отцом, ведь не могла же мать по примеру Демкиных родителей поехать рыбачить с ним в деревню.

Несколько дней в доме Демки шла суетня, шли сборы. Семка, приходя вечером, сидел неприкаянно в кресле, его как бы не замечали, сократив с ним разговоры, он чувствовал себя посторонним, уходил печалась, а мама все спрашивала, что с ним.

Он отмахивался, молчал, потом прибегала возбужденный, сказал, что Демкина семья берет его с собой, засуетился. Мама, конечно, все поняла, одобрила Семкину поездку, собрала рюкзаком с небольшими пожитками и едой. Еды она хотела положить побольше, но был уже вечер, магазины закрылись, а утром спозаранку уходила электричка, и мама положила запасы из буфета, уж что было: сахар, макароны, хлеб — буханку черного и батон, немного дешевых конфет, консервные банки с треской в масле.

Семка подтачивал напильником единственный свой крючок, пробовал на зуб леску, отыскивал поплавок — ярко покрашенное гусиное перышко.

Неделя пролетела словно во сне. Большой, взрослой рыбалки у Демкиного отца не получилось неизвестно по каким причинам, но ребята удили здорово, просто сотнями таская жадную шкелю на простой хлебный шарик.

Все было прекрасно, они дурели, бегая по полянам, усеянным одуванчиками, отплевывались от назойливых парашютистов, хохотали, плескались в реке, спали в душем сене.

Потом Семка уехал, а Демид с родителями остался. Пока Демка жил в деревне, а Семка парился в городе, он едва ли не каждый день навещался к приятелю. Дверь была закрыта, хозяйка не возвращалась, и Семка жутко тосковал по Демке.

Когда он совсем уж решил, что Демидовы родители, видно, прожуют там до осени, дверь оказалась открытой.

Демка был одинок, он не обрадовался Семену, кивнул, пропуская, потом улегся на диван, стал листать журнал как ни в чем не бывало, словно в комнате никого нет.

— Ты что? — удивился Семен, думая, что Демка, может, заболел или раскандился, тоже бывает, особенно когда родители накажут. Но Демка молчал.

— Обиделся, что ли? — засмеялся Семен, и Демка нехотя ответил:

— А разве не за что?

— За что же? — спросил он тихо.

— А за деньги, к примеру, — лениво поднимаясь, произнес Демка.

— За какие деньги? — удивился Семен.

— Не стыдно тебе? — вдруг поразился Демидка. — Совсем не стыдно? Недельку прожил, а провизии привез — смея сказать. Консервы вон можешь забрать — мы такие не едим!

Семка обидело глядел на приятеля, не понимая, шутит он или нет, хмыкнул было, не зная, что и сказать, но Демидка его оборвал.

— Можешь не смеяться! — сказал он. — Лучше платника. С чего это мы должны тебя задаром кормить? Думаешь, моим, раз в институте работают, денешки легко достаются?

Семка ощутил, как окаменело у него лицо.

— Сколько? — спросил он.

— Чего сколько? — не понял Семка.

— Сколько платить? — произнес Семка.

— Ну, — зямаясь Демка, — не считал, — потом откинул сомнения. — Двадцать пять.

Семка бежал домой, кусая губы, боясь разреваться при всех, на улице, но, переступив порог, дал себе волю.

Мама, слушая, гладила его по плечу, говорила какие-то слова, но он не мог, никак не мог понять: почему, зачем? Зачем такое предательство?

Слезы лились, мамины слова не помогали, — они не объясняли, а просто успокаивали.

Неожиданно мама сказала:

— Перестань! Ты ведь всегда был сильным.

Она сказала это жестко, уже не уговаривая, и Семка сразу успокоился. Мама заняла у соседки денег, Семка пошел в институт, где работала Анна Николаевна, разыскал ее, отдал деньги.

Сперва Демкина мать ничего не поняла, спрашивала: «Какие деньги? За что?» Но когда до нее все-таки дошло, Анна Николаевна склала губы и замолчала, глядя в окно. Она долго думала о чем-то, потом сказала медленно, словно про себя: «Как же так?» И повторила: «Как же так?» Словно Демка ее обманул.

Семка был тогда поглощен своей бедой и не очень вглядывался в лицо Анны Николаевны, не очень старался понять, чего это она задумалась, только уж позже, когда все утихло в нем, когда он подросток и прошло время, он понял, что Демкина мать себя это спрашивала, себя и никого больше.

Анна Николаевна помолчала, решительно взяла деньги и сказала:

— Тебе их вернет Демид. Он принесет сам.

— Не надо, — сказал Семка, но Анна Николаевна не дала ему говорить.

— Молчи! — сказала она. — Молчи!

Демка пришел наутро, принес деньги. Семка не брал, и Демка готов был встать на колени чтобы его простили. Семка не мог выдержать этой истеричной сцены, не мог глядеть в умоляющее Демидино лицо, он кивнул головой, прощая, они пошли на лодочную станцию, катались в байдарке, но ничего у них не выходило, ничего не клеилось: Демка торопливо говорил о чем попаало, Семка отвечал междомогатиями, и когда стало невозможно, спросил:

— За что же ты меня так?

— Не знаю, — сказал Демка, мрачней. — Сам не знаю. Чего-то мне жалко стало. Какая-то напала жадность, а я не удержался.

Они встретились потом не раз, но Семку уже не тянуло к Демидке, хотя Анна Николаевна старалась склеить их старую дружбу. Что-то поселилось внутри Семки, какое-то отвращение к Демиду. Он спрашивал себя, поражаясь: неужели жадность может вызвать предательство?

Выходило, может...

Демка все приходил и приходил к нему, и всякий раз, увидев лицо приятеля, Семка вспоминал то предательство и думал, что раз было однажды, может повториться снова... Демка сказал: жадность. И еще сказал, что не удержался. Но откуда в нем вдруг оказалась жадность? — вон Анна Николаевна какая... «Может, — думал Семка, — жадность, предательство и всякая прочая жадость в каждом человеке есть, все дело действительно в том, чтобы удержаться. Чтобы эту жадость в себе утопить, уничтожить?»

Это он думал тогда, мальчишкой. А с Демкой они так и разошлись.

Демидино предательство долго саднило Семкину память, обжигая чем-то горячим, обидным, но потом все прошло, забылось.

А вспомнилось вдруг сейчас. Не к месту, но вовремя.

Предательство Демки касалось только его, здесь же и было четверо. Тогда оскорбили его честь и достоинство, теперь речь шла о жизни.

Семка мотнул головой, отбрасывая эти глупые мысли. «Смешно даже, — подумал он, — разве можно сравнить — детство и то, что сейчас? О нас думают, — решил он, — знают и непременно спасут».

Семка взглянул на небо.

Луна в окаймлении мутного круга равнодушно озирала окрестность.

— Хорошо! Я признаю свою вину. Вы, вероятно, правы. Я не всегда проявлял достаточно человечности, гуманизма, доброты. Но согласитесь: это вина нравственная. Понимаете? Не уголовная, а нравственная. Это из области человеческих ошибок, о которых не говорится в уголовном кодексе

— У вас дети есть?

— Двое. Жена. В конце концов не я, а моя семья, сознание того, что я единственный ее кормилец, могут вызвать, ну, не оправдание, так синхронизацию? Моральное опять же.

— И у него остался ребенок. Он тоже был единственным кормильцем.

— Я готов искупить свою нравственную вину, если уж вы меня обвиняете. Ну, я могу, скажем, платить алименты на воспитание его ребенка.

— Слушайте, Кирьянов! Я вот глажу на вас, внимаю вашим речам и никак не могу понять: где же предел вашего цинизма, вашей... Впрочем, стоит ли подбирать слова, вашей подлости!

— Жалею, что мы встретились с вами в такой неравной ситуации.

— Ситуация неравная, это верно. И, боюсь, выровнять ее не удастся. Вряд ли судья и народные заседатели захотят увидеть лишь вашу нравственную вину, лишь вашу халатность, хотя и за халатность судят. Вы совершили уголовное преступление, Кирьянов. Я не прокурор и не судья, вы пока только подследственный, но я говорю вам: убийца — это вы!.. Впрочем, достаточно. Следствие окончено. Вы рассказали мне много больше, чем требуется от под-

следственного, Кирьянов. И вы мне ясны. Мне же хотелось узнать еще лишь одно. Что думал каждый из вас в 20 часов 20 минут 25 мая? Что было с каждым из вас по ту и по эту сторону разделявшей вас черты?..

25 мая. 20 часов 20 минут. Валентин Орлов

Орелик сидел на краю острова, и его знобило. В попутые слышался хрул льда и виднелось небольшое пятно. Дядя Коля продирался к плотику.

Неожиданно для себя Орелик заплакал.

— Дурак! — прошептал он, ругая себя. — Дурак!

— Что ты там шепчешь! — спросил, наклонясь и вглядываясь в него, Семка.

— Это я виноват! — крикнул Орелик. — Я! — заржал истошно, дико, испугав Семку. — Дядя Коля! Вернись!

Семка толкнул Вальку в плечо, и тот заплакал навзрыд, не таясь, полез по привычке в карман ватника за платком и вытирал тетрадку.

В ней было письмо Алёнке.

Бесконечное, недописанное письмо.

Лицо Орелика вытянулось. Он смахнул рукавом слезы, нерешительно замер.

Потом стал рвать тетрадку.

Мокрые страницы поддавались легко.

— Свихнулся! — крикнул ему Семка, дрожа и тоже плача. — Свихнулся, да?

Но Орелик иступленно рвал тетрадку. Глаза его глядели в темноту, и вдруг он замер.

— Люди добрые, — пробормотал он. — Помогите!

25 мая. 20 часов 20 минут. Петр Петрович Кирьянов

Едкий, желтый дым от выстрела карабина поспешно плыл за плечами Кирьянова то в одну, то в другую сторону.

Он метался по комнате, исходя злостью.

Наконец шаги его стали ровнее и тише.

Потом остановился, прислушиваясь к себе. Злость угасала, как костер, ее требовалось залить окончательно.

Он подошел к зеркалу, поправил сбившийся галстук, провел, ерша волосы, ладонями по бороде и вышел на улицу прямо так, в светлом костюме, не одеваясь.

Мороз освежил его, прознобил, и в столовую ПэПа вошел румяным, в прежнем расположении духа.

— Ну-у! — гаркнул он, открывая ногой дверь. — Наполним бокалы и выпьем их разом!

Гости загудели: спирт уже кончился. Разлили остатки.

— Сейчас приедет машина! — объявил Кирьянов, глядя на часы. — Привезет ящик спирту!

Гости засуетились, рассаживаясь по местам, готовясь к продолжению праздника. Петр Петрович ревниво оглядел их лица. Чиладзе и Лаврентьева не было. Не было и еще кое-кого. Он запомнил это, сделал зарубку в своей памяти. «Зашевелились людскишки», — подумал он. — Крысы прыгают с корабля.

— А пока, — крикнул Кирьянов, — выпьем... Он подумал, пошатываясь, опустив голову, потом снова вздернул бороду. — За нас!

Он присосанился.

— За нас! — повторил он. — За покорителей Сибири! За переустроителей жизни! Виват!

25 мая. 20 часов 20 минут. Николай Симонов

Дядя Коля плыл в темной воде, и каждый метр отдавался болью. Телогрейкой он обламывал лед перед собой, но запястья рук были не защищены, и лед резал их. Перехватиться было некогда, неудобно, и он сжимал зубы, думая — странно — не о плотике, не о своей цели, а совсем о неважном теперь деле.

Он думал о Вальке, о том, как ударил Орелика, и хотя понимал, что иначе не мог, что иначе, с разговорами, они проваливались бы еще бог знает сколько, вина перед парнишкой никак его не оставляла. Его все не оставляла мысль, что Орелик годится ему в сыновья, и это беспокоило его особо, будто стукнул он малое дитя...

В какой-то миг он, однако, забыл о нем.

Дыхание стало прерывистым, кровь бухала в висках, тело наполнилось усталостью.

Перед глазами пошли красненькие пузырьки. Симонов решил, что это пот, потянулся рукой смахнуть его, выпустил ватник, а взять снова не смог: намокшая телогрейка ушла одним краем вниз, под воду, и потянула его за собой.

Дядя Коля отпустил груз, всплеснулся вверх, вырываясь из власти воды, обрушил лед ладонями, попробовал плыть саженьками, но плот был далеко.

Напрягаясь всем телом, выжимая из него остатки сил, Симонов рванулся вперед, сожалея о других — об Орелике и Семке. — Гусев уже выбрался сам, — он вспенил воду и почувствовал без страха, с одной лишь тоской, что правую ногу свела судорога.

Он исхитрился ущипнуть себя изво всех сил за голень, снова рванулся вперед, гребя одной ногой, захлебнулся. На зубах скрипнула лядника.

Теряя силы, он захотел было крикнуть, но сдержался, как тогда, на войне, чтоб не пугать ребят. «Шурика жаль, — мелькнуло последнее, — Шурика...»

25 мая. 20 часов 20 минут. Кира Цветкова

Придя домой, Кира долго стояла, прижавшись к косяку и не включая свет.

Скрипел сверчок, давний ее приятель, в комнате было тепло и тихо, и никуда не хотелось двигаться.

Превозмогая себя, Кира щелкнула выключателем. Лампочка, то светлая, то желтая, осветила бледное Кирино лицо, отраженное в зеркале, расширившееся, но спокойные глаза.

Она стояла еще минуту, не решаясь распахнуть пальто, потом вздохнула и, не отворачивая взгляда от зеркала, а, напротив, напрягаясь, словно пытаясь запомнить увиденное, разделась.

Серое элегантное платье, которым она так гордилась, было измято и ободрано. Не сохранение ни одной пуговицы, оно болталось, как тряпка, открывая сорочку.

Решительно и сосредоточенно Кира переоделась, вновь накинула пальто и вновь остановилась у порога.

Прикрыв глаза, Кира представила себя такой, как минуту назад: в разорванном платье, но с напряженным, решительным взглядом.

Она переступила порог.

Плотный, похожий на невидимый парус ветер навалился на ее слабое тело, но она продавила его плечом и пошла.

Ее дорога лежала к домику на окраине поселка, возле которого так и валялась лодка, предназначенная для Гусева.



Она шла к этому домику, означавшему край вертолетной площадки, думая о том, что машине пора вернуться и место ее здесь, на пронизывающем, густом ветру. Подойдя к полю, Кира заметила мутную тень, которая двинулась ей навстречу. Это был Лаврентьев.

Черт возьми,— сказал он,— хмель вышел, и я кланю себя, что отступился. Надо было лететь с Храбриковым.

Кира не ответила, зябко прячась в воротник пальто.

25 мая. 20 часов 20 минут. Слава Гусев

Гусев старался не сидеть. Превозмогая озноб, по-прежнему смеявшийся жаром, он пытался бегать, прыгать, чтобы согреться, но прыжки его и пробегки были неуразны и слабы. Преодоление этих страшных метров до вышки обессилило его вконец, и, хотя он пил спирт из фляжки, спрятанной в мешке, который удалось перенести утром, болезнь наваливалась все тяжелей и душнее.

И все-таки он прыгал и пробегался, согревая себя и готовя к мысли, что ему, может быть, еще раз придется сегодня войти в ледяную воду.

Гусев знал, что дядя Коля плывет к плоту, надеаясь на него, был уверен почти как в себе и хвалил Симонова за правильное решение. Нет, Орелика нельзя пускать в воду, не выдержит, как не выдержит и Семка, и они — Слава и Николай — должны теперь сбегать пацанов.

В первый миг, когда с той стороны, с острова, раздался хриплый и невнятный крик Орелика, Гусев решил: что-то неладно у них. Но ему и в голову не пришло ничего про дядю Колю.

Он застыл, собирая остатки сил, и тут только понял, что ребята не такие уж слабаки и не выдержали потому, что беда пришла к Николаю. Не веря еще, он прислушался к реке. Плеск больше не слышался, и Гусев закричал, отчаяваясь впервые сегодня:

— Симонов! Отзовись! Дядя Коля!..

Было тихо, до жути тихо, но Гусев не поверил в это и швырнул свое тело в ледяной кляток.

Тело не почувствовало холода, он заработал руками, глотая снежную кашу и сдерживая стон.

Он вспомнил Кланьку, которую никогда не видел, — странно, не Николая, а его жену Кланьку, — и сквозь хруст льдинок явственно услышал шум винтов.

Он остановился, понимая тщетность своих усилий, огуз в воде, а потом выхлестил из нее кулак, свой широкий кулак и показал его небу.

**25 мая. 20 часов 20 минут.
Сергей Иванович Храбриков**

Бутылки в ящике дребезжали, издавая тонкий, комаринный звон, спирт плескался в них мелкими фонтанчиками, и Храбриков думал, что спирт теперь этому подлюке Кирьянову уже не поможет.

Тридцать шесть начальнику, планировал повыше взлезть, мол, все впереди, да нет, срежет его Сергей Иванович, как есть срежет, если будет Кирьянов над ним по-сегодняшнему выхаживаться. «Детей нам вместе не крестить,— думал Сергей Иванович успокоенно,— а там поглядим». Пенсионный стаж — два за год — набегал все это время, можно на худой конец и дома доработать, у жены, у сыновей.

Вертолет крутил воздух, пилоты знали ориентиры, шли теперь как по часам, и лисьи глазки Хра-

брикова млели: резь в желудке и недомаганье прошли, протрясло, выдать, проветрило на этом дьявольском самокате, леший его побери.

Поглядывая в иллюминатор, Храбриков увидел змеистую полосу реки, подошел к лестнице, скатанной перед дверцей, поправил ее по-хозяйски, приготовился выбросить по команде.

Машина зависла — это он чувствовал нутром, привыкшим к перелетам, и подумал, жалеем, о Кирьянове, о Цветковой, о всей этой шати-братии:

«Эх-ма! Да кабы не Храбриков, архангел-спаситель, куда бы вы делись?»

25 мая. 20 часов 20 минут. Семен Петрущенко

Вертолет трепал воду, плескал льдинами, гнал ветер, надвигая на них темное пuzо, из которого вываливалась лестница, похожая на кишку, а Семка плакал, плакал захлебываясь, и нижняя губа его дрожала и тряслась, совсем как в детстве.

Не обращая внимания на треск винтов, не понимая, что не сможет их осилить, он кричал, надрывая голос, и две жилы надувались на шее, синеватые натуги.

— Дя-а-а-а! Ко-о-ля! — кричал Семка и повторял, изнемогая: — Дя-а-а! Ко-о-ля!

Память выбрасывала Семке мгновенные картины сегодняшнего дня — вот они обедают, вот дядя Коля пляшет, а он поддвигает ему на расческе, вот они борются с Гусевым, вот Гусев стоит в воде, подерживая шест с антенной, а он работает на ключе, и эти всплески памяти ужасали его.

— Дя-а-а! Ко-о-ля! — орал Семка в серую простынь, заменившую реку, берег, триангуляционную вышку, горизонт.

— Дя-а-а-а!..

Но голос гремевшей машины заглушал его хриплый крик, и, теряя власть над собой, ожесточаясь, не понимая, что делает, Семка перекинул из-за спины ружье.

Окоченевшие пальцы нащупали спусковые крючки, он нажал на оба разом, пламя полькнуло над головой. Но в последнее мгновение ствол качнулся, отброшенный от вертолета, и оба заряда ушли в небо.

Семка увидел возле своего лица округленные глаза Орелика.

Орелик смотрел непонимающе, отрешенно. Семка сумел разглядеть в его лице решимость и еще что-то неуловимое — это бывает, когда человек неожиданно проснулся и, хотя не понимает, где он, готов действовать.

Это Семка вспомнил позже.

А тогда закричал вертолету:

— Подлец! Предатели!



ВРЕМЯ ОТРАБАТЫВАТЬ АВАНСЫ

В апреле—мае в залах Академии художеств прошла выставка молодых художников, работавших по договорам с Академией и в ее творческих мастерских. Были выставлены произведения, выполненные в 1967—1972 годах художниками большинства союзных республик. Это событие имело уже достаточно обширную прессу.

Редакция журнала «Юность», публикуя работы молодых художников, дает читателям возможность составить о них собственное мнение. Поэтому мне, участнику экспозиции, вряд ли имеет смысл давать оценки своим коллегам. Но, мне кажется, интересно поговорить об особом значении именно этой выставки для большинства ее участников.

Надо сказать, что в отличие от тех многих случаев, где соседствуют авторы, впервые видящие работы друг друга, здесь были представлены коллективы людей, которые долго трудились бок о бок не только в институцских мастерских, но и в творческих мастерских Академии художеств. Эта форма организации работы молодых художников заслуживает того, чтобы на ней остановиться подробнее.

В творческие мастерские принимаются сразу после окончания института или спустя небольшой срок после него те, кто с отличием закончил институт. И здесь в течение трех лет молодые художники имеют возможность го-

товиться к своим первым после-дипломным выставкам, пользуясь благожелательным вниманием и советами старших коллег. В академических мастерских создается атмосфера общей творческой заинтересованности.

Для примера укажу на московскую графическую мастерскую. Кроме Е. А. Кибрика, руководящего мастерской с 1966 года и не прерывающего творческих контактов с ее питомцами и после окончания срока их пребывания в ней, работы мастерской регулярно просматривали А. А. Деннека и Д. А. Шмаринов, помогали мастерской художники Ю. И. Пименов и Л. В. Соифертис, О. Г. Верейский и Вернер Клемке, шефствовавший над ее художниками в ГДР. Во время их пребывания там по соглашению между Академией искусств ГДР и нашей Академией. Бывали в мастерской и члены немецкой Академии Г. Тухольский и К. Э. Мюллер. Если к этому добавить, что молодым художникам предоставляются длительные командировки по выбранным темам, материалы, натура, наконец, договора по окончании срока пребывания в мастерских, то станет ясно, от скольких организационных и бытовых трудностей избавили мастерские своих питомцев в первое, самое трудное время их становления, какие возможности творчески окрепнуть, поверить в себя дала она им.

Мастерские стали местом передачи творческих традиций моло-

дым художникам. В мастерских создается азартная атмосфера творческого соревнования, где младшие хотят работать лучше старших, старшие же ревниво стараются не ударить лицом в грязь. Ощущение коллектива как творческой среды стало багажом едва ли не более ценным, чем толстые папки этюдов и эскизов, которые увозят с собой художники по окончании мастерских.

И будучи благодарным выпускником творческой мастерской Академии, я рад предоставившему поводу сказать слово своей признательности ей. Впрочем, дело не только в этом. Смысл этого развернутого отступления о творческих мастерских еще и в том, что без него не был бы ясен характер той работы, результатом которой явилась большая часть экспозиции нашей выставки.

Сама выставка показывает, что молодое поколение живописцев, скульпторов, графиков входит в жизнь не случайным скоплением разрозненных одиночек, а сплоченным отрядом с общими традициями, с общими эстетическими и эстетическими принципами. И в этом, по-моему, самый значительный итог выставки.

Еще одно конкретное замечание о ее специфике.

Надо сказать, что в большинстве экспоненты уже участвовали в республиканских, всесоюзных да и зарубежных выставках, но ни на каких других до этой они не имели возможности увидеть свое творчество так полно. Достаточно сказать, что живописцы наряду с сюжетными вещами представляли серии портретов, пейзажей и натюрмортов. Пейзажи и портреты вместе с эскизами росписей и витражей показали монументалисты, что же касается графиков, то экспозиции в 12—15 листов одного автора отнюдь не были исключениями.

...Теперь выставка уже закрыта. Настает наше время отрабатывать авансы...

Ю. ВЕЧЕРСКИЙ



Ю. КУЗЬМЕНКО

«СЛИТЬ СЕБЯ СО СВОИМ ПРИНЦИПОМ»

Почитайте журналы, послушайте выступления на разного рода литературских встречах — есть уже бесспорные приметы того, что недавние указания и рекомендации партии о повышении активности литературно-художественной критики подкрепляются практическими делами. Вот еще одно свидетельство этого, еще одна отбрасываемая весть: создан и начнет выходить с января будущего года массовый критический и библиографический журнал «Литературное обозрение». Можно надеяться, что он станет добрым попутчиком литераторов, журналистов, издателей, преподавателей, работников книжной торговли да и всех людей, так или иначе причастных к художественной литературе.

Критика получает возможность писать о литературе больше. Это отлично: грустная статистика о проценте книг, не находящихся в печати никакого отзыва, достаточно известна. Но главное, критика должна стать лучше. А краткое это слово вмещает в себя и верность исходных позиций, и высокую философскую культуру, и умение соотносить художественное произведение с жизнью, и глубокую заинтересованность в успешном развитии нашего социалистического искусства, и мастерство эстетического анализа — все то, чем с момента своего появления была сильна марксистская эстетическая мысль и о чем так своевременно напоминает в постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике».

Традиции марксистско-ленинской эстетики, их значение для современной литературно-критической практики — этому посвящается наш очередной «Дневник критика».

Издательство «Художественная литература» только что вновь выпустило в свет сборник «В. И. Ленин о Л. Н. Толстом» (составление, послесловие и комментарии С. Брейтбурга. Издание второе). Ценность этого издания состоит в том, что значительные ленинские работы сопровождаются здесь характерными выступлениями печати того времени, статьями, с которыми полемизировал Ленин, подробными комментариями, короче говоря, всем, что помогает понять важность ленинского обращения к творческому наследию Толстого.

Маленькая эта книжечка, содержащая работы шестидесятилетней давности, лучше многих томов отвечает на злободневный сегодня вопрос, что такое социология литературы в подлинном, научном смысле этого понятия. Органическое единство социального и эстетического анализа сложнейших литературных явлений, историзм теоретического мышления, позволяющий видеть творчество большого художника в движении, в бесчисленных «сцеплениях» с эпохой, точное раскрытие взаимосвязи в художественном творчестве классового и общенародного, национального и общечеловеческого, последовательная партийность исследования, которая на поверку оказывается и его высшей объективностью, — вот он, непреходящий ленинский урок, делающий эти статьи и в наши дни бесценным руководством для каждого литературоведа и критика.

Вновь и вновь будем мы обращаться и к другому недавнему изданию, связанному с ленинским наследием. Речь идет о книге «В. И. Ленин и А. В. Луначарский» («Литературное наследство», т. 80, «В. И. Ленин и А. В. Луначарский. Переписка, доклады, документы»). Издательство «Наука», 1971).

В обстоятельных письмах и кратких, в несколько строчек, записках, в докладах и распоряжениях, сообщениях и телеграммах — во всем, что составляет содержание этого обширного тома, — оживает эпоха, образно названная когда-то Лениным Основным «утром новой эры». Мы видим ветерана революции, а потом первого наркома просвещения Луначарского в кипении общественно-политических событий, в делах и заботах, далеко выходящих за пределы искусства. И начинаешь понимать, как правильно поступили составители тома, представив в нем всю многогранную деятельность Луначарского, все стороны его многолетнего сотрудничества с Лениным. Проблемы культуры, формирования социалистического искусства оказываются не изолированными, предстают в общей сложной картине творческого создания нового мира.

Сегодня для нас аксиомами являются необходимость целенаправленного воздействия партии и государства на развитие художественной культуры, использование прогрессивных традиций классики, всесторонний учет специфики литературы и искусства и в практической работе и в понимании их социалистического содержания, их новой классовой сущности. Тогда эти аксиомы были еще теоремами, и «доказывались» они не в тиши кабинетов, а в бурных спорах, в острой борьбе с формалистическими вывертами, сепаратистскими настроениями пролеткулов, мелкобуржуазными подделками под «пролетарское искусство», вулгарно-социологическими концепциями теоретиков, мало того, с известной уступчивостью, склонностью к увлечениям самого народного комиссара просвещения. И опять-таки перед нами далеко не только история. Книга «В. И. Ленин и А. В. Луначарский» учит непримиримости в принципиальных вопросах и умению видеть в чело-

веке главное, последовательности в отстаивании основ марксистско-ленинского учения, учит творческому подходу к их практическому применению.

Современником и соратником Ленина был выдающийся немецкий марксист Карл Либкнехт, чье эстетическое наследие, по существу, впервые стало в полной мере доступным советским читателям (Карл Либкнехт. Мысли об искусстве. Трактат, статьи, речи, письма. Составление, вступительные статьи к сборнику и его разделам, примечания М. Кораллова. Издательство «Художественная литература», 1971). Наряду с Францем Мерингом, Розой Люксембург и Кларой Цеткин Карл Либкнехт внес заметный вклад в развитие марксистской теории искусства, посвятил этому специальный трактат, по верной оценке составителя сборника, «первый опыт цельной эстетической системы, в которой искусство рассматривается со строгой последовательностью в его отношении к революции и народу».

Сражение с немецким милитаризмом — этим, по словам Либкнехта, «злым духом, губящим культуру» — включало в себя борьбу за свободное развитие передового демократического искусства, за доступ трудящихся масс к его ценностям. «Надо широко распахнуть все окна и двери перед искусством и наукой, впустить вольный ветер духовного прогресса, дать возможность развернуться художественному творчеству и восприятию». Либкнехт исходит из марксистского положения о том, что искусство глубоко социально и по своему происхождению и по своим функциям, подчеркивает активное, действенное начало художественного творчества, предельно заостряя эту мысль: «Главная задача искусства — создание не совершенных произведений, а совершенного мира». «Апология тенденциозного искусства», «Народ» и искусство» — так называются заключительные параграфы исследования Либкнехта, свидетельствующие о том, что его поиски шли в одном направлении с Лениным, что одной из самых актуальных задач марксистских партий в ту пору была разработка основополагающих принципов пролетарской, социалистической культуры.

Наконец, откроем еще одну книгу из этого ряда — сборник литературно-критических выступлений Вадлава Вацлавовича Ворковского (В. Ворковский. Литературная критика. Составление и подготовка текста О. В. Семеновского и И. С. Черноуцана, предисловие И. С. Черноуцана. Издательство «Художественная литература», 1971).

Первая статья Ворковского, «О М. Горьком», написана в конце 1901 — начале 1902 года. Последние вошедшие в сборник выступления датированы 1912 годом. Всего десять лет литературной работы — и, конечно, работы «по совместительству», наряду с боевой большевистской деятельностью во время первой русской революции, вынужденной поездкой в Вятскую губернию, отсидкой в московской тюрьме, руководством подпольной партийной организацией в Одессе. Разбросанные по разным газетам и журналам статьи Ворковского были разысканы, собраны и впервые опубликованы вместе только в 1923 году — уже после того черного майского дня, когда белогвардейская полиция в Лозанне оборвала жизнь революционера, дипломата, публициста ленинской школы.

Ворковскому довелось писать о Белинском, Добролюбове, Писаре. Он прекрасно знал наследие русских революционных демократов, восхищался их умением соединить слово и дело, «сплести самих себя со своим принципом». Он прямо продолжал их очистительную литературно-критическую работу, когда действительно «пришел настоящий день», когда «лишние люди» новой поры безразмерья сходили со

сцены, освобождая дорогу горьковскому «герою с идеалом». Но это было не просто повторение прежних, даже самых блестящих образцов критической мысли. Ворковский оценивал литературный процесс с высоты пролетарской идеологии, с позиций ленинского этапа развития марксизма. И это вместе с талантом критика придало его «поденной» работе в журналах «Образование» и «Мысль», в газете «Одесское обозрение», в «Черноморском портовом вестнике» такую глубину и точность, что подписанные им статьи, фельетоны, заметки не только пережили канувшие в Лету издания, но и читаются сегодня почти без каких-либо поправок.

Воровский чрезвычайно чуток ко общественным настроениям, находящим выражение в художественном творчестве.

Голос Ворковского достигает щедринского сарказма, когда он пишет о литераторах, которые не просто предавались отчаянию, но пытались довершить поражение первой русской революции ее духовным развенчанием. В одной из блестящих статей критик создает образ мародера, обшаривающего карманы убитых в ночь после битвы. Эта позорная социальная роль, по его мнению, равным образом принадлежит и тем, кто производит мрачную переночку ценностей (рассказ «Тьма» Леонида Андреева), и тем, кто, свергая вчерашние кумиры, ищет утладу в женских или мужских телесах («понографически-политический» роман Ф. Сологуба).

Воровский не ограничился памфлетом, посвященным упадочническим тенденциям в художественной культуре. Одним из первых, если не первым в марксистской критике он дал глубокий социально-эстетический анализ декаданства — его истоков, сущности, классовой природы. Отвлеченный рационализм, ужас перед жизнью, культ разрушения, отрицание света, разума в пользу смерти, тьмы и безумия — вся эта «вахкальная пошлость», по Ворковскому, — мнимое новаторство, мнимая революционность. «Нет, господа модерности, ваша новейшая литература — дополнительный плод буржуазного общества, его гнилой плод, порожденный им и нужный ему для самоуспокоения».

«Неясный интеллигентский революционизм, неопределенная интеллигентская идеология могли существовать, пока им не приходилось соприкасаться с классовыми интересами», — писал Воровский. Теперь же, в пору революционных битв, история заставляет делать выбор. Один из них — стать добродородным буржуа, действовать в соответствии с циничным лозунгом: «Анафема принципам буржуазного общества, и да здравствует мешанское благополучие в личной жизни!» Другой, подлинный выход — расстаться с надклассовыми иллюзиями, решительно шагнуть в ряды тех, кому принадлежит будущее.

Там — расчет с прошлым. Здесь — мост в будущее, предугадывание новаторских особенностей грядущей социалистической литературы. И в любой статье, чему бы она ни была посвящена, то «во имя», которое делает литературную критику высокой публицистикой, придает ей широкое общественное звучание.

...Не годы — десятилетия отделяют нас от времени, когда была написана последняя строка книг, упоминавшихся в этом обзоре. Но они впадают в наши сегодняшние раздумья и споры, заставляют оценивать свой труд, труд критика, особой мерой требовательности, помогают выверять наше теоретическое оружие. По существу своему, по методологии, содержанию, пафосу, а не только по времени издания эти книги и семидесятых годов XX века, книги-современники.



**ПАВЕЛ
АНТОКОЛЬСКИЙ**



Рисунок
К. БОРИСОВА.

В РЕЛЬСУ!

Читатели «Юности» знают, что наш журнал не раз обращался к вопросам образования. Из последних выступлений сошлемся на вызвавшую большой читательский отклик дискуссию о методах воспитания и писем Героя Социалистического Труда В. Сухомлинского в № 4 за этот год. В новой же рубрике, которую мы сегодня открываем статьей поэта П. Антокольского, мы хотим систематически вести разговор о преподавании литературы в школе. Нам кажется, что внимание общественности к гуманитарному образованию сейчас повышено. Темперamentная статья П. Антокольского может послужить хорошим началом для всестороннего и объективного обсуждения положения дел с преподаванием родного языка и литературы в школе.

Детство и отрочество нового поколения всегда были и навсегда останутся насущной заботой и тревогой взрослых. Взрослые ответственны за свою смену. Люди убеждены, что идущие за ними будут вознаграждены за неудачи, беды, ошибки отцов и примут как законное наследие все, что отцам посчастливилось совершить доброго в течение жизни. К этим тревогам и надеждам возвращается каждое поколение.

Детство и отрочество решающим образом сказываются на всей дальнейшей дороге и деятельности человека. Они формируются и в средней школе. Вот отчего интерес писателя к тому, как в средней школе поставлено обучение родному языку и литературе, естествен и неизбежен. Как знакомятся сегодняшний подросток с родной литературой? Насколько питательна духовная пища, поглощаемая учениками в часы уроков языка и литературы? Раскрыто ли подростку богатство нашей культуры?

Эти вопросы не случайны. Они вызваны серьезными причинами. Задача, стоящая перед учителем русского языка, сложна и сама по себе. К тому же о ней существуют различные суждения, диаметрально противоположные одно другому. В наше время встречаются взгляды, далекие от внимания к гуманитарным дисциплинам. Не однажды приходилось сталкиваться с пренебрежением, с отрицанием сложности вопроса, а то и с бытовым равнодушием.

В таких случаях тревога словесника превращалась в печаль, а печаль в протест.

Вот что я прочел лет восемь назад в письме моего друга, старого, заслуженного учителя ленинградской средней школы:

«О русском языке в школе. Важно это, очень важно! Но еще важнее положение литературы! В старой десятилетке (хороший нормальный тип учебного заведения) в восьмом классе было пять часов в неделю, в девятом, десятом классах — по четыре, итого тринадцать. А теперь... Беззастенчиво обворована наша литература, и классическая и советская... Настойчиво и упорно выхолащивают живую душу литературы. И тут, в предмете идеологическом и эстетическом, вреднейшее экспериментирование. А раз так мизерно количество часов на литературу, то на

русский язык и вовсе не остается времени. До занятий русским языком, естественно, руки не доходят. Часов нет. Это беда».

Так пишет учитель, опытный, талантливый, каждый год поставлявший нашему обществу хороших словесников. Первенство в течение многих лет принадлежит этой школе как раз в отношении учеников моего друга. Стадо быть, он умудряется преодолевать рамки считанных часов и суженной программы? А что же делать другим учителям, менее опытным, а то и совсем неопытным, только что окончившим пединститут или филологический факультет? Прежде всего что делать юношам и девушкам, кончающим среднее образование со скудным багажом русского языка и русской литературы? Постарайтесь представить себе реально этот багаж!.. Правда, с той поры, когда было написано письмо учителя, во многом положение улучшено.

Задаемся всеерою о значении родного языка.

Думаю, что наш язык, что ни год, скудеет и тощеет в штампах общих мест, заменяющих мысль. Он искажается уродством бытового просторечия, жаргоном обывательским и рыночным. Когда читаешь в торговой рекламе «ценуеенные товары» или «захороненные» (не о находке археолога, а о сегодняшнем событии), когда магазин сувениров предлагает «памятные подарки», когда оратор предупреждает, что коснется предмета «кратенького», а любезный муж обращается к жене с «приветиком», когда входит все чаще в обиход безличное (и потому безответственное) «думается» вместо «я думаю» или глагол «переживать» без указания, что именно переживает человек, когда употребляют «откровение» вместо «откровенности», — то каждое из этих нарушений правильной речи само по себе не внушает особой тревоги. Но в совокупности все они суть показатели не только невнимания или равнодушия к языку, но и невежества. Особенно в силу того, что эти искажения распространяются стремительно. Своего рода массовый гипноз.

Стоит вспомнить о всякого рода «приблоех», «припозадох», даже «пристарнух», проникших в прозу, по недоразумению считающихся художественной. В том же печальном ряду выстраиваются «слабики», «чокнутые», которые где-то «натерпелись страшку» и многие другие прихоти поэтов, беллетристов, драматургов, переводчиков.

Иное дело, когда писатель сознательно, для характеристики той или иной социальной или возрастной группы нашего общества, воспроизводит жаргон, блатной язык. Это — решение художника слова, его отношение к изображаемому средствами языка, это речь действующих лиц.

В том, как извращается русский язык, в конечном счете виновата система обучения русскому языку. До той поры, пока русский язык преподается неудовлетворительно, пока учитель стоном стонет об отсутствии часов на важнейший предмет в образовании подростка; пока ученики не чувствуют радости на этих уроках; пока грамматика и синтаксис кажутся им скучной нагрузкой; пока школьники не знают истории русского языка, его сложившихся веками формообразований, то есть морфологии языка; пока, наконец, организации, руководящие средней школой, не примут срочных мер для того, чтобы извратить растущее поколение от невежества в родном языке, — до той поры, говорю я, существование уродств и в повседневной речи и в печати будет неизбежно возрастать количественно и качественно.

Меры должны быть применены те же самые, которые уже давно применены по отношению к точным наукам, ко всему естествознанию. Советскому обществу нужны физики, инженеры, врачи, летчики-космонавты, верно! Но не менее нужно нашему обществу,

чтобы и представителями этих высоких профессий, и народные учителя, и все ныне растущее поколение были не только грамотными, но и высокограмотными.

Нужно достаточное количество учебных часов для обучения родному языку, для серьезного проникновения в историю нашей поэзии, прозы, драматургии! Широта школьной программы по знакомству с великими сокровищами нашей классики девятнадцатого века! Хороший учитель отвечает и за знания учеников и за их души. Это и есть та служба русского языка, о которой так вдохновенно и умно говорил Корней Иванович Чуковский.

Подрастает поколение не виновато в том, что «ценуеенный русский язык приблает в кратеньких приветиках».

Две задачи, стоящие перед средней школой, тесно связаны одна с другой: образование и воспитание. Говорить о них в отдельности неправильно.

В наши вузы приходят молодые люди, в основном уже сложившиеся — взрослые, во всяком случае, выбравшие для себя дорогу, будущую специальность, профессию. Их нравственный облик в той или иной степени сформирован в средней школе, в семье и всей окружающей среде. Но школа призвана к этому в первую очередь. Годы, проведенные нашей молодежью в высших учебных заведениях, будут по-настоящему плодотворными, если школа способствовала нравственному, гражданскому, политическому здоровью драгоценных для советского общества кадров. Воспитание предшествует образованию. Это грунт, взрыхленная почва, куда ложатся семена любой науки, от таблицы умножения до квантовой физики, от первоначальной грамоты до вершин и глубин философского мышления. Так происходит развитие каждой личности. Так оно будет происходить и в те времена, когда нас уже не будет, а следом и тех, что придут нам на смену.

Итак, две задачи, тесно между собою переплетенные, — образование и воспитание. Вся практика уроков не только родного языка, но и «точных» дисциплин, например, физики, убеждает в том, что образование без воспитания обойтись не может.

Но вот что при этом в иной момент школьного периода представляется мне странным.

На одной конференции учителей в Академии педагогических наук было прочитано, как образовый пример, сочинение десятиклассницы. Очевидно, это девушка честная, с серьезными требованиями к себе самой. В сочинении она перечисляет нравственные уроки, извлеченные ею из «Войны и мира»: и истоки





красоты, и природа подвига, и отношения между влюбленными. Выяснилось, что учитель целых полгода в десятом классе посвящал «Войне и миру». Правильно ли это? Нет ли здесь разбазаривания капитала, бывшего в распоряжении учителя? Я имею в виду не метод, но исключительно время. Ведь сочинение, о коем только что сказано, было итоговым, а свидетельствует оно исключительно о воспитательном значении великого произведения. А сам роман гениального писателя? А его эпоха и эпоха 1812 года? Может быть, в этом случае воспитание заглушило образование? В этом ненормальность, характерная как раз в изучении произведений русской классики.

Следует ради суровых уроков прошлого настаивать на образовании, как на основе системы обучения в средней школе. Наша школа общеобразовательная. Ее учителям поручено — в первую очередь — образовывать вступающих в юность, стоящих у порога жизни, тех, кто получает аттестат зрелости!

Чему же надо учить в средней школе гражданина, будущего Лобачевского, будущего Моцарта? Дисциплине в познании мира. Вот отчего учитель физики поступит разумно, если начнет курс с обзора развития своей науки. Вековая дорога поисков, провалов, увлечений, открытий, от наблюдения античного слепопыта природы, от Гераклита, через Ньютона, Лейбница, через молекулярную теорию, через теплород начала прошлого века, через Дарвина, Менделеева, Павлова, Эйнштейна — в то будущее, которое предстает сегодняшнему ребенку! Вот метод, который представляется лучшим для средней школы.

Преподавание литературы, хотя бы только русской, есть вторая часть работы учителя-словесника. Первая часть — сам русский язык. Не свод грамматических правил, не диктант, за который можно поставить пятерку с плюсом, — это дело нехитрое, хотя и важное. Необходимо живо, подробно, увлекательно рассказывать о том, как на протяжении двух тысячелетий развивался русский язык. Иначе не объяснишь, отчего, например, в русском прошедшем времени глагола нет спряжения, зато происходит изменение по родам: был, была, было. История развития языка учить и грамматику и синтаксис. Зная историю, легче и быстрее овладеешь этими последними.

Далее! Очень важная вещь в средней школе — эстетическое воспитание, но еще важнее практические навыки в сфере любого искусства, поощрение всех попыток самостоятельного творчества, и прозаического и поэтического, — почему бы нет, спрашивается!

Само преподавание родной литературы есть в основном преподавание истории литературы, связанное, конкретное, по мере возможности яркое. Панорама развития русского поэтического слова, от «Слова о полку Игореве» вплоть до советских поэтов и прозаиков, — панорама движущаяся (синерама) — во что бы то ни стало должна быть усвоена, пережита школьником. Надо ему показать, что Пушкин не на пустом месте явился, что не только Жуковский и Батюшков, но и автор «Слова о полку Игореве» был его учителем. Что Пушкин, так же как его Онегин, есть «наследник всех своих родных», не только кровных, но и духовных. Вот в чем действительность истории литературы в средней школе. Лев Толстой твердо знал, что не будь Лермонтовского «Валерика», не было бы и его «Севастопольских рассказов». Но разве Маяковский был только новатором, разрушающим старые нормы русского стихосложения, разве он не был очень дисциплинирован в почитании великого Вчераше?

Если обратиться к первоисточникам детского развития, то вспомним, что воображение ребенка требует топлива для себя. Дети друг друга учат игре в «казаков и разбойников», в Чалаева и другим играм. И вот они приходят в школу. Как она помогает в том же деле своим питомцам?

Можно научить любого ребенка всему на свете, и для этого существует один только путь: собственное увлечение и данным предметом и самим ребенком. На школьном учителе лежит немалая, порою и невыносимая тяжесть, но зато у него и крылья. Быть увлеченным и суметь увлечь малых сих есть феномен искусства, мастерства, ремесла учителя. Вот школьный класс. Это первая встреча Его с Ними. Разные дети за партами. Среди них могут оказаться и тупицы, и фискалы, и уж такие шалуны и балованные отпрыски, что не дай бог, но вдруг найдется хотя бы один будущий Есенин, будущий Шостакович, — кто поручится сегодня, что «таковых» не имеется в данном классе? При этом первый урок, первый час учителя-новичка, только что окончившего пединститут, решает многое, он начало всей учительской жизни и судьбы.

Как же скажется практика эстетического воспитания на уроках учителя родного языка? Над этим стоит призадуматься. В результате невнимания к этой практике она захирела до обморочного состояния и у детей и у самих учителей. На уроках родного языка практика эстетического воспитания — особенно в средних классах — должна отразиться на классных сочинениях, но в первую очередь на внеклассных. Ни гаденькое чистописание, ни цитаты из Белинского и Добролюбова, ни присвоение себе чужих мыслей, ни заученные наизусть фразы из учебника не могут служить весомыми критериями в оценке школьных сочинений.

Какова бы ни была тема заданного сочинения, школьнику надо сказать до его приступа к работе, что он призван к самостоятельному решению темы, к живой и оригинальной мысли. Каждый признак такой самостоятельности следует поощрять. Если учитель не согласен с учеником, пусть сам и переубеждает, это его право, если не долг. Но ставить двойку за несогласие с учителем в высшей степени вредное дело! А такие случаи не так уж редки. Отнимая у детей способность и желание мыслить самостоятельно, способствуют выращению невежд, покровительствуя им заранее.

Что касается тем для сочинений по русской литературе, то они гораздо многочисленнее и разнообразнее, чем обычно представляют себе. Прежде всего надо дать свободу учителю в выборе тем и в нахождении

дений повых. Мало используется сопоставление произведений русской классики с картинами русских художников, со скульптурой. Вместо избитых тем — гуманизм «Шинели», образ Тараса Бульбы, как патриота — вполне уместно привести в класс репродукции прекрасных картин Федотова или «Запорожцев» Репина, Васнецова, Врубель, Серов, Суриков, Перов — какой великолепный дополнительный материал к былинам, Лермонтову, Некрасову! Эти цветные репродукции сравнительно хорошо выполнены и в больших городах легкодоступны. А если недоступны, если их нет на прилавках книжных магазинов, надо быть тревоже каждую осень! Надо, чтобы к началу учебного года, еще в августе, они были предоставлены всем средним школам Союза — от Бреста до Владивостока, от Архангельска до Сочи. То же самое до разреза необходимо по отношению к сочинениям Пушкина, Толстого, Горького, всех писателей, обязательных в программе средней школы. Каждый тираж таких изданий должен быть миллионным. Необходимо, чтобы и хрестоматии были не односторонними по содержанию. Здесь тоже нетерпима унификация.

Возвращаясь к истории русской литературы.

Когда Тургенев сочинял родословную Лавренченко в «Дворянском гнезде», эта родословная была одним из лучших созданий русской прозы прошлого века. А вспомним знаменитую статью Каюковича о предке Онегина: Писатель-романист превращался в прекрасного историка, а лучший из русских историков взял на себя роль романиста. Все здесь в одном ключе. Этот ключ — первоисточник!

Если школьникам предстоит изучение «Слова о полку Игореве», то спрашивается: неизбежно ли чтение одного перевода на современном русском и? Отчего изучение, хотя бы элементарное, старославянского языка противопоставлено средней школе? Снова речь о первоисточнике!

Знание старославянского языка — дело не столь уж сложное и громоздкое, как обычно представляют себе. И если в дореволюционной русской гимназии оно было обставлено великолепно, то совершенно не затем, чтобы подготовить будущих священников и протодьяконов... на сей случай были иные школы. Может быть, на всем жизненном пути сегодняшним юношам такое знание не пригодится, но сколько еще другого успеют забыть они по окончании школы... пуская забудут и аорист Древнего спряжения и значение резаны и ногаты в том же Слове!..

Ведь культура не только широкий горизонт, но и глубинные недра, подземный грунт, в отношении родного языка — именно так. Глубина познания тоже расширяет горизонт каждого деятеля на любом поприще. Одной широты, обширности знания недостаточно.

Отчего же должно быть утверждено: коммунистический человек есть человек, развитой всесторонне, гармонический. О его развитии следует заботиться, а то и гревоваться!

Давно сказано: язык есть материя мысли. Кто глубже, богаче, правильное говорит на родном языке, тот и мыслит соответственно изощреннее и острее. Если у обывака чуть больше сотни знаков общения друг с другом, заменяющих им язык, то у человека в запасе таких знаков, то есть слов, — сотни и сотни тысяч, а если сюда причислить суффиксы и флексии, склонения существительных по падежам и спряжения глаголов, то приведенное шестизначное число надо возвести в квадрат, а то и в куб. Ребенок с той минутой, как зазвучал членораздельно, в неизмеримо краткий срок, в течение полутора начинает строить предложения — с таким великолепным совершенством, которое хорошо знал К. И. Чуковский! («От двух до пя-

ти» — одно из примечательных созданий русской прозы). Разумеется, ребенок семи лет, первоклассник — уже другое существо, нежели тот пятилеток, о котором писал Чуковский. Он связан и ограничен мощным инстинктом подражания взрослым, многое в нем отползло, притихло. Но если школа дает ему возможность самостоятельно прикоснуться к искусству слова, если она поощрит его первые же попытки творить в родном языке — да, да, хотя бы стихи сочинять! — это будет первым подарком нашей школы коммунистическому обществу будущего. Любое творчество в любом искусстве свойственно детям. Это уже много раз продемонстрировано на выставках детских рисунков во всем мире. За последние десять лет такие выставки сделались своего рода модой. Против такой моды ничего не возразить! Она свидетельствует о том, что взрослые научились учиться у детей. Признак знаменательный!

И в этой связи мне хочется пропеть дифирамб учителю русского языка в средней школе. Я думаю, это центральная фигура в школе, ее герой, авангардный боец в деле образования и воспитания. Но учитель русского языка не только свидетель, зритель, радующийся тому, что наблюдает.

От него многое зависит. От его примера, от его пристальности, такта и, наконец, от собственного увлечения. Нет увлечения — никто и ничто не поможет ему. Ни учебник, ни методист, ни высшая Академия педагогических наук в полном своем составе, ни министерство просвещения.

...Первый день новичка-учителя русского языка в средней школе. Первое сентября 19... такого-то года. Восемь тридцать утра. Он вошел в класс, и дватри десятка подростков, как положено, дружно встали. Он знает цену такому, заранее заготовленному признанию, но весело улыбается, а может, и смущен.

Если при этом он испытывает священный восторг, скажем, такой, как Мочалов, играющий Гамлета, если он смело ринется в бой и его горящие глаза встретятся с двумя или тремя парами горящих глаз, если они сразу в течение сорока пяти минут не посмотри на свои ручные часы, если, — говорю я, — речь его будет чистой импровизацией, подсказанной воспоминанием о собственном, не так уж далеком отрочестве, — тогда дело его жизни выиграю!

Этим лирическим абзацем статья могла бы и кончиться. Однако у моей темы есть еще один аспект. Правосписание есть коренное достоинство народа, равно как правильное произношение в родном языке. Одно связано с другим теснейшим образом.





Правписание отражает и должно отражать живую народную речь. Отсюда следует, что оно не должно отражать речи неправильной. Правписание должно отражать все богатство устной речи, все ее оттенки, ласканья и неулловимы немзыкальным ухом. Ошибки правописания могут стереть в слуховой памяти одного поколения тот или другой оттенок живой народной речи. Если орфография искажает правильную, великорусскую речь, значит, она ошибочна.

Когда в 1964 году — увы, за две недели до полуторастолетней годовщины со дня рождения Лермонтова! — в наших газетах был опубликован проект изменений в нынешней русской орфографии, Леонид Леонов правильно откликнулся на этот странный документ призывом «бить в рельсу!». Было отчего писателю так возмущаться, недаром его поддержали многие товарищи-собратья.

Защитники проекта замечали, между прочим, что человек ко всему может привыкнуть. Еще бы нет! «Привыкнуть» можно, была бы в том нужда. Поскольку же речь шла не о чьей-то индивидуальной терпеливости, но о коренном достоинстве русского народа, о народной красе и гордости — о русском языке, то способность привыкать не составляет красоты и гордости народа.

Может быть, авторы проекта долго обсуждали свой проект, тщательно и добросовестно проделали работу по всем выдвинутым предложениям. Однако именно сны, а не кто иной дали неопределенный материал не только возражающим, но и юмористам. Особенно замечательна была статья заместителя председателя орфографической комиссии. Последний невольно сам вскрыл причину неудачи проекта. Он писал: «Письмо убого и невежественно отождествляется с языком». Он диктовал — всем-всем! — «всякие исключения и непоследовательность должны быть устранены...»

Цветущее царство языка и речи не могло подчиниться диктату ученого. Явным образом орфография противопоставлялась языку. По мысли новаторов, она должна приказывать языку: — Смирно! На краул! Крутом арш! Ать-два! — далее соответствие орфографии произношению объявлялось чем-то «плоским». Отсюда можно было понять, как это выросли на академическом огороде всякого рода «огурцы-мудрецы». Из той же чащобы выпрыгнул пресловутый «заец» проекта!

Еще раз: орфография есть гибкий инструмент, хорошо, до беска оптолированной советским обществом более пятидесяти лет, миновавших с великой

реформы русского правописания в 1918 году. Это — зеркало живого, разнообразного говора. Такое зеркало не может быть кривым. Недаром со времен существования Малого театра за основу устного произношения на сцене принят говор московский.

Но надо отметить и то, что много после того, как проект орфографических перемен был отвергнут советской общественностью, в нашей орфографии, в новых изданиях русских книг мы с удивлением замечали внезапные новшества. И они казались безбилетными зайчиками, протиснувшимися в печать. Непонятно, откуда явился «панцирь» вместо панцыря, откуда возникло правило писать раздельно «смаху»...

Здесь не могло быть основанием угрюмбурчеевское «единообразие», о коем хлопотал унылый автор 1964 года. Такие новшества, очевидно, можно ждать и завтра и в будущем году, коли торжествует суждение: ко всему можно привыкнуть.

Ан нет, нельзя!

По долгу службы «привыкают» только русские корректора и только читатели, читающие страницу «смаху». При всех условиях эти новые и новейшие изменения в орфографии суть не что иное, как остаточные пережитки того волонтаризма, который был осужден одновременно с проектом восьмилетней давности.

В целом же вопрос орфографии находится в прямой связи с вопросом русской грамоты и ее преподавания в младших классах средней школы. Уже сказано, дети говорят на родном языке отлично. Словарь их так богат и выразителен и так неожидан, что ему позавидуют и взрослые.

Интерес семи-восьмилетних детей к языку повышен. В их памяти свежо первое прикосновение к речи, так недавно овладели они этим орудием общения друг с другом и со своими родителями.

Больше внимания и любви к одаренности младших школьников в языке, к их словотворчеству — вот лучший способ учить их русской грамоте! Необходимо в младших классах исправлять их дикий. В этом всегда есть нужда. Сколько детей шепелявят, картавят, заикаются, проглатывают концы слов, страдает скороговоркой...

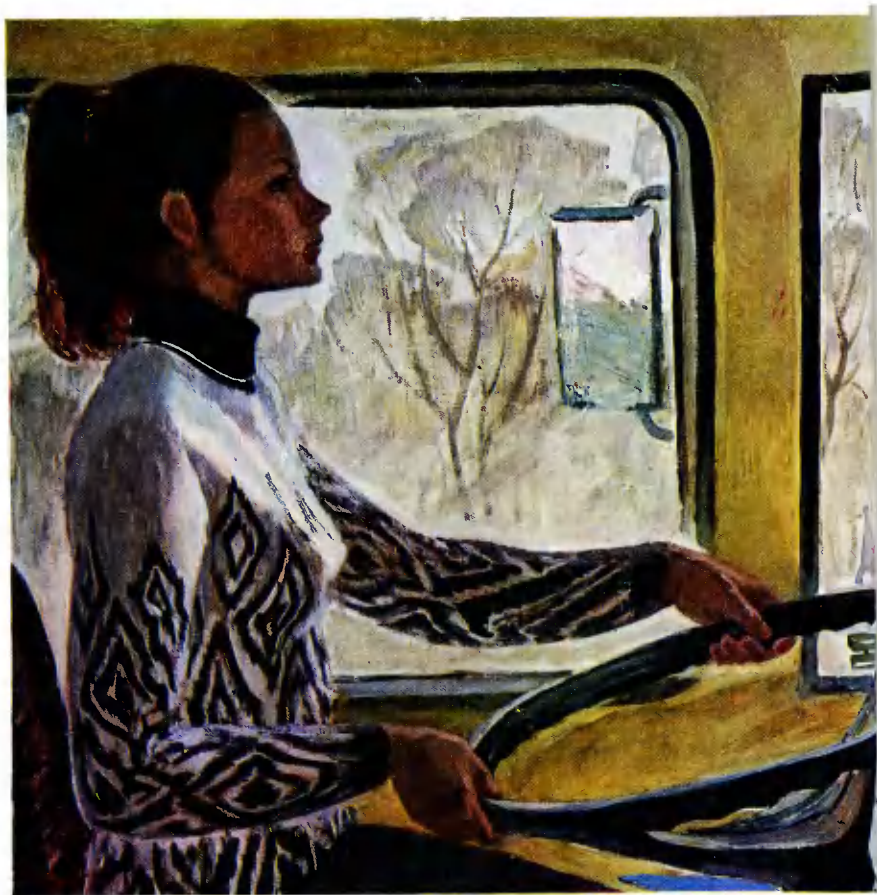
На повестке дня средней школы (значит, и всей культуры в целом) одним из важных пунктов стоит родной язык. Тут немислимы и опасны промедления.



З. ГАЛАВА (Тбилиси).

Портрет шахтера.

Из произведений молодых художников,
экспонировавшихся в залах Академии художеств СССР. Лето, 1972.



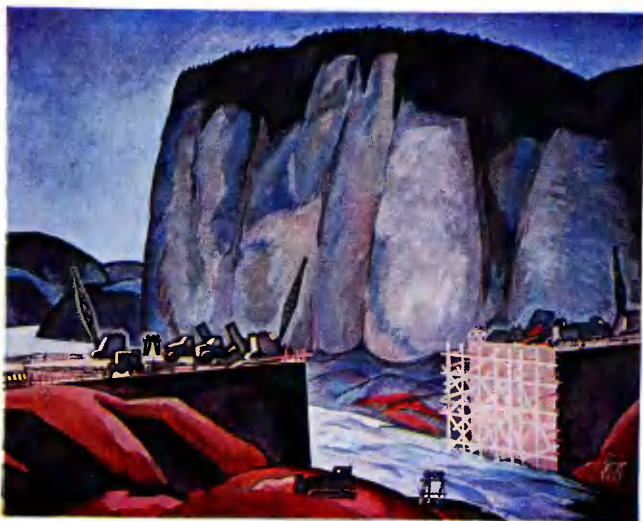
В. РЕПКА (Киев).

Водитель Валя.



М. ВАЙНШТЕЙН
(Киев).

Дежурство.



В. ДРАНИШНИКОВ
(Москва).

**Будет мост
через Говоруку.**

Из серии
«Вишера
алмазная».



С. МОЛОДЫХ (Ленинград).

Мальчик с грибами.



ОГОНЬ, ПЕПЕЛ, ПОЭЗИЯ



На снимке:
Эйжен
Верерис.

С этим высоким худощавым человеком я встретился в Риге в середине 1969 года. В разговоре он не старался навязать собеседнику свои мысли или же, как это часто бывает, не спешил с воспоминаниями. Он молчал. Он слушал. Он очень внимательно слушал, постигая мир своего собеседника. А между тем именно ему-то и надлежало говорить, вспоминать, сопоставлять.

Неторопливость и основательность этого человека мне были по рассказам известны уже до встречи с ним. Народный учитель, он всю жизнь писал стихи. Он показывал их Яну Райнису в 1923 году, Леону Паэгле в 1926 году. И тем не менее никогда не публиковал свои стихи и считал их делом личным и не подлежащим огласке.

Сейчас Эйжену Верерису семьдесят три. В семидесятилетнем возрасте он впервые издал свою книгу. Путь к этой книге — путь всей жизни. Об этом надо рассказать. Я должен об этом рассказать.

Сын рижского пролетария, Эйжен Верерис с семнадцатилетним возрастом становится латышским стрелком, участвует в сражениях на Рижских болотах в гражданской войне, во взятии Риги в 1919 году. Был контужен и спасен от белого террора.

На протяжении жизни Эйжен Верерис сменял множество профессий: грузчик, журналист, электромонтер, торфодобытчик, рабочий лесопилки. И, наконец, после окончания педагогического института в 1923 году народный учитель в далеких рыбацких поселках Латвии. Вылоть до Великой Отечественной войны.

Во время войны Эйжена Верерис предал один из его учеников. Так вошла в жизнь народного учителя трагедия. Он был под расстрелом. По случайности из

здания, где томились смертники, его загнали в общую арестантскую. Природе было угодно, чтобы этот человек, пройдя по всем кругам ада, выжил и свидетелемствовал.

Путь Эйжена Верериса шел к Маутхаузену. Но до этого надо было пройти Саапсилас и Штуттоф. Названия, достаточно выразительно звучащие для тех, кто знает, что там творилось.

Сколько рвущихся на волю сердец, сколько несбывшихся надежд, сколько попыток сбежать с этой невыносимой в слове каторги!

Существует обширная литература о фашистских лагерях смерти. Среди этих книг немало воспаленных, острых, взывающих к нашей памяти и к нашей совести. Но в возможностях поэзии подчас заключено больше, чем в простом повествовании о том, как все «это было». В поэзии мало простой информации. Она передает переживания, дает возможность почувствовать духовный мир человека в тот момент, когда все это происходило. В стихах Эйжена Верериса есть подлинность переживаний, которые остались в нем как личный опыт и как наказ и наследие тех, кто ушел в небытие с дымом лагерных печей, кто не вышел из газовых камер и душегубок.

Лагерники в стихах Эйжена Верериса, хотя одеты в одинаковые арестантские одежды — лохмотья, не на одно лицо. Разные люди, разные характеры. Здесь происходит борьба страстей, мнений, чувств.

В нечеловеческих условиях фашистских лагерей Эйжен Верерис находит истинных борцов. Не жертвы, а именно борцов. Гуманистов в прямом значении этого слова. Поэт показывает руки фашистов в крови, руки, держащие автомат у ворот больничного блока, руки колесных убийц. И руки спасения, рука доктор-бойца.

В грубых тяжёлых руках
Автомат
У ворот больничного блока.

Белые руки холёных убийц
Проводят эксперимент над нами.
Записывают и списывают людей.

Вчера ещё эти руки
Впрыснули
В вены героя Бреста
Вензол.

А у нашего врача,
Клейменного, как все мы,
Ни лекарств,
Ни бинтов
Ничего.

У него только добрые руки спасения.
И мы живы.
Давне в омуте безнадёжности,
Прозванном нами мертвецкой.

И выживем.
Ибо есть на земле эти руки...

В книге Эйжена Вевериса много примет быта, подробности, которые складываются в страшную по своей сути картину, именуемую «обыкновенный фашизм». Вот миниатюра, как бы стихотворение в прозе «Картофельная шелуха»:

Я богат, словно Крез, как Ротфельдер,
Почти так же богат, как обершпиз,
У меня есть целая сигарета.

Я могу выйти на чёрный рынок за блоком,
Где можно выменять сигарету на все, что угодно:
Судочек супа, кусочек хлеба, граммы маргарина,
Там сиют организаторы и те,
Кто за единственную сигарету
Отдаёт единственную жизнь.
В тот день улыбаюсь мне счастье,
Свою сигарету я выменял
На миску прекрасной картофельной шелухи.
Шёл я в блок, приказав груди сполна богатство,
Видя жадно терпковатый аромат.
Королевская пища!
Несколько кружков шелухи я уронил,
Их подхватил и съел
Долговязый профессор из Вудапешта.

Продолжением и дополнением этой картины может служить стихотворение «Сигаретка». Оно достоверно и, казалось бы, лишено пафоса и окрыленности, свойственных поэзии.

У меня найдёт на сердце
Красный треугольник
С буквой Л
Чех коснулся буквы пальцем:
— Латыш!
— Латыш.
— Рига?
— Рига.
— О, Рига! —
И чех мне дарит
Сигарету.
Рига! Рига! Рига!
Благословлю луч твой.
Здесь, в чёрных топях смерти!

Последние строки здесь о Риге, о том, как ее луч благославляет человек, находящийся «в черных топях смерти». Эти стихи выводят и это стихотворение и другие образы книги на новую орбиту, они переходят от быта к бытию, от подробностей жизни к самой сути ее, к судьбе человека и человечества. А именно этим пафосом и жива вся книга Эйжена Вевериса «Сажайте розы в проклятую землю».

Поэт изнутри, очень лирически и предельно жгуче показывает, как обречённые на смерть люди жаждут жизни, как борются за нее и как погибли в этой борьбе. Эйжен Веверис показывает великих рядовых этой борьбы. Вместе с тем он напоминает всем из-



Рисунок
А. Станкевича
к книге
стихов
Э. Вевериса.

вестные славные имена людей, прошедших ад фашистских лагерей: на страницах книги показан генерал Карышев и полковник Маневич, оба — Герои Советского Союза. Они — узники Маутхаузена — руководили Сопротивлением, одним из участников которого был и Веверис.

Лишь несколько десятков узников-латышей вместе с ним дожили до дня падения Маутхаузена — 5 мая 1945 года. Тогда, человек высокого роста, Эйжен Веверис весил сорок шесть килограммов.

С тех пор прошло более четверти века.

Бывший узник Маутхаузена не спешит с воспоминаниями. Они отлежались в глубинах сердца, они стали поэзией. Старый народный учитель, писавший всю жизнь стихи, стал поэтом. Еще один пример того, как становятся поэтами не погому, что пишут стихи. Это делают многие. Но только сильное переживание находит в слове сильное воплощение. Так происходит трудная добыча грамма поэтического радия.

Сама жизнь в кристаллах образов сверкает перед нами. Слово, помимо информации, помимо своего прямого значения, отсвечивает десятками и сотнями граней. Это и есть поэтическое восприятие мира.

— Что ты смотришь так на колючку. Дауэно?
— На ней избавление.
— Там ждёт смерть!
— Смерть — наша добрая мать.
— Жизнь — наша добрая мать, Дауэно.
Ты видишь
Цветы на альпийских лугах!
— Я вижу лишь выжженную землю Маутхаузена.
— Ветер несёт нам с волн
Тонкие запахи хвой
— Мне ветер приносит лишь пепел
Из печи-торжария.
— Слышишь.
Над нами жаворонок поёт,
Слышишь,

Гремит водопад.
 Ты чувствуешь вкус его?
 — Я слышу лишь топот СС
 И как строчит автомат.
 — Дуэли!
 Обонься на меня,
 Я еще в силах стоять.
 Мы еще выйдем на свет!
 — Сегодня?
 — Нет.
 — Может, завтра?
 — Нет.
 — Когда?
 Ночью он бросился
 На колючку.
 На ток высокого напряжения.

Судите меня, товарищи!
 Я Дуэлино не удержал.

Эпизод рассказан очевидцем. Но очевидец — поэт. И это объясняет, почему из столба лагерной хроники стихотворение перенесено в план морально-психологический. Более того — в социальный, в гражданский, хотя нигде Эйжен Веверис не прибегает к звонким трубам риторики и дидактики. Ему это не нужно. Поэзия действует убедительней восклицательных знаков.

Книгу надо читать целиком. Здесь я знакома слушателем с избранными ее страницами. Сказать о стихах Эйжена Вевериса, что они хороши или даже прекрасны, значит мало сказать, ничего не сказать. Сугубо литературные определения здесь недостаточны. Эти стихи меня потрясли. В этих воспланенных стихах говорит не только Эйжен Веверис. Говорят погибшие. Словно они заведомо смол голосом. Запедали свои думы и чаяния. «Доживи, расскажи за нас и за себя!»

Без украшающих эпитетов, без желания навевать ужас и страх поэт говорит с людьми. Он говорит на своем родном, латышском языке.

На русский язык стихи Эйжена Вевериса перевел поэт Григорий Горский. Книга «Сажайте розы в проклятую землю!» вышла в оформлении художника А. Станкевича по-латышски и по-русски. Проникшись образами оригинала, высоко оценив антифашистскую суть книги латышского поэта, его собрат, русский поэт, заботливо и взволнованно воспроизвел ее в стихах русской речи.

Книга «Сажайте розы в проклятую землю!» дает почувствовать, что ее написал латыш-антифашист, человек, воспитанный латышской поэзией, ее дайнами, ее классикой. В книге есть стихотворение, которое называется «Народные дайны»:

Дампочка еле мерцает в бараке,
 Мгла поглотила альпийские вышши,
 В блоке больничном немецким товарищам
 Пишу народные песни латышские.

Стоит на миг оторваться от строчек,
 Тень и смерть вновь глаза мои лижут,
 Шел я недолго леском серебристым,
 Сириняч мои нары, тверды, как булыжники.

Рысы глазища опасности смотрят
 В окна, и гибелью пахнет отчаяние.
 В омут страданиях детит, словно индия,
 Древние песни — латышские дайны.

В книге, конечно лишенной литературщины и притястности, есть очень важное для понимания образов Эйжена Вевериса стихотворение «Райнис в ночи». Оно органически входит в книгу и является одной из красок на большом полотне.

Так редко можно светятся звезды
 Над сильно ночного Дунаю!
 Я Дуэли, парню из Нимы,
 Райниса строчил читаю,
 Устало бредом мы из шахты,
 И жизнь в нас закоченела,
 И смерть в нас рядом ступает,
 И муча и тьма без предела.

Бредом... Так на «Острове мертвых»
 У Веклина муча шагала.
 Вдруг песню запел итальянец,
 Что пел он когда-то в Ла Скала.

И звезды искрятся над нами,
 Мигают ночному Дунаю,
 И я партизану из Нимы
 Райниса строчки читаю.

Сердцем и мыслям возвращаясь к Латвии, поэт вместе с тем выступает как интернационалист. Фашизм показан в книге как враг не только латышского и русского народов, но и всех народов земли, в том числе и немецкого.

Мне поспешивая прочитав перевод книги Эйжена Вевериса еще в рукописи. Как мне хочется, чтобы образы этой книги вошли в каждый дом, в каждое сердце! Жесткие и жестокие слова имеют добрую подоплеку. Борьба против фашизма требует мужества от себя и от других.

В стихотворении, посвященном Эйжену Веверису, латышская поэтесса Мирдза Кемпе говорит:

Не умею я жалеться,
 Только жизнь моя — клятва!
 Смогу ли когда
 Искупить я все то, что вынесли люди,
 И обнять всех людей, и правду обнять,
 Что во веки веков каменной не будет?
 Тем, кто может подняться выше смертей,
 Послужу я строкой и делами своими.
 (Перевела Л. Романенко)

Эйжен Веверис написал новую книгу стихов, «Человек идет за солнцем», продолжающую и развивающую образы первой его книги. В стихотворении «Большой кричит» сказано:

Большой людей — наша боль,
 И поэту мы в силах
 Ее утешить.

Это голос сострадания и мужества: одно без другого жить не может. Оба имеют один исток — человечность.

Есть плата за ужас,
 И плата за мужество,
 Плата за радость,
 И плата за горе.
 За все, за все платим:
 Чистым золотом сердца...

И далее — в концовке этого стихотворения:

А то,
 За что дорого платили,
 Не отдали никому
 И вовек.

(Перевел Г. Горский)

Огонь все превращает в пепел. Только не дух, только не душевныеклады человека. Поэзия — запечатленный образ этого духа, этих душевных кладов. Она способна возвращать жизнь тем, кто был насильственно лишен жизни. Поэзия Эйжена Вевериса убеждает в этом.

Сожженные, испепеленные, загубленные люди, казавшиеся бы, стертые с лица земли, чудом действительно возвращаются через поэзию к жизни. Через сердце поэта к сердцам живущих. Если погибшие доверили поэту свои думы и нерешивания, они имели на это право. И добавлю от себя — они не ошиблись.

Слова этой книги прожигают бумагу, на которой начертаны.

Поэзия, рожденная огнем, сама же и дает огонь.

Лес ОЗЕРОВ



...И Россия —
мать родная —
Почесть всем отдаст
сполна.

Прекрасным, глубоко человеческим качеством «Крымских тетрадей» является то, что сам автор занимается в них исключительно скромную позицию, хотя читатель легко поймет: он, Илья Вергасов, отнюдь не последний в ряду изображаемых героев! Но главное свое внимание он отдает другим, и до чего же сильно впечатление производит этот скромный, лишенный декорных белибергистических украшений рассказ! Томенко, Якунин, Терлецкий, Поздняков, летчик Филипп Филиппович, Зинченко, дед Кравченко... Сколько разных и прекрасных людей!

В книге немало страниц, потясающих своим сдержанным драматизмом. Быть может, в особенности это стоит сказать об истории аварии самолета, приземлившегося в расположении партизан, попыток исправить его и последующего подвига Филиппа Филипповича. Война здесь показана той тяжелой работой, какой она и была в действительности. Автор не делает никакого акцента на ее ужасах, но правдиво передает ощущение невероятного, ежедневного напряжения, огромных усилий, которые, увы, далеко не всегда сразу окупаются.

Мы справедливо заботимся о воспитании патриотизма, но во имя этого порой сгорча поддерживаем произведения, где эта благороднейшая задача лишь голословно провозглашается или даже, увы, решается спекулятивно, когда, по ироническому выражению поэта, герой «с удачей постоянной... русскою ложкой деревянной» воевал, «француз уложив».

Книга же Илья Вергасова в самом деле пронизана суровой и драматической поэзией воинского подвига, поэзией патриотизма.

А. ТУРКОВ

дился и вырос в небольшом чукотском селении на южном берегу залива Креста. Село называется Уэльналь, что по-русски означает «инжил», «любовь». Вероятнее всего — целую книгу.

Перелестывая страничку поэтического сборника, я вспоминаю многих людей, жизнь которых неотделима от истории Чукотки. Богород-Тан... Я слушаю его песни и читаю его произведения от старой, дореволюционной Чукотки, Федор Тынытэгин, первый чукотский поэт довоенных лет. Я вспоминаю, как художник Вуквол прекрасно иллюстрировал книжку Тынытэгина «Сказки чаучу». А вот и первая конференция литераторов Севера в 1961 г. под Ленинградом. Здесь мы слушали стихотворения Антонины Мымтайаль и Витора Кеулькута. Со студентами-чукчами, приезжающими учиться в город Ленина, я встречаюсь почти ежедневно. Каждый раз что-то новое о чукчах и родной Чукотке я узнаю с Юрием Рытхуу. А теперь, дорогой мой читатель, пришла очередь очень кратко рассказать о киннике Михаила Вальгирина, мужественного и отважного охотника, попавшего в хирургическое отделение больницы после того, как он обморозил ноги в забуренной тундре.

Все настоящее Чукотки связано с именем великого человека. Если бы не революция, не было бы и стихотворений Вальгирина, как не было бы члена президиума Верховного Совета СССР чукчанки Лины Григорьевны Тэнель. Теперь на Чукотке есть не только охотник, зверобой, учитель и врач из чукчей. Есть и рабочий. О нем пишет поэт:

Когда опускается
и медленно утлыывает
за линию горизонта,
подчеркивающую
село, —
к дому, что в самом
центре
маленького поселка,
к дому, что в центре
мира,
рабочий идет
человек.

Михаил Вальгирин поэт необычный. Он меньше всего сидит в своем рабочем кабинете, нет ему возможности бывать в больших библиотеках или разбирать старые архивы. «Каждое лето едва береговые льды отойдут в море, поэт занимает свое рабочее место на борту охотничьего вельбота. Теперь он стрелок-охотник, о стихах вспом-

ЧЕСТНО, СУРОВО — О ПОДВИГЕ

«**К**рымские тетради» Илья Вергасова («Советские писатели», М., 1971) посвящены партизанам Великой Отечественной войны. Признаюсь, редкую книгу я читал за последнее время с таким волнением, интересом и ощущением полной

шей достоверности всего изображаемого автором. «Крымские тетради» по справедливости должны встать в тот же ряд, что и «Люди с чистой совестью» П. Вершигори и «Герои Брестской крепости» С. С. Смирнова, ибо все они вдохновлены желанием, прозвучавшим еще в годы войны в «Василии Теркине»:

День придет —
еще повстанут
Люди в памяти живой.

ПОЭТ ЧУКОТКИ

Я получил книгу «Вальгириды уходят в море», вышедшую в Магдане. Автором ее является молодой чукотский поэт Михаил Вальгириг. На титульном листе помещена фотография тридцатилетнего сына Чукотки, потомственного зверобоя Вальгирина, который, как написано в предисловии, «ро-

нит лишь с окончанием промысла». Многие стихотворения сборника посвящены природе, суровому краю, борьбе простых людей с разбухшим морем. Перелистывая старинный сборник, мы словно рядом с поэтом шагаем вдоль новых деревянных поселков, заглядываем в маленькие классы чухотских школ, смотрим на совсем маленьких граждан в детских садах и детских яслях.

Песни Вальгирина поют в поселках Чукотки. Дошли они до Магаданской книжной выставки. Много пришлось поработать переводчикам В. Сергееву и А. Пчелкину.

М. ВОСКОВОЙНИКОВ

ЧЕРЕЗ СОРОК ЛЕТ

Вышла новая книга о Николае Островском. Почти через сорок лет после появления повести «Как закалялась сталь» наш сравнительно молодой современник Л. Аннинский написал о ней книгу («Художественная литература», 1971). Лично я давно и с интересом ждал ее появления.

Поясно, в чем дело. О Николае Островском и его повести «Как закалялась сталь» не существует большая литература. Литературеды и критики старшего поколения много сделали для изучения творчества любимого писателя молодежи, в объяснении социальной обусловленности успеха его произведения. Автор новой книги Л. Аннинский с приятием оспаривает о своих предшественниках, но в то же время расчищает плацдарм для современного поколения читателей. Он пишет о повести «Как закалялась сталь» как о предвещании поколения, шестидесятых годов, хорошо потому, что в разгаре этого замечательного произведения, о котором он пишет, в литературе, в духовной жизни общества он отошел от привычной меры вещей, ему это было легче сделать, чем представителю старшего поколения, впитавшему в эту эпоху, отзвуки которой доносятся со страниц повести.

То есть в данном случае важен взгляд на этот литературный феномен из нового времени.

Вероятно, какие-то положения в книге Аннинского вызовут споры, но сам нетрадиционный подход автора к явлению, сама попытка про-

честь «Как закалялась сталь» в непрерывно движущийся и изменяющийся миротворческий процесс событий представляются вполне плодотворными.

Понимание не традиционного в композиции, в характере критического разбора, в стилистике, в манере писателя, но влеченное, хорошо читается. В ней три главы: «Успех», «Текст», «Судьба». Первая часть посвящена истории создания и жизни произведения Н. Островского, выявляет природу успеха, идейный контекст эпохи, в котором возникла повесть. Автор приводит интересные данные для определения места произведения в духовной жизни народа. Необычность, нетрадиционность повести Островского объясняет и длительное в свое время молчание профессиональной критики. Хотя «Как закалялась сталь» сразу же захватила читательские массы, выявила у них огромный интерес.

Л. Аннинский убедительно доказывает своего рода уникальность книги. Это произведение, справедливо утверждает Аннинский, нельзя представить «искусственным», написанным иначе.

Не менее интересно рассматривается движение «стали» в повести. Это наблюдение дает хорошую аргументацию к общему тезису о новаторстве произведения: структура повести, откровенная верная канона старой литературы, несет в себе новый закон». Свободно и широко написана третья глава книги — «Судьба». Сопоставляя Павла Корчагина с героями Диккенса, Понсовского, Толстого, автор делает очень любопытные выводы о типе героя в литературе XX века. И в то же время Аннинский не забывает о характерности, неповторимости уникального образа Корчагина. Словом, это свежая, современная книга об Островском и его повести, которая и сейчас, спустя сорок лет после своего появления на свет, продолжает вызывать интерес молодежи чуть ли не во всех странах мира.

Ал. МИХАЙЛОВ

МУЗЫКА, СЛОВО, ЭПОХА

В книге «Модест Петрович Мусоргский. Литературное наследие. Письма. Биографические материалы и документы» (Москва, «Музыка», 1971) публикуются все найден-

ные на сегодня письма великого русского композитора и масса новых, ранее обнаруженных документов.

Читатели практически впервые имеют возможность познакомиться с чисто литературными произведениями Мусоргского. Не случайно многие прогнозы о будущем развитии искусства шестидесятых—семидесятых годов прошлого века говорили, что если бы Мусоргский не стал композитором, то он непременно стал бы писателем, близким идеям и по литературному стилю и творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина в первую очередь.

По сути дела, это том литературного наследия Мусоргского есть публицистические портреты жизни искусства России с 1857 года (тогда Мусоргскому было восемнадцать лет) по 1881-й — год его кончины. Искусство и время питали и формировали творчество, стимулировали, определяли его новый, реформаторский путь в музыке.

Буквально на каждой странице встречаем удивительные детали, отмечающие важные этапы жизни Мусоргского, концентрирующие внимание на рождении его музыки. Дело в том, что, делая почти без музыкальных черновиков. Обычно на нотную бумагу ложились характерные строки, законченные музыкальные мысли и образы. Путь же к ним, собственно черновики — именно в его литературном наследии, прежде всего в письмах. Разбор либретто оперы «Хованщина» становится интереснейшим экскурсом в историю России, анализ характерных действующих лиц — исследованием драматургии и нравов (добавим здесь же злобные «Ненятные» «Раенки» и «Песни и пляски смерти», крестьянские песни). «...Какая негодимая... руда для хвастыни! Настоящее! Го жизнь русского народа!» — в этих словах Мусоргского выражен смысл его творческой борьбы.

Корреспонденты Мусоргского — В. Б. Стасов, И. Е. Репин, Н. А. Римский-Корсаков, Л. И. Шестакова (сестра М. И. Глинки) и много-много других чрезвычайно интересны не столько в какой-то трети прошлого века. Встреча с Мусоргским — это и встреча с ним, с ним самим, с присутствием читателя при диалоге не просто интересные — они обогащают каждого из нас.

Наталья ЛАГИНА

АВТОРУ БЫЛО 14 ЛЕТ...

Эта совсем тоненькая детская книжка (М. Гринин. Письма. Поход идет в Ростов. Поход идет. «Детская литература», 1971) необыкновенна тем, что написал ее четырнадцатилетний мальчик. Звали его Михаил Гринин. Став старше, он продолжал писать — прозу и стихи, много читал. А в 18 лет, когда вступил в армию, погиб в результате несчастного случая.

Обычно, когда выходит книга человека, уже с трагической судьбой, и такому произведению невольно бывает более приподнятое нестроевое отношение. Книжка Гринина хороша сама по себе, в разговоре о ней не нужны сидни на печальном романтическую судьбу автора.

О чем она? О самом простом: многодетная семья живет в парке, где к бабушке, у которой сад и абрикосы. Лунавая новизна восприятия, нежданность опыта, там, как эта книга началась. Дети получают телеграмму: «Абрикосы осыпались». Выезжайте немедленно! И из этого собственного зерна вырастает сюжет — задан всей книге, бытовой, великой, мировой, человеческого смысла этого слова. Естественность таланта — такое ощущение возникает у читателя.

Ситуации и образы живые, не книжные, не подражательные (что было бы даже извинительно в первых творческих пробах).

Вот Натка, сурово руководящая братьями. Перед посторонними она становится кроткой девочкой, а оставшись на пароходе с братьями без мамы, дерзнула устроить дело, решительно. Она может быть и лиричной, что с удивлением обнаруживается в рассказе, от лица которого ведется рассказ. Так же верен портрет мамы (у нее болят ноги, она не может ходить, всякие усилия, происходящие с ее детьми, — и это трогательное наблюдение сделано с улыбкой понимания).

Наверное, было бы неплохо, если бы все книги для ребят младшего возраста были написаны на таком же профессиональном уровне, как эта, созданная в детстве хороших членов семьи, которую осталось еще несколько публикаций стихов и добрая память о нем у многих и многих людей.

Т. ЕФРЕМОВА

ЛИЦА ЭПОХИ

Книжку я взял в дорогу. Из одиннадцати ее авторов десятих я знаю многие годы. Ждать от них можно готовности к спору, точного и своего слова, рапсодической несхожести опыта, знания, суждения. Путешествовать в таком кругу — редкое удовольствие.

Книга называлась — «Эпоха в лицах». Составили ее очерки журналистов «Комсомольской правды», объединенные счастливым и будоражащим замыслом, какие никогда не даются одному. Замысел: рассказать о советском времени, о пути нашего комсомола. Так, чтобы в каждом из очерков узнавали себя сразу миллионы. Об этом хорошо сказал в предисловии главный редактор «Комсомольца» Б. Панкин:

«...Когда мы оглядываемся на прошлое, то видим не только события, не только имена, но и типы людей.

Юношмы — так называли первых самых первых комсомольцев. О них, до того как принес свой очерк Валерий Аграновский, мы знали, пожалуй, меньше всего. А сегодня они стоят перед нами как живые. И мы ясно представляем себе: как они выглядели, что они делали. Как говорили, каким был их характер, внутренний мир.

И вот уже выстраиваются в шеренгу за юнком чоновцы, рабфаковец, селькор, первооткрыватель, солдат Отечественной... История, прошедшая перед нами в именах и событиях, возникла вновь в типах людей, созданных временем и служивших ему».

Есть журналистские замыслы, не забытые с быстротечной судьбой газетной полосы. Горький и публикации 36-го дали «Ден мира» — один день планеты через репортаж, интервью, факт, объявление. Через двадцать лет известицы возродили замысел, и снова сборник шел нарасхват. И вот «Эпоха в лицах». Разве не разительна эта мысль об определении типа, рожденного точным временем, новой возможностью, новой задачей?

В Бутыльме, перед посадкой на местную «аннушку», я запрятал

книжку в портфель. А через минуту меня познакомили с парнем, приветившим этой «аннушкой» из Казани:

— Комиссар студотряда.

Очерки-филолог прилетел договариваться об объемах работ, о пищебюлке и графиках поставки бетона. И, смотрите, как же быстро жизнь обмяла официальный титул «комиссар студенческого строительного отряда» в энергичные два слова, как точно подверстывал этот новый тип в лица эпохи! Нет, право, в дороге стоит читать публицистику...

Одиннадцать журналистов рассказали об одиннадцати типах советского времени. Одиннадцать очевидцев (юнком Мильчаков, поллярник Папанин, космонавт Вольнов и другие не менее замечатель-

перевес над обывательской — мысль книги, ее советская филология.

Разумеется, что где-то рядом уже вытаскивается из-за пазух и контраргумент: «Сильны стадом, держатся типом. А личностью!» Я приведу только один отрывок из очерка Д. Поляновского «Чоновец».

«Ребята схватили в избе, где они остановились переночевать. Они спали «валетом» на печи. Выдавших их хозяин избы считал их братом и сестрой.

В той же избе на глазах у связанного Саши Кудряшова бандиты дико надругались над Катей. Кудряшову заткнули рот, но он каким-то образом ухитрился языком вытокнуть капля.

— Катя! — крикнул он. — Не думай о них! Не думай, слышишь, они уже мертвецы! Я тебя люблю, Катя!

Его ударили прикладом в лицо. Он выплюнул кровь и зубы.

— Я тебя люблю, Катя!

Это были его последние слова и последнее, что слышала Катя Бойко в своей жизни».

На их похороны говорили: «Чоновцы». А это были еще Саша и Катя. Как был на них кто не похожий Усыскин (очерк И. Зюзюкина) — стратонавт, как остался неповторимой любовью каждого Гагарин (очерк Я. Голованова) — космонавт. Типы, служащие идеальному и им вызванные к борьбе, создают такое богатство духа, такие высоты оптимистических трагедий, до которых никогда не поднялся «одиноким в толпе».

Вот так обыкновенная журналистская книжка (плюс масштаб ее замысла, плюс одушевление, замыслу отданное) становится участницей самых сложных споров века. Заражает и вас возможностью большей зоркости к текущему, большей преданности революционным идеалам.

И об одном только еще типе, не попавшем под обложку, хотелось бы сказать. Одиннадцать журналистов, авторов «Эпохи в лицах» — это десяток профессий. В предгазетной поре они — юрист и инженер, фронтовой разведчик и комсомольский работник, капитан батареи и учитель. В газетную пору они же — организаторы пионерских клубов, добровольные следователи, участники медицинских экспериментов и сельские опытничи. Об этом, о новом типе пишущего, тоже можно было многое рассказать.



ные люди) засвидетельствовали в кратких заключениях верность типов. И как же много сказало в одиннадцати абрисах о революционном динамизме пятидесяти лет!

Целый век мог тащиться и «народить» то ли буржуа-нувориша, бэббита и форсайта, то ли вечно го пасынка Онегина. Вспыхивали в нем созвездия просветительских умов и декабристских мятежников, гарибальдийцев или народо-вольцев, но надо ли напоминать ленинское о том, как «узко» круг этих революционеров? и, стало быть, далек этот взлет духа и воли от кристаллизации в типе?

А скромная книжка сегодняшних журналистов знакомит нас с истинными типами идеальными в высоком смысле людей. Да еще и неполная, разомкнута, развернута в будущее эта типология. Динамизм положительного, массовость мужества и добра, их решающих



**ЮРИЙ
КОРТНЕВ,**
мастер
московского
завода
«Динамо»

ЗАНОЗА



хотел бы поговорить с тем, кто, покинув школьные стены, никак не доберется до наших заводских проходных. Где растворились вы, ребята? И кто больше потерял в этом странном физическом вакууме — мы, не дождавшиеся смены, или...

Но не будем приписывать самих себя по пути к выводам. Начнем по порядку.

КАК БЫВАЛО

В Москве в январе — феврале 1942 года поступить на работу было не так-то просто. Заводы и фабрики осенью 1941-го почти полностью эвакуировались на восток страны. Остались в прифронтовом городе только отдельные цехи, участки или мастерские.

Я пришел в отдел кадров «Н-ских фронтowych авиаремонтных мастерских» и еле уговорил взять меня на любую работу. «Хоть на какую, лишь бы в рабоче».

Мне дали в правую руку тяжелый молоток, в левую — огромное (по моим тогдашним представлениям) зубило и послали на площадку за ангар, где стояли потерпевшие аварию наши самолеты, в основном штурмовики «ИЛ-2». На их крыльях сидели два или три десятка мальчишек и девочек в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет и, словно дятлы, стучали молотками. Они срубили зацепки на пробитых снарядами листах обшивки машин.

Работать нам приходилось под открытым небом. То шел мокрый снег, то ледяной дождь. И всегда гулял ветер. Холод от сырого дураля пронизывал нас сквозь, несмотря на ватные брюки и телогрейку. Валенги были не у всех. Шерстяные свитеры давно уже наши родители обменяли на картошку. Застывали пальцы, и зубило часто валялось из рук. А варежки приходилось снимать, ибо удерживать в них, мокрых, ребячьими руками тяжелый инструмент было попросту невозможно.

Но все это была одна беда. Другая заключалась в том, что на первых порах у нас, конечно, не было никакой сноровки в работе. Поэтому на каждые два удара молотком по зубилу приходилось четыре удара по собственной левой руке, и скоро большой с указательными пальцы превратились в сплошную кровотокающую рану.

Сколько раз, бывало, хотелось бросить все к чертовой бабушке и убежать домой к маме. Но удерживал стыд: другие-то не убегали. Удерживало то, чем жила все мы тогда: ты помогаешь фронту, ты помогаешь отцу и старшему брату.

Видимо, потешное зрелище представляла собою наша компания, когда мы сообща шли в столовую или так просто собирались на пятиминутный разговор (отнюдь не на перекур — никто из тех двух-трех десятков работавших со мной тогда сверстников не курил). Смешно, наверное, было смотреть на нас со стороны. Потому что каждый старательно прятал свою левую руку в карман, чтобы другие не смялись над его неумелостью. А наши девочки засовывали свои левые руки за телогрейку, благо они у них застегивались на левую сторону.

И хотя наша «однорукая» команда, надо полагать, выглядела комично, нам самим было, ясное дело, не до смеха.

Проглотив наскоро в столовой миску жидкой мучной загирухи на первое и кусочек омегата из яичного порошка на второе, мы успевали еще и потолкаться и побегать друг за другом вокруг ангара, покуражиться перед девочками. Короче, мы проделывали все, что и положено делать мальчишкам в четырнадцать-пятнадцать лет.

Но случались минуты, когда мы все разом оставляли даже работу. Происходило это тогда, когда со взлетной полосы из-за ангара доносился могучий, совершенно особый рев моторов. Один, второй, третий... Мы знали, что так опробуются моторы только перед взлетом.

Потом рев несколько стихал, и мы знали: сейчас пойдут.

«Свои» машины мы узнавали, пусть даже в обновленном и перекрашенном виде, сразу.

— Вон «мой» флагманом пошел! — безапелляционно заявляла кто-нибудь.

— Какой это еще твой, когда это мой! Вон у него левое крыло до половины залатано, — возражал сосед.

— А я говорю, мой!

— А в нос не хочешь? Случалось и такое.

Но работать все-таки было тяжело. Так прошел март. В апреле стало припекать солнце. Крылья побитых «Илов» просохли. Отпала нужда в рукавицах. В столовой стали раз в неделю давать «УДП» — усиленное дополнительное питание, состоящее из второго кусочка оmeлета. Светлеет на душе стало и оттого, что в какой-то неуловимый миг вдруг обнаружилось, что головки заклепок стали отлетать с первого удара, что левая рука почти совсем уже зажила и что ты сам уже можешь, как Сергей, говорить новичкам: «Да не гляди ты на головку зубила, так скорее промажешь и руку отшибешь. Смотри на жало... И бей от плеча, а не из-за спины и не сбоку...»

Пришло овладение делом, мы породнились с работой, и это было главным определением цены самому себе. Так бывает при подъеме на гору, когда долго пробиваешься сквозь мглу и туман... И вдруг все серое остается под ногами. Перед тобой одни сверкающие вершины и чистое солнце над головой.

Моя ли это только была заслуга в том, что я так упорно карабкался, сбивая руки и колени, и не повернула вспять, не убежал с завода? Конечно, нет.

Приобщился я к заводской работе по трем причинам, и именно в том порядке, как называю: — надо было защищать Родину, и все знали, что завод — это второе по значимости в этом плане поле деятельности после фронта (квалифицированных рабочих даже бронировали от мобилизации);

— нельзя было болтаться без дела;

— необходимо было иметь рабочую продуктивную карточку, основную изо всех, существовавших в то время.

Никому в голову не приходило тогда называть человека неудачником, оттого что он пошел в рабочие. Приматом всего была необходимость. Основоположением — сознание обязательности всемерного личного участия в общем деле. Руководством к действию — обостренное понимание, что никакой обособленной судьбы у нас нет и быть не может, что судьба каждого человека всецело зависит от судьбы государства, а это — государство рабочих и крестьян.

КАК ЭТО ЕСТЬ

В том грозном 1942 году Женя Шульга еще даже и на свете не было. Не было ее и в 1945-м. Женя Шульга родилась в станице Красновардской, Ставропольского края, в 1949 году. Но это уже не столь важно. Главная речь о том, что ее, стало быть, никаким образом не коснулось целенаправленное воспитание военных лет, определяемое установкой: «Все для фронта! Все для победы!» Однако когда ей, выпускнице средней школы, предложили пойти в профессионально-техническое училище, то Женя согласилась. В училище — так в училище.

— Так сразу и согласилась? — спрашиваю я Женю.

— Нет, — отвечает, — не сразу, но особо и не противилась.

«Самое ценное в Шульге есть ее безотказность», — заявил представительный «старший товарищ». «Это как понимать? Покладистость, что ли?» «Ну, да...» — неопределенно протянул он.

У комсорта 4-го машинного цеха завода «Динамо» Женя Шульга маленький, но явно задорный нос и карие глаза, какие обычно называют лукавыми, чтобы не говорить: расмешливые.

— Для чего это вам так нужны конфликты? — хмыкнула она в ответ на мои настойчивые расспросы

об ее отношениях с администрацией цеха. — Что вы все выискиваете? Будто без них и жить нельзя...

Поневоле пришлось менять тему:

— Что даало тебе поступление в училище? Единственно из это был возможный для тебя шаг?

Женя прижала ухо к плечу. Потом склонила голову в другую сторону.

— Как видела ты свое жизнеустройство? — продолжал насанивать я вопросы. — Была ли какая-нибудь мечта?

Она пристально разгадывала меня. Бездумьем тут, ясное дело, и не пахло, хотя ответ был крайне однозначен:

— Не знаю.

Ну положим! Все она прекрасно знала и была далеко не безразлична к происходящему вокруг. За доказательствами не пришлось далеко ходить. Как раз в это время в кабинет парторга, где мы беседовали, втиснулась группа комсорт комсорта проектного института при заводе. Они без толпота, чтобы не мешать нам, прошли в дальний угол и, усевшись там вокруг стола, сразу бурно засочасались.

— Э? Это вы там о чем? — окликнула их Женя.

— Вас не касается! — отозвались из угла. — У нас тут сугубо внутринститутские дела.

— Скажите, какие особенные! — хмыкнула Женя и, торопливо извинившись передо мной, убежала в комитет комсомола на разведку.

Любопытный товарищ. Активный. Какое еще может быть тут «невозможностей», если проблемы, возникшие в соседней комсомольской ячешке, интересуют ее, как свои.

Вскоре удалось выяснить, что Женя Шульга еще в школе задумывалась о жизни. Была у нее и мечта: поступить в медицинский, чтобы стать врачом, как мама. В институт не попала. Но и домой в станицу возвращаться не собиралась.

— Город манил? — спрашиваю.

— Не очень, — отвечает. — Станица у нас хорошая...

Выяснилось, что есть в станице два кинотеатра, два Дома культуры, хороший универмаг. Людей разных много. Об обилии продуктов нечего даже и говорить.

— Может быть, вас в школе «не приучали» к земле?

Оказалось, приучали. Был даже специальный предмет — «Растениеводство». В аттестат он, правда, не входил. Парней и девушек (при их желании) учили вождению автомобилей и тракторов. Работы в колхозе «Страна Советов» для молодежи был край непочатым.

— Так что же?

— Новой жизни захотелось.

— Это романтизм, что ли?

— Нет. Самостоятельности.

А самостоятельность, прямо скажем, давалась нелегко. Профессия обмотчицы, которой училась в ПТУ Женя, требовала изрядного труда.

Но при желании все преодолимо. И когда в ПТУ-20 города Невинномыска пришла разнарядка на двадцать лучших обмотчиц для работы на московском заводе «Динамо», Женя Шульга оказалась в их числе.

— Хлебнула горя на новом месте?

— Да не очень. Конечно, сначала еле-еле обматывала за смену одну машину и зарабатывала вместе с «ученическими» семьдесят — восемьдесят рублей в месяц. Потом дело пошло. Тетя Маня Рожкова, которую мне дали в учителя, очень помогла. Под ее руководством довела дневной выпуск до четырех машин. Заруботок сразу подскочил. Знаете, я ни-

года не предполагала, что заводская работа так здорово отличается от всех других. Сначала, кажется, дышать нечем, а втянешься, и, глядя, закружилась вместе со всеми...

— А как же самостоятельность?

— Так ведь это же все надо.

— То есть?

— Ну, необходимо быть всем вместе, чтобы всегда кто-то нуждался в тебе. А если ты выпадаешь из общей карусели, то это не самостоятельность, а страшное одиночество. Для чего тогда жить, спрашивается. (Древний мудрец сказал: «Если я только за себя, тогда зачем я?»)

— Стало быть, заводская работа, по твоему убеждению, помогает молодому человеку чувствовать себя личностью?

— Да. Знаете, на заводе все как-то прочно закручено. Тут все рядом, и поэтому сразу видишь, чего тебе недостает и чем своим ты можешь поделиться с другими.

— Ты одна такая шустрая в своем цехе?

Женя заверила, что другие девочки гораздо лучше. Надя Судникова, например, или Зиборова Лена. Работают обо, как заводчане, и уже на 34 дня опережают плановое задание года.

В условиях серийного производства все это очень непростое.

Большинство ребят, которым в последнее время присваивалось звание «Лучший молодой рабочий по профессии», являются так называемыми «лимитчиками», то есть приезжими. Они же поставляют основную массу вновь принятых рабочих вообще.

— Еще бы им не любить работу, когда они выросли в деревне! — сказала как-то про них комсорг уже не 4-го, а 3-го машинного цеха Лида Зубкова. — Работу они любят и работать могут.

А жить в полную меру?

БЕГУЩИЕ К СЕБЕ

Заводская работа, как правило, ежеминутно отражает результат затраченного труда. Показывает целое или крохи, удачу или промах — и все сразу, сиюминутно. А сеятель или животновод, ежедневно вкладывая в дело свой труд, месяцами ждет результата.

Производный продукт крестьянской работы постоянно «уничтожается» — завод делает преимущественно «вечные» вещи.

Кроме того, близкое соседство в деревне труда общественного и личного, порою даже их противопоставление влияют на психику. Предполагим, дождь угрожает сну колхозному и его надо снасть. Но ведь где-то рядом лежит и так же мокнет сенное свое...

В городе молодой человек быстрее приобщается к понятиям коллектив и наш, нагляднее для него результат труда, больше разнообразных контактов.

Какая-то часть молодых должна бы в селе осесть, двигать его вперед. Но во многих местах у молодежи почти повальная мода: «только в городе». И мотивы то иной раз чисто потребительские.

Соседям пришло вон письмо от сына из города. За два месяца он сумел приобрести три нейлоновых рубашки, лавсановый костюм да импортные штаны.

«...правда, мастер на работе соки жмет. Зато вечером оделся и вышел с устатку погулять... Обратило до «общаги» доехал на такси».

Таким упомянуто в письме явно для фанфаронов. Может быть, это — упоение возможностью немед-

ленно вознаградить себя за отлаженный цивилизации свой нелегкий труд. Радость «приобщения к цивилизации», в данном случае внешнего. Но приобщение может быть и более глубоким.

Уже многие из «лимитчиков» ходят с портфелями; и администрация предоставляет им льготные дни на учебу. Бесспорно, учиться в Москве гораздо лучше. Да и жить интереснее.

— Недавно вернулась из Венгрии, — рассказывает Женя Шульга. — Впечатлений море. Побывали мы в Будапеште, Дебрецене, на озере Балатон. Жалко вот только, на заводах не были. Интересно бы посмотреть, как там работают наши сверстники. Хорошо бы еще куда-нибудь съездить...

И, конечно, она и другие ребята поедут, полетят, поплывут, ибо только на спорт и культуру «Динамо» ежегодно расходует почти 150 тысяч рублей из фонда прибыли завода. И асигнования эти будут возрастать, так как неуклонно растет прибыль. Не всякому колхозу такое по плечу.

О татге молодых людей к самостоятельности, думается, следует все-таки говорить всерьез. На заводе с четко организованным трудовым процессом человек зависит только от работы. А с работой любви молодой человек, вдобавок сымзальства к ней приученный, охотно потягивается. Да и с житейской независимостью в городе легче. В конце концов накинута плащ да и ушла куда глаза глядят, и никто назавтра не станет судачить у колодца, с кем был и куда ходил.

Я не пытаюсь решать здесь деревенские проблемы. Но вот что бросается в глаза: бегущие «от земли» в наш век бегут к себе, к большим возможностям самораскрытия. И это обстоятельство заслуживает серьезнейшего изучения.

НАША НАДЕЖДА

«**В**ся наша надежда поконтится на тех людях, которые сами себя кормят». К сожалению, доска с этим изречением очень мала по размерам, хотя и висит она в центре Москвы, далеко от заводских районов.

— Да и вообще у вас там лишь только план да план, — говорил, объясняя мне свою позицию, один из неизвестно куда «канувших» молодых людей.

— Нет, главное не план. Но в этом главным является — план...

— Уныло это.

— Может, и уныло, если быть равнодушным к работе. А если стать равнодушным ко всему, что не работа?

Видели б вы, как красиво бывает увлечение работой!

Недавно замечаю, фрезеровщик Валя Иванов сунул палец в рот.

— Проглодался, что ли? — спрашиваю.

— Запозу засадил! — отвечает.

— Так вытирай.

— Сейчас. Вот только перегоню вал на длинный паз и, пока фреза будет по нему идти, я и вытасую эту подлую запозу.

Это ли не одержимость! Стремление извлекать максимальную пользу из каждой минуты своей работы. И одновременно вера в свою значимость для других. (Сохранялись ли у него такие черты характера после института?)

Сосед Иванова, токарь-операционщик Николай Сергеевич, стоит на зачистке галтелей. Обязательно, он облагораживает переходы с одной шейки вала на другую. Делает канавки, выводит радиусы, снимает фаски, зашкуривает.

Чтобы выполнить свой личный план, Коле Сергеевичу нужно обработать примерно двести валов в смену в пересчете на средний по размеру вал. На каждом он делает: фаска, канавка, фаска, радиус — фаска, радиус — фаска, фаска — нарезает вал, измеряя по шаблону, руки его в движении — левая ведет продольный суппорт, правая — поперечный, спина в движении тоже. Кроме того, он периодически сбрасывает стружку с изделия и со станка, зачищает и меняет резец, подвигает ближе к станку стойки с валами. Легко можно высчитать сумму его движений и напряжений за день, месяц и даже за пятилетку.

Говорит мне раз Коля Сергеевичов:

— ...Уж снятся мне по ночам эти валы!

— Но делать-то их надо...

— Знаю. А то пропадут ведь люди без трамвая и метро... Одних только подметок сколько зря стопчут, страшное дело!... — добавляет он и хитро улыбается.

Улыбка у него редчайшая. Зарождается где-то в сердце, ползет грудью, принуждая хмуриться, и вдруг

выплевывается на лицо волной румянца от подбора до лба...

Профессор Симонов Павел Васильевич в статье «О чем рассказывает улыбка» утверждает: «Сейчас стало очевидным, что подлинную основу личности составляет совокупность потребностей и мотивов. От вопроса, как совершается то или иное действие, современная психофизиология все решительнее переходит к вопросу «кто имя этого?».

Ну, это не бог вест как ново. Именно зная во имя чего, мальчишки и девочки 42-го, голодные и холодные, собитыми руками, работали на заводах по 10—12 часов в сутки и находили в этом высший смысл.

Ничуть не хуже их ребята 72-го — Женя Шульга, Ваня Иванов и многие другие. Стало быть, у нас есть кому нести рабочую эстафету. А наше кровное дело — всеми силами поддержать ребят на этом трудном, но очень правильном пути.

А пока еще — тоже занозой — сидит в нас тревога о смене, о тех молодых, что прошли мимо заводских ворот.

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, ДОМ 11



В ЭТОМ ЗАДАНИИ С 1927 ПО 1931 ГОД РАБОТАЛ
ВЫДАЮЩИМСЯ СТРАСТНОЙ И УРАЛИСТ
ОСНОВАТЕЛЕМ И ГЛАВНЫМ РЕДАКТОМ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ

МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ
КОЛЬЦОВ

Михаил Кольцов начал писать в девятнадцать лет. Шел бурный 1917 год, и, чтобы рассказать о революционных событиях, надо было в них участвовать. Этому принципу — участвовать в делах, которые описываешь, — Кольцов следовал всю свою журналистскую жизнь.

В послеоктябрьской истории нашей страны не было, пожалуй, ни одного мало-мальски значительного события, на которое Михаил Кольцов не откликнулся бы талантливым очерком, увлекательной корреспонденцией, острым фельетоном. Он много эздил по стране и за ее рубежами. В поле его зрения была и политическая жизнь молодой социалистической республики, и героический труд советских людей, и строительство нового быта, и важнейшие явления культуры. Собирая материал для своих выступлений, он вел в школе уроки литературы, был таксистом, оформлял браки и разводил в загсе. Он едко высмеивал бюрократов, карьеристов, бездельников, всех, кто по-чиновничьи относится к порученному делу, всех охотников поживиться плодами чужого труда.

Когда в Испании началась вооруженная борьба с фашистской контрреволюцией, Михаил Кольцов, военный корреспондент «Правды», находился на самых горячих участках фронта. Так родился его знаменитый «Испанский дневник».

Член редколлегии газеты «Правда». Соредактор (с А. М. Горьким) журнала «За рубежом». Редактор журнала «Крокодил». Редактор журнала «Чудак» («Считаю Вас одним из талантливейших чудаков Союза Советов», — писал Горький). Это все — Михаил Кольцов.

Михаил Кольцов — это и журнал «Огонек». Он был его основателем и первым редактором еще тогда, когда редакция «Огонька» находилась на Страстной бульваре в доме 11.

В память выдающегося советского журналиста и писателя Михаила Ефимовича Кольцова Правление Московской организации Союза журналистов СССР, Правление Московской писательской организации и Главное управление культуры Исполкома Моссовета установили недавно на доме № 11 по Страстной бульвару мемориальную доску.

Яков Козловский



Арена

Как же, как во времена гекзаметра,
И сегодня на кругу крутом
Кто-то оплошал и рухнул замертво,
А другой — уходит со щитом.
Небеса диктатору потрафили,
Но, в своем отечестве пророк,
Смог стяжать, наперекор анафеме,
Гладиатор лавровый венок.
Рев трибун. На карте жизнь и золото,
Ждет ли смерть торреро самого
Или будет в должный миг проколот
Бычье сердце шпагою его!
Видят звезды, выходя сумерничать,
Что мужи, рискуя головой,
Вправе из-за женщины соперничать,
Вправе из-за славы мировой.
Вечное терном и вербеною,
Поменяв коробки скоростей,
Время продолжает быть ареною
Самоутверждения страстей.
Пусть всю жизнь и в радости и в горести,
Правилам сторонних вопреки,
Будут мысли на арене совести
Неподкупно скрещивать клинки.

Неоплавленный снег

Люблю неоплавленный снег,
Увенчанный бронзою дуба,
Искрится он так белозубо,
Как будто бы девичий смех.
Сощурию глаза половец,
И, встав против солнца заране,
Увижу на белой поляне
Я сонмы зажженных свечей.
День красен, как долг платежом,
И, вклинившись между снегами,
Дорога скрипит под ногами,
Чтo спелый арбуз под ножом.
Уста наши схожи с костром,
Когда свое сердце мы слышим
И на руки женщинам дышим,
Их грея над снежным ковром.

Ах, чей этот промисел, чей?
Я с женщи, деревьев и поля,
Была б моя добрая воля,
Вовек не сводил бы очей.

Вершинам отзовись

Где горы, там и риск
Быть слишком вознесенным.
Пурпурный тамариск
Забыл, что был зеленым.
Где горы, там и высь,
К ней прикоснуться просто.
Вершинам отзовись,
Но не словами тоста.
Ты весел иль угрюм,
Стихов слагая книгу,
Макай слова в аджигу,
Забудь рахат-лукум!
В наследство прошлый век
Легенд оставил ворох,
В них вымысел, как порох,
А правда, как чурек.
И в дружеском пылу
Порой меж плоских кровель
Сам наяву плыву
Я с вымыслами вровень.
А ветер гонит мглу,
И взгляд мой замечает,
Как озеро качает
Недвижную скалу.
Вершины, что века,
И все полно значения,
Как преувеличенья
Заздравная строка.



Листва пожухлая, домокнув,
Лежит деревьев голых близ.
И месяц, словно меч дамковов,
Над нею в сумраке повис.
Давай листве опавшей почесть
Мы по заслугам воздадим.
И мысленно сосредоточь,
Как в карауле постойм.
Увидим май — любви всеубоуч,
Когда, обнявшись, мы с тобой
Гоняли солнца красный обруч
Озвученною мостовой.
Потом в лесу у края луга
При воцарении луны
С тобою были друг у друга
На дне зрачков отражены.



Она зимой сходила с поезда
При тусклом свете ранних звезд.
Ей было холодно и боязно,
Дорога шла через погост.
Особенно отрезок времени
Был страшен в близости могил,
Когда за соснами из темени
Навстречу кто-то выходил.
Но вскоре предавалась помыслу,
В котором вились светлячки,
Хотя поступками по мосту
Еще тревожно каблучки.
Бьются сердца равномерное
К ней возвращалось в пути,
Ждал милый друг ее, наверно,
Но к поезду не смог прийти.
И подтверждала, как завещано,
Вновь истину она,
что нас

пророчище,
Все здесь предсказывало ей.

Оружейного цеха суров
 Был обычный, согласный с поверьем,
 Что судьбою не всем подмастерьям
 Превращаться дано в мастеров.
 Не возрастало число их голов,
 И решили в тщеславье обидчивом
 Подмастерья покончить с обычаем,
 Обособившим цех мастеров.
 С накоплен, чей отсвет баргоя,
 Дружно грянуло звяканье джоуе.

**Жолон
Мамытов**



Перевел
с киргизского
М. СИНЕЛЬНИКОВ.

Кони

В зрачках конси вращается светило,
В подзорных трубах просколзнул огонь.
О родина — скажун ширококрылый,
О мой народ — неударимый конси!
Спят конси, спят, и по хребтам сутулум
Струится сон, и свет в зрачках урет.
Но в свои черед с неукротимым гулом
Готовы конси ринуться вперед.
Крылатые степные ураганы
Над полем протопчут, прогремят.
И дробью гроз рассыплются барханы,
Как в барабанных перепонках град.
Ломали копыта древние батыры,
Писали кони летописи подков,
Летели к зорям утреннего мира
Из тьмы веков, из пропасти веков.

Любить коня в степи родной подлунной
В отцовской юрте приучили нас...
Об упряжи, об утвари табунной
Я выслушал восторженный рассказ.
Я выйду в степь, и солнце загорится,
В глазах коней мгновение замрет.
Вскочу в седло, и огненная птица
В конце тысячелетия понесет.

Путешествие

В плену раздумий, на краю равнины,
Где тени бродят и блуждают джинны,
Разрушенных когда-то городов
Я воскрешаю мысленно руины.

В чадú базаров, среди столпотворенья,
С историей мне сладостно общенье.
Красавицы старинной юный взгляд
Подарен мне на краткое мгновенье.

Легки движенья, несравненные взоры,
Как струи неповторимые повторы.
Твой нежный лик иль полная луна
Вдурú населят полночные просторы!

Теченье лет и старость отрицая,
Твое лицо во тьме поет, мерцая,
И в этот час тебе посвящены
Бряцающие арфы, скрипки и сурная.

Но вдруг исчезла, скрылась в дом
саманный...

Мираж обманный, вымысел туманный...
Ну что ж, мое видение, живи
И доживи до свадьбы долгожданной.
Смотри вослед — виденью нет возврата.
И злобный взор угрюмого пансата¹
В меня нацелен, обнажен кинжал...
И вот я отступаю виновато.

Прости! В твоём столетии я гощу,
Столетие, одному тебе присущем,
В твоём жилище пищи не пишу,
И через чаш исцелену я в грядущем!
Пусть девай любования я некастни,
Но сердцем чист, на помыслах — печатни...»
Панаст был рад. Он улыбулся мне
И наш союз скрепил в рукопожатии.

Но тут мирские новые помысли,
Верблюдов тучи, караваны пыли,
И трупы воиска яростно трубили.

И вот промчалась вереница конных
В крылатых шлемах, в латах меднобронных.
И дети выкрикали имена
Своих отцов, забытых, но законных.

Сердца топтались, словно жеребята,
Ломая привязь, сотрясая латы.

На пилах старцев женщины нашли
Черты мужей, столь молодых когда-то...
И ринулась толпа тысячелетий.

И в солнечном неколебимом свете
Немое время убьестраило бег

На этой столь стремительной планете.
Поблещки цепи вымыслов досужих,
Смещение ландшафта обнаружив.

И прогремел призывное телефон —
Не звон колокольников верблюдных...

¹ Пансат — средневековый восточный воин.

Вадим Кузнецов



Ну что ж? Одной заботой боле..

А. Блок.

Ничего не случилось вокруг.
Паднет клевером скошенный луг,
где-то стонет стреноженный конь,
догорает в кострище огонь.

Ничего не случилось со мной.
Я ни в чем не обижен судьбой.
И полжизни еще впереди.
Отчего же так больно в груди!

Отчего же мне застыл глаза
беспричинная эта слеза!..



Улыбчивый,
тихий,
неяркий
закат догорает в лесу.
А я возвращаюсь с рыбалки,
трех щук на кукане несусь.

Матвейч —
как все здесь, белесый —
кричит мне с крутого крыльца:
— Да как ты их, парень! На блёсы!
— Да нет,— говорю,— на живца.

Иду мимо лавки и бани —
прямому пути вопреки.
— С уловом, вас! — оканют бабы.
— С жарехой! — спят мужики.

За мною почетным нарядом
мальцы маршируют толпой.
Я жил и работал,
как надо,
а не было славы такой.

Я знал поважнее удачи,
но что-то не помню сейчас,
чтоб дома, восторгов не пряча,
меня бы встречали хоть раз.

А здесь вот торжественно-строго,
узрев мой триумф из окна,
встречает меня у порога
моя городская жена.

Проводит за стол меня чинно,
пылинку смахнув со скамьи.
И я себя чую мужчиной,
кормильцем,
главою семьи!..



Давай махнем, Матвейч,
на Шексну —
в разлив воды, березняка и неба!
Возьмем с собой
везучую блесну,
немного соли и немного хлеба.

На шестисильной лодочке твоей
в заливе заветный на заре промчимся,
а там, быть может,
как-то изловчимся
и окопачим пару окуней!

Когда ж с умом запустим в оборот
мы тонкую рыбацкую науку,
тогда, глядишь, и заарканим щуку,
конечно, если крепко повезет.

Потом,
раздвув в затишке костерок
и котелок пристроив под треногой,
я буду слушать круглый говорок,
сознание обжигающий тревогой.

Да, жизнь прожить — не поле перейти,
не затоптав посеянное семя!
И все же страшно под конец пути
остаться виноватым перед всеми.

Перед соседом,
павшим на войне,
перед его заброшенной хатой
за то, что ты вернулся в сорок пятом —
пусть с пулею фашистскую в спине!

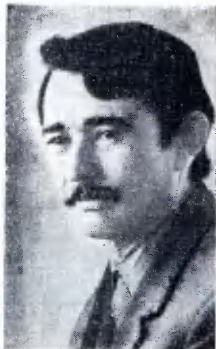
Перед женой — одна среди беды
она пахала,
сеяла,
косила
и молоко в селъпо сдавать носила,
когда ребята пухли с лебеды.

Перед колхозом — за своих сынов,
которые,

отдавая лучшей доли,
покинули вскормившие их поле
и растворились в жизни городов!

...Кряхтит Матвейч,
пригвожден к столбу
воспоминаний, словно ждет кого-то...
А мне еще сильнее жить охота,
еще тревожней за свою судьбу!

Я вижу,
жизнь и вправду хороша,
и, значит, рано намечать поминки,
покуда есть в березовой глубинке
страдающая добрая душа!



ОТАХОН
ЛАТИФИ

ЗЕМЛЯКИ

Потянуло в детство. Может, весна. А может, и осень прошлого года покоя не дает. Она ароматная. Смешиваются десятки запахов. От золотистых и красных листьев еще веет летним зноем. Осень родного сада.

Мама спешит — встает чуть свет. Через плечо у нее перекинут мешочек, куда она складывает яблоки. Меня будит к завтраку. Я просыпаюсь не столько от прикосновения ее руки, сколько от запаха фруктов. Еще не открыв глаза, пытаюсь догадаться, с какого дерева она срывала плоды. Но руки ее пахнут и яблоками, и молоком, и горячими лепешками. Крепко я спал, если она успела и лепешки испечь.

Которую осень я не переживал радости встречи. Мать писала, напоминала, торопила, да и сам я давно сердцем и мыслями в саду, но дела словно сковали ноги.

— Приезжай. — Это уже была мольба.

Прилетел к заходу солнца. Шел по темнеющим переулкам. Пахло прелым — в арках гнили опавшие листья. Вошел в переулок свой, у ворот сидит мама. Поднялась, побежала навстречу...

Давно ночь. Мать все спрашивает и спрашивает. О моем здоровье. О своем говорит: «Вы мое здоровье». Ко мне она обращается на «вы»; мне ведь дали имя деда...

Бывал я осенью и в сосновом лесу, и в березовой роще, и в многоэтажном городе и всюду чувствовал аромат яблок отцовского сада. Они с детства со мной. Ставит ли мать поднос с фруктами, когда приезжаю домой, присылает ли посылку — в каждом яблоке вижу добрую улыбку покойного отца и благодарю маму, что бережет она сад. Мне-то все некогда.

В прошлом году у нас впервые созрела айва. Еще отец мечтал об этом, да не находил подходящего саженца. С недавних пор их стало много в наших местах, и рассказывают старожилы об этом сорте айвы такую историю.

Было это в конце прошлого века. Трое самаркандцев вышли в дальнюю дорогу — в Мекку, к могиле Мухаммада. Но до Мекки дошли двое. Сейчас никто их не помнит. Третий дошел всего до Багдада, а имя его осталось навсегда. Звали его Бахри.

В пути Бахри просмывал, что в Багдаде растет чудо-айва. Добравшись до города, стал он искать человека, в чьем саду росло то дерево. Два года он прожил там, на третий взял черенки и зашагал к Самарканду. До сих пор остается загадкой, как он донес их к берегам Зеравшана. Ведь пешком шел не одну тысячу километров.

Ту осень никогда не забуду. Открыл калитку, и меня встретил чудный, доселе неизвестный мне аромат. Дерево раскинуло свои ветки прямо у забора — таков обычай: айва должна быть доступна всем прохожим, чтобы каждый взял веточку для заварки чая.

Попробуйте найти в нашей долине несадовника. Деревья стали символом жизни. А уж если просто некуда в саду сажать, то малышу дадут посадить хотя бы тополь. Он неприхотлив, растет быстро и ввысь, не загромождая других деревьев.

Мой дядя был садовником и путешественником. В 13 лет он с трехлетним братом — моим отцом — спустился с гор на заработки.

Видел дядя в своей жизни и Китай, и Финляндию, и Польшу. Европейскую часть России исколесил почти всю, одно время работал у Мичурина. Потом вернулся в родной кишлак Дердар и больше никогда и нигде не выезжал. Иногда спускался к нам в Пенджикент.

— Почему вы ютитесь среди камней, что там хорошего? — спрашивал я его при встречах. — Спускайтесь в долину, оставьте горы.

Его голубые глаза печалились, и он тихо, едва слышно, отвечал мне с укором:

— Если родные камни тебе не дороги, ничто и нигде тебе не будет дорого. Кто не умеет ценить отцовский очаг, тот ничего не умеет ценить в жизни.

— Но почему же мы не живем в горах?

— Твой отец не помнит своего отца, да и не обязательно всем жить в кишлаке, главное, чтобы огонь не погас в родном доме. Я сберег сад своего отца, сад твоего деда, для вас, — и тихо, как говорил, улыбнулся мне.

С заботами о саде, который террасами поднимается в гору с самого берега Зеравшана, и умер дядя... Теперь запах айвы разбудил во мне давно забытое — тоску по саду в горах.

Я собрался в путь и поехал в верховья Зеравшана. Древние сказали: «Утром обрати взор на горы высокие и возьми себе их силу. Вечером смотри на текущие воды и отдай им свою усталость». Такое место в Таджикистане — кишлак Рудаки.

Тут есть и высокие вершины и прозрачные ручьи. Но самое дорогое сердцу каждого таджика — великий поэт Абу Абдулло Рудаки. Здесь он сказал свой первый и последний стих...

Как Волга — символ Руси, так Зеравшан — символ Таджикистана. На его берегах начинался и новый период таджикской литературы — советской. Ее красная строфа — творчество Садриддина Айни, его кишлак ниже по течению Зеравшана.

В кишлаке Рудаки тополя золотыми стрелами тянутся к холодному небу. У мавзолея поэта сидят люди, четыре путника, как и я. Деревья в садах облетели. Листья, как люди, только срок у них короткий — одно лето. Дают жизнь и умирают...

С той поры миновала зима. Уже солнце поднялось высоко. На моем столе от его лучей засверкал камень. Обычный калыдай — оттуда, где строят Джиджикрудский горно-обогатительный комбинат.

А за окном нарядилась земля. Цветами, всходами, пышной зеленью. Весна. Пока придет осень и созреют плоды, много раз взойдет солнце. А пока прутник станет деревом, сменится не одна весна. Да и то, если неумоим садовник. В стократ неумоимы родители и людское окружение, что не перестает давать нам урок жизни.

Недавно узнаю, что матери привезли уголь. Обеспокоилась, как она его перетаскала. Звоню, а она: «Среди людей я ведь живу». Как мне вас благодарить, земляйки? Да надо ли — если вы всегда такие. Быть таким, как вы, — в этом, наверное, будет моя благодарность.

Уж так в городке нашем заведено — радости и горести делают вместе.

Ты переезжаешь в другой город, но дома своего без согласия соседей не продашь. Живут по пословице «В доме соседа спокойно — и в нашем доме хорошо».

Нет ничего страшнее, когда земляйки, видя, не замечают тебя. Ты стал чужим для них. Товарищи, бывавшие за рубежом, рассказывают, как сбегаются, услышав родную речь, покинувшие Родину. В глазах у них боль и тоска. Плачут по садам и камням детства.

Бережь радости детства, чтобы дарить радость своим детям и ощущать полноту жизни, — этому учат земляйки. И мать моя бодра их заботами. Идет сосед аю Хайдар за мукой для себя, обязательно зайдет к матери и проверит, есть ли у нее мука. Утром не услышит ее голоса, проведает, не заболела ли...

А соберется кто в столицу, непременно навестит мою мать. Потом разыщет меня и скажет, что мать здорова и передала привет. Вот и теперь приехала Бобо, сын дяди Субхонкула:

— Едете, в кабине есть место, и дорога красива. Он весь в отца. Крупной кости. Всегда улыбающийся. И, как у отца, лохматые брови. Помню его маленьким мальчиком. Теперь он женат, и у него растут дети. А младший его брат Хайдар, как и мечтал, физик.

Забрался с младшим сыном Латифом в кабину машины Бобо и покатали через горы и долины. Делали привалы, валялись на травке, пахло зеленой и землей.

— А это что, а это? — спрашивает сын.

Как и когда он будет это знать? Я в разъездах, мне некогда водить его в горы и на полянки. Надежда на школу. А мы ходили за коровами и в травках

разбирались, как сейчас малыши в марках машин. «Спотыкается» мой сыншка на полянках о каждый цветочек и травку. Грустно это, укор мне.

Бобо рассказывает о новостях в Пенджикенте. Везет он провода для АЭП и искую арматуру. В Директивах XXIV съезда КПСС записано: вести в действие дополнительные мощности на Анзобском комбинате. Туда и везет свой груз Бобо.

Спрашиваю его, сколько наконечников для сохи можно отлить из железа, что в кузове его машины. Бобо смотрит на меня с удивлением. Не помнит. Ну да, он совсем был маленьким.

После войны возник на нашей улице тот литейный цех. Печь его вначале поддували вручную. Отец Бобо придумал какой-то насос. Потом стали приспосабливать автомашину. Поднимают домкратом задние колеса, вденут ремень, и загудит в печи. Вся улица озаряется огнями, и всю ночь лили наконечники, и всю ночь из козловых подъезжали арбы. Без наконечников с волами какая пахота! Трактора в войну совсем развалились, даже первая женщина-трактористка, наша соседка Кадрат, и та на работу ходить стала с кетменем.

Необходимость в наконечниках быстро отпала. Отец Бобо взялся ставить на арыках маленькие электростанции. Энергии хватало на 10–15 лампочек.



Рисунки А. КАДЫРОВА.

Единственный движок на бензине был в кинотеатре. А так везде керосиновые лампы. Как в школе комсомольское собрание, вечерники — ругались: на весь класс оставляли одну, а остальные лампы уносили в зал.

А теперь вот давно к городу пришла ЛЭП, и она все выше идет в горы. А дядя Субханкула, отец Бобо, все еще возится с металлом: сейчас он кузнец «Сельхозтехники».

— Граница, — говорит Бобо.

На краю пшеничного поля стоит обелиск. На нем изображены государственные флаги Таджикской и Узбекской ССР, восходящее солнце и руки в пожати. Здесь каждый год собираются пенджикентцы и самаркандцы. Жгут костры. Празднуют дружбу народов.

Пенджикент — городок. Около двадцати тысяч населения. Справа и слева — синие горы. Дома террасами — от берега Зеравшана до Кайнарских холмов, у подножия которых бьет чистый родник. Раньше он растекался по арыкам, теперь по трубам, и каналы водопроводные в домах и на улицах не закрывают.

Дом наш недалеко от родника. Сегодня у мамы праздник по случаю нашего приезда. Кипит в большом казане шурпа, на блюде горячие лепешки-фатеры. И аббаки, их у нас умеют хранить до самого нового урожая.



Калитка настуже. Заходят соседи. Ближние и дальние. Каждый с собой обязательно что-нибудь да приносит: традиция.

— Что пили, что ели — ваше, а нам расскажите, что видели, — говорит дядя Расулов.

Дядя Расулов — старейший педагог нашего городка. Еще наших родителей учил в ликбезах. И куда его ни направляли, везде начинал с того, что хлопотал о строительстве школы. Приедешь в кишлак, скажут: «Вот школа Расулова». Только недавно он вышел на пенсию. Любит и умеет красиво мастерить из дерева.

Когда мы были маленькими, вечерами он увлекая нас решением головоломок. Все его дети удивительно

хорошо учились. «Как же иначе меня будут уважать другие дети?» — говорил он. Старший сын его, мой ровесник, Абдурашид, получил инженерное образование в Москве. Там и женился. Некоторые шушукались, что отец не примет русскую невестку. А дядя Расулов устроил пышную свадьбу и нам весело плясал.

Уходят и приходят гости. Но нить разговора не теряется.

А разговоры эти в семейном кругу очень своеобразны. Они, может, немного сумбурны, но колоритны. И темы самые разные. Все из жизни.

Женщин вот заинтересовало, как же это государство будет выплачивать денежные пособия на детей в семьях, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 50 рублей, вон нас, мол, матерей-героинь сколько.

— А как же, как и обучает ваших детей, как дает старикам пенсии, — отвечает кто-то.

— Будем хорошо работать, все будет, — вступает в беседу немногословный Мухамади Юнусов.

Мухамади на днях прилетел из Душанбе. Скоро ему защищать диссертацию в Баку. Сметается, что перед трудным экзаменом, как суеверий, пришел за благословением в родной дом. О науке за столом говорит с гордостью. Матери, чьи дети в «аспиратуре» (аспирантуре), просто сияют. Сейчас буквально весь городок живет радостью, что в Ленинграде блестяще защитил кандидатскую Абдурахман Хусанов. Он в Ленинграде и работает в научно-исследовательском институте. Окончил Ленинградский университет, стал физиком.

Собираясь в Ленинград, Абдурахман шутил, что вернется доктором наук и что его дети непременно будут академиками. Видимо, он близок к цели. Прошлой осенью здесь, в Пенджикенте, видел его жену Гаюлю, привозила к деду своих близнецов-сорванцов Лолу и Саида. А у молодого отца все новые и новые увлечения, конечно, помимо физики. В последнее время, говорят, — французская культура. Метод освоения у него такой: сразу изучает литературу, музыку и живопись. Я диву давался его способности читать, бегать по музеям, копить и слушать пластинки...

— Пушкин идет, — поднимается мать.

Это сына Хайдара «Пушкиным» зовут — за кудрявые каштановые волосы. Работает в геологоразведке и учится заочно в Ленинградском горном институте. Был, оказывается, тамодой на банкете, когда защитился Абдурахман, — это мне успели рассказать, пока он пришел...

Улица начинается прямо за калиткой, и она — как бы окно в мир.

— Сосед! Ей-богу, не знал, что вы приехали. Вчера было собрание, — встретил меня у калитки Ваи.

Ваи — это дядя Володя Грийдай. Он один из первых агрономов, приехавших в Пенджикент в тридцатые годы. Совсем был мальчишкой. Но и старикам приходилось прислушиваться к его советам. И всегда он был прав. Потому его и прозвали «ваи» — «провидец». Говорит по-таджикски, как все вокруг.

Вообще, городок наш отличается многоязычием. Одно время на отделении иранской филологии восточного факультета Ленинградского университета сразу учились три пенджикентца, а на отделении было всего-то пять человек. Как-то даже в центральной печати прошла информация, что пенджикентцы владеют четырьмя-пятью языками.

Исрофил, например, окончил Иняз, работал секретарем горкома комсомола, сейчас он возглавляет отделение «Интуриста». Итак, есть у нас и свой «поплагот», Исрофил.

О достопримечательности района он может говорить часами. Если вы располагаете временем, повезет



вас к озерам Семь красавиц, которым, по его словам, нет равных в мире. Одна и та же вода по ним течет, но в каждом озере переливается каким-нибудь цветом радости. А легендарное озеро Искандеркул? О многом может поведать ваш Исрофи. А меня при встречах обязательно ругает:

— Не можешь двух слов написать о районе! Что швейцарцы — и те восхищаются, заверяют, что Зеравшанская долина — просто чудо света. Да ты не скупись. Дело это полезное, чтобы люди больше ездили друг к другу, больше будет взаимопонимания и уважения...

Что ни дом на улице — целая история. Вот тут на скамеечке любил сидеть отец Исрофила, Карим. Добрый был старик. Чабанскую жизнь знал и красиво о ней рассказывал. Летом выезжал высоко в горы и брал нас с собой. И в городе не расставался с посохом.

А это скамейка дяди Мирзояхя. В последние годы он плохо видел, но мы никогда не обходили его стороной. Обязательно подходили и заговаривали. Было стыдно, если в дневнике двойка, но признавался. Ведь не с кем-нибудь говоришь, а с ветераном партии, с человеком, который боролся за установление Советской власти в Зеравшанской долине.

...А орешник недавно вырубил. Оказывается, совсем он состарился. В его тени когда-то выступал знаменитый наш уличный театр. Во время вечерней дойки коров жизнь на улице замирала, чтобы потом разом наполнить всю улицу. Чаше летом и разыгрывались спектакли. Режиссером-заводилой был Бакоджон Киямов, сейчас он председатель райпотребсоюза. В войну и матери ходили смотреть детский самодеятельный театр, где каждый спектакль кончался победой «красных» над длинноухим ослом Гитлером. И настоящий театр в городе был до войны. В войну распался.

Сейчас в городе новый театр. Народный. Известен не только в республике. На спектакли, как и прежде, ходят семьями, и, как и прежде, неистовы зрители в частных репалках и советы артистам, как поступить в тех или иных случаях.

На улицах в театр теперь не играют: тесно. Канули в прошлое дни, когда основным транспортом был ишак. На ишаках почти все колхозники привозили в «Заготзерно» урожай, возли и на верблюдах. Теперь по улицам и даже переулкам движутся огромные потоки машин и мотоциклов. Крутом теснятся дома.

Астроится стадион. А был здесь пустырь, днем паслись козы, вечерами гоняли в футбол. Теперь ровное поле, трибуны и есть зрительный зал. Выстроили его комсомольцы. Сами формовали кирпичи, сами клали стены. В городе не первый год действует детская спортивная школа, не то что при нас: каждый сам себе был тренером. Работает детская музыкальная школа. В домах стадо много музыкальных инструментов. А у сапожника Зеравшана городская молодежь соорудила громадное озеро с лодочной станцией. Рядом сохранилась и работает древняя мельница. Тут же, у озера, в небольшом скверике, «красные следопыты» поставили памятник в честь воинов-пенджикентцев.

Влечет человека к земле, как к матери. На ум приходят строки: «Вышли мы из праха. И тучей праха по ветру упыли». Да, Омар Хайям. Многие его четверостишия пронизаны этой мыслью. Хайяма неспроста вспоминаю, сегодня встречался со своим учителем Шафе Шариповым.

Собрались к нему с утра. По дороге меня остановил Бурбиой Якубов, мой школьный товарищ.

— Пошли в контору, — сказал он. — Все равно сейчас дядю Шафе не найдешь. Может, он в поиме Зеравшана, а может, и на холмах.

— Неужели еще ездит?

— А ты думал! Мы на машине, он на коне. Но за ним не угнаться.

Надо же, ведь скоро ему восемьдесят... В конторе застали младшего сына дяди Шафе — агронома Зиебоя. Старшие его братья: Бозор — шофер, Бомулло — учитель. Зиебой смеется, что никак не может по утрам встать раньше отца. Ребята шутят, что дядя Шафе с годами молодеет.

Я говорю «ребята». Школьная привычка. А ведь здесь собралось почти все колхозное руководство и ведущие его специалисты. Нет только Муталябо Бобоева, главного инженера, учится на курсах повышения квалификации. Замечает его Бурбиой.

Младшим среди нас, когда мы работали в колхозе, был Абдурахим Яхьяев. Теперь его зовут «большой агроном». Недавно его вновь избрали секретарем комитета комсомола.

— Так что я и сейчас самый молодой, — улыбается он. А в телефонную трубку сердито и громко: — Да, я рисковать не хочу. Доставите, какой заказывали!..

(«Сельхозтехника» завезла не те гербициды.)

— Будем полоть вручную, — иронизирует кто-то.

— Полгорода приведем, и то не справится, — говорит Хабibuлло Хамидов. — Себестоимости подсчитай так, что плов будет не по зубам.

Хабibuлло всегда счит любил. Мы полоти, косили рис, а он ходил за нами с огромным треугольником и обмерял, что сколько сделал. Сбить его со счета было нелегко. Он человек редкого спокойствия. Раньше я думал, что оттого, что он вечерами еще и спажничал, поправлялся. А учился он постоянно. Но только заочно.

— Думаешь, теперь не учится? — с усмешкой говорит Умри Бобомуродов, бессменный правый полузащитник нашей футбольной команды. — Заочно-то, заочно, а гляди — в академии его изберут. Теперь вечерами диссертацию пишет...

Хабibuлло не обижается. Даже наоборот, видно, ему приятно, улыбается. Пусть заочно, но хорошо защитил дипломную работу — его рекомендовали в аспирантуру. Спросил, можно ли заочно. Пожалуй, да. Вот и стал аспирантом, а работает бухгалтером. Спрашивает у меня, сколько я получаю в колхозе. Будто сам не знает, что на трудодень давали один килограмм риса, два — пшеницы, копеек 30 денег, в новых это 3 копейки.

— Сейчас за дневной заработок на базаре купишь два пуда пшеницы, выдал, как выросли с тех пор, — кричит ручку арифометра Хабibuлло.

В колхозники я попал не из-за трех килограммов зерна, хотя и в них в семье была нужда. Отец захотел, чтобы я походил в учениках дяди Шафе. Они были друзьями с тех пор, как в начале тридцатых годов организовался колхоз «Красные ворота».

В то время дядю Шафе звали Шафе-лужач — что значит «голый Шафе», до того он был бден. А когда отец привел меня к нему, в нашем районе не было человека, прославнее Шафе Шарипова. Он не стал выяснять, почему я бросил техникум и не желаю больше учиться. Дал коня и арбу, показал, как запрягать, и я выехал по ближней дороге, вернее, бездорожью, на холмы и тут же перевернул арбу.

— Мне говорили, что и самолеты имеют свои маршруты. Не истребители старыми дорогами, — только и сказал бригадир.

Дядя Шафе был необычный бригадир. Работал — люблю смотреть и стыдно делать что-то в посылды. Но как-то я (был канун Октябрьских праздников) вместо того, чтобы молотить рис, сидел дома и примерял обновки. И что же?..

— Значит, наша бригада не пойдет на демонстрацию, — прискакал на коне дядя Шафе.

В полночь шестого ноября мы отведли последние мешки зерна в заготовку. А наутро — это был самый радостный мой праздник. На шестах связки лука, свеклы, снопы пшеницы, ячменя, риса — все, чем богат наш колхоз имени Карла Маркса. С трибуны говорят о нашей бригаде — опять заняли первое место по району.

Через год бригадир стал настаивать, чтобы ехал я учиться. Отпускал пораньше с работы, и я шел к своей школьной учительнице Регине Владиславовне Кайковой. Как бы она ни была занята, находила время для меня. Я иногда думаю: с чего это люди, которым ты неродия, пекуси о тебе? Вот и дядя Шафе: чуть ли не каждый специалист в колхозе называет его своим учителем.

— Портятся дети — портится народ, — говорит дядя Шафе. Сидим мы с ним у поля, рядом пасется его конь. — Вы станете лучше, и моим детям будет хорошо. А потом, я вам скажу, кто много учится, тот

больше любит землю, понимает ее. Земля — главный наш друг, беречь ее надо, как мать, тогда знать горя не будешь...

В правлении колхоза рассказывали: пришел паренек после десятого класса на работу, привел его к Шафе Шарипову, парень возмил и спросил:

— Чего вам не хватает? Герой Социалистического Труда. Получаете приличную пенсию. Отдыхать вам надо.

— Вот и отдыхают, — засмеялся наш бригадир.

Я ему напомнил эту историю. Он улыбнулся и сказал:

— Сидят наши старики, нет-нет да утнеют себя разговорами. — И вдруг озорно: — Как там у Хайяма, «прахом по ветру», кажется?! Когда работаешь, хорошие мысли приходят. Меня, знаете, больше всего что обрадовало в докладе товарища Брежнева на съезде? О привлечении пенсионеров к активной работе. Что пенсию дают, хорошо. Но без труда человеку какая радость, какой отдухи! Раньше о стариках только дети думали. И то, если правильно их вырастил. Я вот что заметил: беззаботные родители и беззаботные дети добры не видят. И вот что я скажу: мудрости мы должны учиться у парни. Смотрите, сколько внимания к детям, к матери, к старикам...

Нет, не изменился дядя Шафе. Ни в работе, ни в словах. Мне здорово повезло, что работал рядом с ним, учился и учусь у него. И, как многие мои школьные товарищи, могу с гордостью сказать:

— Наставником моим был и остался дядя Шафе...

Последний вечер. Опять дом полон гостей. Жадный считает нужным сказать доброе в напутствие. Поздно. Все уходит, по привычке кладу голову на колени матери. Она оставляет шитье и нежно тербит мои волосы. Укоряет за восхождение старыми обычаями.

— Что, думаешь, от времен твоего деда остался оми? Нет, сынок. В старые времена разве дали бы мне так спокойно жить? Было так: умер муж — пустят по миру, мечеть возьмет свою долю, земская казна — свою, огадальное растапет разбойники. Некоторые из-за этого отдавали к ним своих детей, чтобы не подвергаться рабству.

Оказывается, бедную нашу бабушку были шайкой: не хотела отдавать последнего ковра. Это уж при Советской власти люди стали добры друг к другу...

Уснул на коленях матери. Проснулся, слеза ее упала на мое лицо.

— Поседел, — утирает она глаза и спрашивает: — Трудно приходится?

Да нет. Ведь и в народе говорят: «Вы счастливый человек», — если узнают, что у вас есть мать. Здесь, в ее неказистых комнатухах, в саду, заложном отцом и так обретаемом ею, каким бы усталым я ни был, нахожу успокоение и силу. Наверное, каждому полезно время от времени возвращаться к своему детству, радостное или горестное оно было, все равно, — чтобы в жизни нести здоровое.



АДА ЛЕВИНА

КОЙКА В УГЛУ

Рисунок В. СОПИНА.

Обратный адрес на конверте был такой: «Улица 9 мая, дом № 17. Женское общежитие № 3. Шустровой Томе».

«Можно ли называть наше общежитие молодежным, если в нем еще живут отдельные люди, которым по сорок и даже больше лет? — возмущалась Тома. — Если б их всех выселить, освободилось бы много места, можно было бы организовать комнату для учащихся или комнату для телевизора, как в 15-м общежитии, а то, если в красном уголке лекция, то телевизор смотреть нельзя. Ждем вашей помощи. Приезжайте и посодействуйте. От имени всех проживающих предбытсовета Тома Шустрова. Наш адрес...»

Я еще раз внимательно перечла адрес. Что-то меня в нем встревожило...

...Улица 9 мая оказалась в призаводском поселке. Она начиналась прямо у заводских проходных, от площади, в центре которой на высоком постаменте стоял танк — памятник всем танкам, что ушли из ворот завода на войну.

Женщина в трамвае сказала так:

— 9 мая — улица? От танка начинается. После войны первую ее строили. Так и назвали. А вам какой дом — 17? Общежитие, что ли? Хотя там все почти общежития.

У подъезда дома № 17 на лавочке в зеленом насаждении сидели три пожилые женщины. Я поискала глазами детишек — обычно такие бабушки всегда усаживаются побеседовать, пока внуки возьмут поблизости. Но малышей не было видно. Ну что ж, вечер ясный, вот и пришла посидеть в затишье женщины из какого-нибудь соседнего дома. Но едва я вступила на крыльцо общежития, как одна из них окликнула меня: «Вы, гражданочка, к кому?» Я объяснила, что мне бы надо Тому Шустрову.

— А, бытсоветку, сейчас позову.

В глубине коридора что-то кликнулось, аукнулось, и вот передо мной стояла Тома — в халатике, худенькая, черпенькая, волосы на затылке перехвачены крупной заколкой.

— Приехали? Здорово! А девчонки спорили: никто, мол, не придет, пиши — не пиши, бесполезно. Ну, идите в комнату. Сами посмотрите.

Комната была метров шестнадцать, с одним окном. По углам кровати, посередине стол — словом, похожа на тысячи других комнат в других общежитиях. Разве что вместо стандартных пикейных одеял, на которых комendant норовит обычно поставить печатную сбоку, а на самом видном месте, на койках пестротканые покрывала. Но одна койка — в углу — была под этим самым казенным одеялом, правда, чистеньким, накрахмаленным. И почему-то именно над этой койкой висела огромная, чуть не в полстены, картина — морской пейзаж.

— У нас кто живет? — торопливо выкладывала между тем Тома. — Молодежь, девчата с 52—53 года и вот еще человек 20, бабок этих, ну, в общем, тех, которые еще с после войны тут живут, и никак не можем выселить. Вы представляете, им уж под пятьдесят лет некоторым, двое уже на пенсии: литейщик-то с 45 на пенсию идет. Ну, какое они имеют к нам, молодежи, отношение? Никакого! Никто не учится. У некоторых — вообще по 4 класса. Сами малоработные, а куда же лезут — воспитывать. Парни в гости придут — они ворчат, из кино вернемся поздно — посмеяться нельзя. В их вот комнате, — Тома кивнула в сторону коричневой стены — полные блондинки, — в Таниной, живет одна, тетя

Лиза звать. До сих пор «гардинпор» говорит и «каж-пый», а туда же — паряди шьет и все вешает.

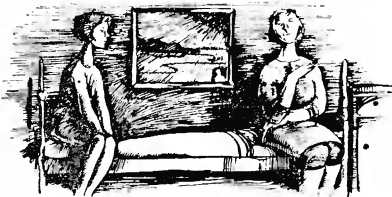
— У нас в шкафу, — вступила коричневоглазая Таия, — нафталином все пропахло! Поидежь на танцы, гаденешь новое платье, уж духами обниаешься, а все равно пахнет — парни смеются. А станешь говорить: «Ну зачем вы это все храните?» «А куда ж деть?» «Да выбросьте. Такое никто теперь не носит.» А она: «Не ты наживала — не тебе и бросать...» На лучшую комнату конкурс был. К нам комиссия приходит, а наша Лиза в комнате в валенках сидит — и не зима причем. Ноги, говорит, болят. Ну к врачю пошла бы. А то лечение — валенки надела. Так и записали нам последнее место: «В помещении ходят в уличной обуви». Мы стали Лизе говорить, а у нее на все один ответ: «В войну нию не так ходили».

— Она и в цехе так, — сказала стриженная полная бронежка Оля. — Я ж с ней вместе в литейке работаю. Ковтйвер сломался. Надо чинить. Мы говорим: «Пока не почините, мы на себе стержни на сушку не потащим. Чините». А Лиза: «В войну никакого конвейера не было, целные сутки таскали, а тут — час». У них и разговору другого нет, только: «В войну»! А война-то давно была. Уж мы после нее родились.

— Это точно! — Тома обвела взглядом девушек. — У нас же теперь совершенно другой народ живет — из техникума многие, из училища.

Мы хотели, чтоб у нас и в комнате современно было — паласы купили, подсвечники. А Демидовна — ну, вот на этой койке живет, — Тома указала на белую койку, над которой висела картина, — весь интерьер портит. У нее же здесь целый иконостас. Говорили: «Спрячьте куда-нибудь». «Нет, не сниму» — и все тут. Это мы, пока она уехала, замаскировали. — Тома показала на морскую пейзаж, висевший над белой койкой. — А вы поглядите, что там делается!

С этими словами она подошла к койке и приподняла картину за уголок. За картиной и вправду оказалось десятка два фотографий. Собственно, в центре была одна фотография — большеглазое, скулатое, крупное молодое женское лицо. Фотографию эту, видно, делали в райбיתкомбинате лет 20 назад, потому что белое поле ее было разрисовано нелепыми розовыми и голубыми цветами. Но теперь цветочки выгорели и были не так заметны. А главное, фотография была не сама по себе — за ее прочную



деревянную рамку было вставлено множество других. Внизу — слева — увеличенная карточка молодого, наголо стриженного парнишки в довоенной форме с петлицами, дальше шла карточка поменьше — какие-то детишки, девушки, паренки и опять стриженный солдатик — теперь уж в новой форме. Тома подняла руку повыше, и тут я увидела еще одну, незаметную до сих пор фотографию и прямо таки остолебела от удивления.

— Откуда здесь эта фотография?
— Демидовна говорит, плавали на их теплоходе иностранки, чуть не из Аргентины. Может, так, а может, и нет. Ее послушаешь — такое рассказывает!
— Эту Демидовну зовут тетя Катя?
— Да. А вы ее знаете? — удивились девочки.

С тетей Катей я познакомилась летом на теплоходе «Илья Муромец».

Это было, наверное, самый удивительный корабль на свете. Он являл собою как бы крошечную модель земного шара, только почему-то на сей раз заселенного почти одними женщинами. Делегаты Всемирного женского конгресса совершали путешествие по Волге. И самое, казалось бы, простое — наладить их жизнь на этом корабле — накормить и напоить их — было нелегким делом.

Переводчицы и руководительницы групп сбились с ног, стараясь поспеть всюду. Официантки и коридорные дежурные пытались объясниться с гостями знаками. То и дело возникали всякие недоразумения. Пожалуй, только одна дежурная второй палубы, тетя Катя, как называли ее все, каким-то непонятным образом умудрялась одинаково успешно объясняться со всеми. Конечно же, тетя Катя не знала ни одного из иностранных языков, на которых толковали вокруг нее. Но не прошло и трех суток, как она умудрилась одинаково успешно объясняться со всеми.

Вот, скажем, индианки собирались гладить и несли сложные стопкой полотнища своих сари к тому уголку внутренней палубы, где на гладильных досках стояли утюги. Видимо, когда теплоход отправлялся в обычный рейс, на нем было самообслуживание. «Айронинг, айронинг!» — шумели они и искали белевскую переводчицу Свету, чтобы выяснить, как здесь включается утюг. Но Светы в этот час нигде не было. И тут подходила тетя Катя.

— Не волнуйтесь, милые. Сейчас все сделаем. Будете айронинг. А как же, она хот и не шитая, а все же юбка. А в гостях нежеже мытыми ходить.

Она включала утюги, сдвигала толстый, мускулистый палец и прищипывала блястущую поверхность утюга, словно малого ребенка для остротки.

— Готов, можно айронинг.

Особую, можно сказать, материнскую заботу проявляла тетя Катя об африканках. Правда, в первые дни, казалось, она как-то пугалась их... Но скоро привыкла к африканкам, и уже не были они для нее все на одно лицо. По костюмам, по тому, с какой переводчицей ходила, она отличала уже кенiek от анголезок, отличала и Колект, что с Мадагаскара, от Марии из Замбии. Хотя, наверное, не очень-то представляла, где этот Мадагаскар.

Она озабоченно поглядывала на африканок, когда те усаживались вечером на палубе, где должен был демонстрироваться фильм: «Вечер-то холодный какой! Сроду такого июля на Волге не было. Не дай бог, простынут гости наши». И явдуг, внимательно поглядывая на теплые наряды-поячи аргентинок и мексиканок, всплеснув руками, убежала куда-то. Вернулась, неся в руках целую гору теплых одеял, сложила на крайнем стуле горкой и, беря по одному, принялась разносить их африканкам.

— И вы сейчас у меня будете в «пончиксах»!

Фильм вог-вот должен был начаться. Белый луч проектора уже нацупывал экран, и тетя Катя со своими одеялами, высвеченная этим лучом, проиравалась на белом экране большекрылой, заботливой птицей.

Особенно подружилась тетя Катя с Луисой де Косак, молодой аргентинской крестьянкой. Фамилию

де Косак носила она не зря: там, в аргентинском Чако у самых Кордильер, умудрилась она выйти замуж за русского казака, один бог знает как попавшего в эти края. У них был сын Педро де Косак — русоволосый, так по крайней мере казалось на фото, аргентинец 10 лет, которого с огромным трудом удалось собрать в школу, потому что не на что было купить тетради и форму.

Луиса была активисткой женской организации, помогала женщинам-батрачкам, учила их тому немногому, что знала сама. Когда стало известно, что именно ее посылают на конгресс — а ехать ей было не в чем, — Луису снаряжала вся деревня. Каждая женщина несла самое лучшее, самое нарядное, самое новое, что было у нее: кто кофточку, кто юбку, кто жакет... Рассказывая об этом, Луиса не стеснялась, а, наоборот, любовно дотрагивалась до частей своей одежды и называла женские испанские имена: «Ирма», «Люсия», «Малисса», — словно они участвовали в нашем разговоре. Только одна вещь была у Луисы своя — почто. Она выткала его сама из деревенской простой шерсти.

Однажды я застала на палубе Луису и тетю Катю, склонившихся над русским букварем, который подавали аргентинкам утром в школе. Тетя Катя тыкала пальцем в большое, на подстранице, «М» и произносила, сжав губы, с улыбкой: «М, М, Мама».

— Ма-Ма, — мягко повторяла за ней Луиса, и они обе довольно смеялись.

А потом Луиса вдруг заметила такое же «М» на тети Катиной косынке. Тетя Катя сняла косыночку с головы, встряхнула, и они стали рассматривать ее узоры — виды Москвы, пейзажи.

— Мавзолей, Кремль, Пушкин, берега, — показывала тетя Катя пальцем, а Луиса повторяла за ней, с силой выговаривая столь трудные для нее сочетания: — Мафсолей, Кремлин, Пускин, Береса...

...В день, когда гости уезжали — сначала в Москву, а оттуда — в свои далекие страны, на корабле было особенно шумно. Тетя Катя появилась на палубе к вечеру со свертком в руках. В пестрой толчее гостей она сразу отыскала Луису.

— Тебе, — сказала она, развернув свой пакет, и надела Луисе поверх почто косынку, наверное, самую дорогую, какая нашлась в местном универсаме — капроновую, раскрашенную ярким орнаментом...

Но Луиса, казалось, не была довольна подарком. Она неуверенно и просительно дотронулась до косынки, которой была повязана тетя Катя.

— Береса...

— А! — догадалась тетя Катя. — И я тебе такую купить хотела, со значением. Да нет их нынче, не торгуют. А старую как дарить? Негоже вроде, ношеная она. — И тетя Катя показала на потрепанный, с выбившимися черными ниточками уголок. Но Луиса объяснила знаками, что, мол, это неважно. И тогда тетя Катя сняла с головы свой платочек, оглянула его, расправила и повязала на шею Луисе, поверх почто. Луиса засияла. И вдруг каким-то быстрым движением скинула свой красивый шерстяной почто и нагнула его через голову на плечи тете Кате. Экспансивные африканки били в ладоши, смеялись, сдержанные индианки расправляли на ней складки. Словом, все, кому за эти дни тетя Катя успела помочь, просто улыбнуться вовремя, снеслиши теперь как бы отблагодарить ее.

Кажется, только тут я поняла, какой кадр упустила, и побежала в камеру за фотоаппаратом. И Луиса и тетя Катя — обе очень обрадовались. Луиса в своей косынке и тетя Катя в почто поверх форменного платья с морскими пуговичками.



— Так ты карточку пришьешь ли? — все спрашивала меня тетя Катя.

Я пообещала, что пришью, и она принесла мне листочек с адресом.

...И вот теперь эта фотография была передо мной, прикрепленная к рамке той, другой, большой фотографии, на которой, если вглядеться, можно было, несмотря на ретушерские художества, узнать тети Катю, только совсем еще молодое лицо. Я хотела было сказать девочкам, что я знаю их тетю Катю, что это мой снимок, но вдруг до меня дошел вкрадчивый, чуть картавящий голосок Томи: «Эта тетя Катя уже на заводе-то не работает», — и я вспомнила, зачем, собственно, я здесь.

А Тома продолжала: «Она как вышла на пенсию, литейщицы-то в 45 на пенсию идут, как в пародохстве устроилась. А ведь у пародохства свое общежитие есть, она ведь теперь с заводом не связанная...»

— Да что же высылит! — подала голос беленькая коричневоглазая Таня. — Она ж 25 лет отработала; кто 25 лет, тех не высылит.

— Ну, ладно, тетя Катя еще ничего, — продолжала Тома, когда мы уж вышли из их комнаты и осматривали другие. — Ее хоть погода нету. А уж подруга ее Лиза — «сотый насёл» — это ужас.

В это время в комнату постучали. «Эй, девчата! Вы не забыли, что в ДК вечер поэзии? Опоздае! Мы пошла!»

— Ой, — заторопилась Тома, — вы уж нас извините! Пропускают никак не хочется. Поэты выступают и артисты из области. Может, и вы с нами пойдете?

Я отказалась и объяснила, что хочу поговорить с теми, кто не идет.

— Так ведь одна Лиза — «сотый насёл» остается. — Вот с ней-то мне бы и поговорить. Кстати, почему вы ее так странно прозвали — «сотый насёл»?

— Это не мы ее, это она на нас так ворчит. А почему, — сама расскажет. Вон она на лавочке у входа сидит, как сторож какой. — И девушки убежали.

Я вышла на крыльцо и огляделась. Лиза сидела все на той же лавочке. Теперь уже одна. «Вечорку ушли», — объяснила она коротко, когда я спросила, куда делись ее товарики. Я присела рядом. Вначале Лиза отвечала односложно. Но когда я ей сказала, что плавала вместе с тетей Катей на «Муромце», у Лизы сразу словно бы какой-то узелок внутри развязался. И в ответ на мое недоумение: «Почему же тетя Катя ничего мне не сказала, что живет в общежитии?» — Лиза заговорила:

— Она скажет, жди! Ни в жисть! Никогда ничего не спроси, и все ей хорошо. А меня почему «сотый насёл», говоришь, зовут? А каков же еще? Двадцать лет в этом общежитии живем — за двадцать то лет вокруг нас сколько народу смеялось! Эти, аттестаточки, и есть сотый насёл. Но давай я тебе все по порядку расскажу. Мы ж с Катей с одного села. В войну на лесозаготовки нас послали, а потом сюда приехали — на завод. Раньше-то завод здесь маленький был, так, мастерские. А в 41-м с Украины огромный завод эвакуировался, и все шло сюда. Ну, нас с Катей сразу в литейку поставили на стержню. Для траков стержня-то. Знаешь траки? Ну, из их гусеница собирается, на которой танк ходит (как же, — вспомнила я, — траки, ведь отсюда и самый трактор — он же тоже на гусеничном ходу) — на каждый трак четыре стержни, а на танк этих траков сотни две, не менее. Вот и считай. Это сейчас нам литейку поставили, транспортер, а тогда, в войну, ничегошеньки не было. Тридцать стержен сделашь — на сушку оттащишь и опять за землю. Вся механизация была — стерженщицы — Лиза выговаривала это слово по-особому, с непроизвольным ударением на второй слог, и от этого казалось, что где-то внутри него спрятано и откликается, как эхо, другое слово — «женщины», хотя внешне оно ничем не было связано с первым.

Вечером придем в барак, — продажала Лиза, — на койку повалились, глаза закроешь, а перед тобой все стержня, все стержня. В барак у нас двадцать девок жили в комнате. Барак холодный был, ужас. Каркасно-щитовой называлась. А мы его звали «каркасно-щелевой». С вечера натопишь — утром все выдуло. Сейчас-то уже нет его: снесли. После войны снесли. Не сразу, правда. А нас — сюда. Как первое каменное общежитие выстроили — нам дали. Как же, бригада Демидовой, грому было, лучшая стерженщица (я опять где-то эхом отозвалась в этом слове другое). Грамот почетных сколь у Кат! Сначала на стенку все вкнопила, а теперь и не знаю, где они у ней.

Первый наш насёл был дружный. Девки все почти одногодки. До сих пор своими считаемся. В гости ходим. Ну, потом стали девки взадум выходить. А нам новых подсадили — считай, уж второй насёл, потом третий, а там и пошло и пошло.

А Катя — она все Федю своего ждала. Перед войной в армию его проводила. На границе служил, на западной. А до этого в хоре колхозном вместе пели, даже на выставку в Москву ездили, на сельскохозяйственную. А в войну пропал — и нету. А она все ждала, думала, объявится... Был один пареня, сватался, она — только отказ. Жду, говорит, Федю.

Ждала она, Катя, ждала, а потом, глядящи — годы вышли. А ко мне и не ходил никто. Невидная я была, на ганцы пойти — надеж нечего, уж теперь пришла — да без толку. И мало мужиков воротилось-то. Мало. Вот и остались мы в общежитии.

Комнату-то только семейным дали, на двоих, на троих, а на одну — где уж. Правда, Кате, не скажи, давали один раз. Году в 54-м первый дом заводской сдали, и ей комнату 15 метров на одну. В заводе объясняли: мол, Демидовой как лучшей стерженщице! А в ту весну Паня наша, аккурат, родила. Жить-то ей с мужем легче. Она в нашем общежитии, он в мужском, знай, друг к другу бегает. Катя тогда и говорит: «Давай же эту комнату Пане. Я еще потеряла чуток». А как стали следующий дом сдавать — это дело и заболело. Дома сдают, а мы, послевоенные проживающие, все здесь. Но общежитие — это в молодые года хорошо, а как к сорока дело, все на людях да на людях — тяжело. Конечно, Катя ко всем приприворивалась. «Вы идите, девочки, я уберусь!». Да как к девчонкам придет кю — из дома меня утешает: «Пойдем,

Лиза, пройдемся». А чего мне приходится? Мне и на своей койке хорошо. Да, вышь, што что выдумала — на пароход идти. Тут как-то раз «Муромец» к нам в затон пришел на ремонт, и встретила она Веру, в войну еще у нас в цехе работала, а теперь на «Иль» дневальной. Она ей и говорит: «Давай, Катя, переходи к нам! Пологда плаваем. Каюта на двоих, хорошо. Жалеть не будешь». Денег, конечно, поменьше. А зачем они ей? Первые-то года Катя все матери в деревню посылала, за ней-то еще трое меньших, подаять девок надо было. Потом всем племянникам на гостины собирала. А теперь уж и племянники вымахали. Один армию отслужил, другой служит. Сами справляются. И пошла Катя на корабль. Все, говорит, в общежитии девчатам свободнее будет. А как навигация-то кончается — она в отпуск едет в деревню, к своим. Она и сейчас там. Отпуску-то у нее длинный. В общежитии всего месяца четыре и быва-ет, зимует, койку-то не отбавил пока: я приглажда-ваю.

Раньше-то мы с Катей в вовсе в одной комнате жили. А как ушла она на пароход, я в другую переехала — вроде там девки потише, попроче. А то с этими, с Томой да с Таней, и вовсе житья нет. Я уж было надавала смену на вечернюю менять — охотницы на это всегда есть. И хорошо стало. Насёл мой на смене — я дома, насёл со сменой — меня уж нет. Утром проснусь — никого. Хорошо. Да долго-то так нельзя смены менять. Бригада возражает. Выработка-то у нас от бригады идет. А комнату не дают. Уж я к зам, директору нашему Лукьянову сколь-ко раз на прием ходила по личным вопросам! А у него один разговор: «Вы несемейная. Глядите, семоных охердников сколько! Молодые специалисты приезжают — им давать надо в первую очередь. И инвалидам Отечественной войны — тоже. Закон есть!».

А на меня, говорю, что ж, никакого закона нету?.. Может, я тоже войной покалеченная, только без документа. И еще как-никак 25 лет отработала! А он свое: «Одиночкам еще не имеем возможности. Если бы вы, Сидоренко, были семейная». Задала одно — семейная, семейная... А где я ее возьму, семейность-то? Может, моя семейность под Берлином лежит..

Из общежития я пошла пешком, по улице 9 Мая. Мимо одинаковых домов-общежитий, туда, где в синеметном легком сумраке, словно на экране, с каждым шагом все ближе, все зримее, все отчетливее вырастал танк, рвущийся в свою последнюю атаку. Я подошла совсем близко, так, что можно было пересчитать «траки» — и где-то влугри отозвалось Лизиним голосом «стерженщица».

И вдруг площадь ожила, затворилась, зашумела — в Доме культуры кончился «Вечер поэзии». Я увидела Тому и других девчусек из общежития. Вот и они заметили меня, подошли.

— Жалко, что вы не поили с нами! Так интересно! — затворилась Тома. — Такие стихи читали — и про любовь и про войну. Я даже запомнила: «О, одиночество погребенных героев!» Здорово, правда? А вы что здесь стоите — на наш танк смотрите? Это ко Дню Победы сделали новый погасмент. У нас и Вечный огонь есть, как в Москве. Только не здесь, в поселке, а в городе, на Центральной площади. Мы в День Победы всегда туда ходим пешком. Целой компанией. А в этот раз?.. Она хотела, видно, что-то сказать, но только махнула рукой.

— А что случилось в этот раз? — спросила я.

— Да опять бабки наши! Весь праздник испортили. Представляете, решили мы вечеринку устроить у нас в комнате. Ну, конечно, в складчину, собрали





ЛЕВ КОКИН

СУДЬБА ГЕОРГИЯ ЗАЙЦЕВА, ПЕРЕСТРОЕННАЯ ИМ САМИМ



В то время как профессора и академики, члены ученого совета вникали в суть представленных работ, соискатель ученой степени сидел возле телефона у себя дома в ожидании звонка по междугородней. От брата будут вопросы, на которые он не сумеет ответить. Кандидат физико-математических наук А. А. Зайцев защищал работы, представленные на соискание степени доктора наук кандидатом физико-математических наук Г. А. Зайцевым.

...Не дождавись звонка, Георгий не выдержал, соединился с Москвой сам. «Все нормально,— уверили его.— Только голосования еще не было». А потом позвонил брат: «Поздравляю. Ни одного голоса против...»

Так кончилась вторая встреча братьев с Московским университетом. Двадцать три года отделяли ее от первой, когда братья приехали сдавать экзамены на физфак. Собственно, поступать собирался старший: только что кончила тогда школу, но поскольку был уже не вполне здоров, младший взялся сопровождать его. Конкурс был трудный—семь человек на место, но Георгия не это пугало. В свои возможности по части физики он верил. Подвели его физические возможности. Не под силу оказалось эздить из общежития на факультет—со Спромынки к Малежу (в сорок седьмом году университетского городка на Ленинских горах еще не было). И в трамвай было трудно сесть, и на четвертый этаж не подняться, и перейти из одного учебного здания в другое за десятиминутную перемену не успевал... Месяца через полтора брат приехал за ним, и они вернулись домой, в Иваново, Георгий перевелся в педагогический институт.

А болезнь наступала. Прогрессировала, грозя неподвижностью. Неотвратимость ее наступления заключалась в самом названии. Прогрессивная мышечная дистрофия. С этим «прогрессом» медицина не умела бороться.

Мальчишкой, лет до пятнадцати, он, если и отличался от своих сверстников, то только пристрастием к чтению. Рос как все. Лазал по деревьям, катался на лыжах и на коньках, колол дрова. На худой мальчишеской спине все сильнее торчали лопатки, но дома это отнесли за счет книг. Вечно он горбился над ними. А это начали слабнуть плечевые мышцы. Потом пришла очередь мышц бедер. При ходьбе он стал падать, и вставать делалось все труднее. Он решил, что мышцы худеют от недостатка упражнений, и стал подолгу, утром и вечером, заниматься гимнастикой. Это была серьезная ошибка. Наконец, обратились к врачам, а те редкую болезнь распознали не сразу и сначала лечили не от того...

Половину студенческих своих лет он провел по больнице. После выписки из очередной клиники отлично сдавал экзамены—случалось, за два семестра кряду. Одному из однокашников запомнился разговор—на третьем, кажется, курсе. На тему, сколько надо работать. Кто-то сказал: шесть часов в день. Ну, восемь,—сказал другой. Гера Зайцев сказал: восемь—это минимум; надо—десять. Когда потом, без него, спор продолжали, тот, первый, сказал: а что ему еще делать?..

Острые на язык студенты-физики из Московского университета (не знаю, успел ли Зайцев за полтора

На снимке: Г. А. Зайцев.

своих университетских месяца постичь это) классифицирует себя так: а) теоретики, б) филоны, в) бедности. То, что Зайцев не был ни «филоном», ни «бедностью», едва ли требует доказательств.

Такова предыстория физика-теоретика Г. А. Зайцева. История начинается с аспирантуры.

Профессор Иван Николаевич Годнев в Ивановском химико-технологическом институте работает ровно столько, сколько старший Зайцев живет на свете. Аспирантуру у Годнева проходили — с разрывом в несколько лет — оба брата: по стопам старшего пошел младший, и оценку им он дает объективно.

— Мы мало с ними бумаги исписали.

Подобная мера научной ценности — по количеству исписанной бумаги — для меня вновь. Оказывается, беседа с аспирантами, профессор как бы ведет протокол, записывает по ходу беседы, о чем шла речь. На каждого аспиранта своя конторская книга. В этих книгах вся история их работ. Чем самостоятельнее аспирант, чем быстрее работает, тем меньше на него уходит бумаги.

Иван Николаевич настолько привык к этим копсекам, что и при нашей беседе без записи обойтись не может. Он пишет на листке своеобразную формулу: «1=2», — и говорит:

— За то время, в какое не каждый аспирант укладывается со своей одной диссертацией, Георгий Александрович Зайцев успел подготовить две. Одну, по теме, — о внутреннем вращении молекулы. Другую, по собственной инициативе, — о свойствах спинов...

Выбирал он между физикой и математикой. Профессор (впоследствии академик) Анатолий Иванович Мальцев, читавший высшую алгебру, звал к себе, профессор Годнев — к себе. Зайцев предпочел физику, однако с алгебраистами связи не порывал, что и сказалось на направлении его работы. Направление это, в самом общем виде, называют математической физикой. Но занесло Георгия Зайцева на такие выси теории, о каких в городе и поговорить было не с кем. Это вовсе не упрек его учителям и товарищам. Просто они занимались другими задачами.

...Трудно сказать, что определило выбор Зайцева — склад ли ума, или обстоятельства. Они, в сущности, не оставили ему выбора. Но начинал он незаурядно, целой серией оригинальных, пионерских работ, опубликованных ведущим в стране «Журналом экспериментальной и теоретической физики». Одна из них позволила, например, посмотреть по-новому на классические уравнения Максвелла — на те самые, о совершенстве которых знаменитый физик-материалист Бозльман в свое время сказал, что они начертаны рукой бога; применив алгебраические методы, Зайцеву удалось их усовершенствовать.

О другой необычной работе двадцатипятилетнего ученого стоит сказать особо. Правда, она увидела свет лишь спустя почти три года после того, как была сделана, и за эти три года потеряла свою необычность. О калибре неосуществленного открытия можно судить по Нобелевской премии, присужденной физикам, совершившим его в действительности... Дело прошлое, пережитое... Работа Зайцева, вместо того, чтобы самой стать открытием или, во всяком случае, близко к нему подойти, стала лишь его подтверждением. Возможно, именно в этом оказалась огорченность от коллег — в первую очередь от экспериментаторов. А может быть, это не так уж существенно — огорченность от коллег? Мечтал же Эйнштейн о месте смотрятеля маяка. Но сколько десятков крупных физиков оперилось в «питомниках

гениев» — в школах Резерфорда и Бора, Иоффе и Ландау.

Георгию Александровичу Зайцеву ни на одном физическом семинаре за пределами города Иванова бывать не пришлось, если не считать полутора месяцев на первом курсе в Московском университете; столичного физика он видел в глаза лишь однажды. Надо быть Эйнштейном, чтобы не нуждаться в такой среде.

Защитив диссертацию по аспирантской, уже не очень интересной ему теме, молодой кандидат наук, естественно, стремился в свою стихию. Никто в городе близкими проблемами не занимался, и Ивановский химико-технологический институт обратился в Академию наук с просьбой предоставить Г. А. Зайцеву работу в одном из академических учреждений — такую, разумеется, какую он мог бы выполнять в домашних условиях. Профессия это, в принципе позволяла. Но в работе — несмотря на положительный отзыв одного академика о научных трудах Георгия Александровича — было ему отказано по двум причинам: из-за плохого состояния здоровья и отсутствия жилья в Москве.

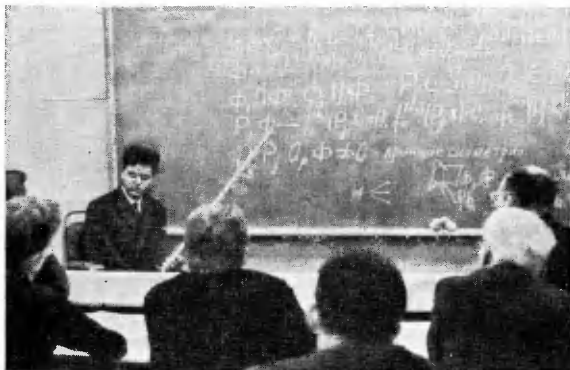
Так, едва успев заявить о себе, ученый вынужден был выйти на пенсию. Ему помогли, выходили персональную. Он был благодарен за это, но превращаться в пенсионера никак не хотел. Ему помогли и тут. По рекомендации другого академика он получил возможность сотрудничать в журнале «Новые книги за рубежом» — обзорном издании издательства «Мир», а также в реферативных журналах по физике, химии, математике. Рецензировал, переводил.

Вот когда пригодились знания языков. Английский он одолел еще в школе, еще до болезни. Не в классе — во время каникул. На пару со школьным товарищем, занимаясь часов по десять изо дня в день, не пропуская и воскресений. Оба стали заправскими «англичанам». В классе учили немецкий; французскому Зайцев, также самостоятельно, выучился позднее.

У других были семинары, доклады, симпозиумы. У него взамен всего этого — чтение. Пристрастившись к книгам с детства, он смог теперь в полной мере удовлетворить свою давнюю страсть. И читал, читал, читал.

Двенадцать лет он провел в этой роли надомника. Единственным коллегой и собеседником был младший брат. Начало своим научным спорам они положили еще подростками. Десятиклассник Георгий по мере тогдашних своих возможностей растолковывал первокурснику техникуму Александру, что такое теория относительности, а тот изо всех, еще более слабых своих сил старался опровергнуть доводы брата. Эту позицию «адвоката дьявола» он сохранил и после того, как не без влияния брата бросил завод и окончил физико-математический факультет, а потом и аспирантуру. Таким образом, росла квалификация обоих спорщиков... И все эти годы Александр был первым читателем и первым критиком рецензий и статей Георгия.

Георгий Зайцев продолжал изыскания на границах физики с математикой. По его мнению, «назрела необходимость в глубокой перестройке ряда старых и новых теорий...», учитывая «не революционные преобразования, происшедшие в математическом мышлении со времени создания аппарата классических теорий...». Пора, писал он, «перейти к разработке более глубоких единств теорий уже не на геометрической (согласно идеям Эйнштейна... — Л. К.), а на принципиально новой... алгебраической основе». Он даже



Идет научный семинар, руководимый Г. А. Зайцевым.

пользуется термином «алгебраическая физика» — не берусь судить о его правомерности, так же, впрочем, как и о том, насколько справедливы, или оригинальны, или плодотворны высказываемые Зайцевым воззрения. Поддерживать их или опспаривать оставим специалистам. Нам с вами, читатель, интересен в этих суждениях человек, масштаб личности, так сказать, замах.

А вкруг него — изо дня в день, из года в год — четыре стены. Прежде, когда семья жила впятером в перегородженной надвое комнате, он не мог и часу побыть в одиночестве. Но, учитывая его положение, ему предоставили соседнюю комнату, как только из нее выехали жильцы. Восемь метров, гостей не позовешь, но работать стало много лучше.

У него даже зимнего пальто не было — а зачем?.. В летнюю пору он с наслаждением грелся на солнышке, когда вынесет из дому и усадит на лавочку брат. Сам-то уже не мог ни подняться со стула, ни выйти. Болезнь продолжала свой мрачный прогресс. Но с некоторых пор его темпы заметно замедлились.

Спустя много лет соискателю докторской степени по физике коллеги посоветовали на то, что он не был связан с экспериментом. Действительно, в области физики — не был. Экспериментами он занялся в другой области. В то аспирантское время, когда, по словам его руководителя профессора Годнева, он подготовил параллельно две диссертации, на самом деле он взялся еще и за третью. Стал экспериментировать на себе. Со своим болезнью. Так что уточненная формула профессора должна бы, по справедливости, выглядеть так: «1=3».

Уже во многих больницах побывал к тому времени — в Иванове, в Ленинграде, в Одессе, в Киеве. Возможностями медицины не обощался. Сам об этом рассказывает в рукописи «История моей болезни с анализом литературы и методов лечения».

«В студенческие годы и во время пребывания в аспирантуре я самостоятельно познакомился сначала с медвузовскими курсами [анатомия, физиология, биохимия, первых болезней, эндокринология, диетотерапия], а затем перешел к систематическому изучению специальной литературы на разных языках...

Сравнение с мировой научной литературой по точным наукам, которая в большом количестве проходит через мои руки, привело меня к выводу, что научная и информационная работа о моей болезни ведется недостаточно серьезно и многие возможности остаются неосуществленными...»

Придя к такому заключению, он решил эти возможности проверить. Школьный товарищ, врач-невропатолог, поддержал его в этом. Под наблюдением врача Зайцев стал испытывать средства, которые упоминались в довольно-таки скудной литературе о «его» болезни.

В немецком медицинском журнале излагался, например, необычный метод.

«Я решил проверить это на себе... В результате... через три месяца я смог самостоятельно спускаться по лестнице, и еще некоторые движения восстановились — до этого у меня не было случая, чтобы утраченные функции восстанавливались...»

Но большего, к сожалению, не удавалось добиться. И тогда он попытался усовершенствовать обладающий метод...

Хорошо было бы, конечно, рассказать о чуде самоизлечения. Нет, чуда не произошло. Достаточно того, что ухудшение приостановилось — причем нельзя утверждать, что именно в результате его опытов. Не исключено случайное совпадение — Зайцев отдает себе в этом отчет. («Достижение цели, — считает он, — во многом зависит от фундаментальных биологических исследований по вскрытию глубоких механизмов нервно-мышечной деятельности»). Но ведь и пишу я об этом не для того, чтобы противополложить самостоятельность профессиональной медицине. Рассказываю о человеке. Как он не сдался. И как по отношению к собственным бедам остался самим собой — исследователем, ученым.

К азалось бы, его положение давало ему хоть одно преимущество — не торопиться. Свободный от повседневной суеты, он вроде бы мог позволить себе это. Но столько обязанностей звала сам на себя, что, в общем-то, ему было некогда. Журналы, книги, рецензии, статьи, лечебные эксперименты и процедуры... Плюс к этому — обширная переписка: с редакциями, с коллегами-физиками, с медика-

мв, с товарищами по несчастью. Когда бы не его положение, это, пожалуй, выглядело бы старомодным в наш телефонно-телеграфный и авиавет. Спасибо почте — она связывала его не только с издательством «Мир» — с миром.

«Мсье и дорогой коллега!

...Положительная оценка, даваемая Вами в связи с моими усилиями по реинтерпретации квантовой теории, служат для меня очень большим ободрением в той работе, которую я провожу... Замечания, которые Вы делаете, очень интересны...»

Луи де Бройль, Академия наук, Париж.

«Как и Вы, я недвижим... У недуга — противное свойство: разложение веры в собственные силы... Ваши успехи поразительны. Они вдохновляют на борьбу...» (письмо из Крыма).

«Человек, который не испытает всего этого на своей шкуре, не сможет понять, ибо он человек, а я инвазид...» (а это — с Кубани).

Не один лишь адрес — в тот год переменялась жизнь Зайцева. Новоселье было только началом долгожданных этих обнадеживающих перемен.

Вместе с ним поселилась женщина, товарищ, жена. А спустя некоторое время громогласно заявил о себе третий жилец — горластый, жизнелюбивый и не желающий знать, чем там занят отец в своем кресле.

Но и этим не ограничились перемены.

По натуре он всегда был общительным, Зайцев, только в прежней затворнической жизни трудно было проявлять это свойство. А теперь к нему чаще стали навещать старые товарищи, приводить с собой новых. Благо, места у него стало довольно. Один физик привел другого, тот — третьего. О чем поговорить с ними, у Зайцева накопилось. И вот уже, для облегчения разговора кто-то приволок классную доску, а сборища приобрели регулярность. Раз от разу они делались многолюдней. Семинар по теоретической физике — первый в жизни Георгия Зайцева, если не



Георгий Александрович Зайцев с женой Татьяной Давыдовной и дочерью Соней.

«Уважаемый профессор,

профессор Инфельд, которому Ваши работы показались очень интересными, передал их для изучения своему младшему коллеге профессору И. Верле...» (из Варшавского университета).

«Дорогой друг Гера, здравствуй... (знакомый по черк Виктора: вместе лежали в больнице).

...Часто сетовал я, что мне в жизни не повезло на крупных людей и сам не вырос в личность. Но не зря ли? Ведь я забывал о тебе, с которым судьба свела меня благодаря болезни...»

Итак, воля!.. Как говорили древние: «мощный дух спасает слабое тело...»

В шестидесять седьмом году адрес Зайцевых изменился. Переехали в новый дом. Георгию Александровичу выделили квартиру — на первом этаже, а соседнюю, за стеной, дали родителям, брату, сестре — всему зайцевскому семейству. Или, точнее, преждему их семейству.

считать многолетних бесед с братом, — родился в его новой квартире немногим ранее дочка...

Ролью слушателей молодые участники семинара довольствовались недолго. Один аспирант загорелся зайцевской темой. Официальный наставник «уступил» его Георгию Александровичу. Потом то же самое произошло с другим аспирантом у другого наставника. Потом — с третьим. Все это по дружбе, на добровольных, неофициальных, общественных началах — называйте как нравится. Все это — как и вся судьба Зайцева — не по схеме.

Слух о семинаре разнесся по городу. И сам Зайцев, испытывая себя в новой роли, ощутил, что она непосильна. А помимо того, на его пенсию да заработок рецензента прожить трудно — одному этих денег хватало, но теперь он стал человек семейный. По совету товарищей он обратился в обком партии. Просил помочь с работой.

Не простая, надо сказать, задача, если учесть, что ни одного научного института по физике в городе нет. Есть учебные — технические, пед, мед, сельхоз.

От квантовых теорий все далеко, да, кроме того, никто не мог поручиться, подойдет ли Зайцеву преподавательская работа. И все-таки выхода нашелся — необычный, но выход. Решили «уэканить» заочный семинар. Кликнули клич по институтам. И при Текстильном (возможно, оттого, что ректор там — женщина) получили право действовать межинститутский семинар по математической физике.

Так Георгий Зайцев выросал из четырех стен.

Он сам не знал, что получится, но — «попробуй исполнять свой долг, и ты узнаешь, что тебе есть», — это, кажется, сказал Гете. Раз в неделю или в две его стали привозить в институт на коляске — благо, близко от дома. И он вроде бы с работой справлялся. И когда через некоторое время получила предложение вести занятия со студентами, — решился и на этот эксперимент на себе.

Ему повезло: он пошел в обстановку, где поощрялись эксперименты. Сама группа была экспериментальной — с усиленным курсом математики и физики. Зайцев взялся прочесть в ней «Электродинамику и теорию относительности».

На лекции доктора физико-математических наук профессора Зайцева я был.

Он читал ее, сидя в своем кресле на высоких колесах, бледный человек в очках. Под рукой у него лежала книжная панель, он управлял нацелением на доску проектором. Вместо того, чтобы писать формулы на доске — этого он не мог, — он высвечивал их заранее снятые на пленку, как диафильм, и объяснял петромким ровным голосом, без малейших попыток развлекать или заигрывать со слушателями, строго, даже несколько сухо. Потом мне говорили, что за последние годы его голос заметно окреп — раньше он разговаривал почти шепотом. Он пуская свой фильм то вперед, то назад, выявляя связи между уравнениями. Все это было достаточно сложно: студенты работали, не отвлекаясь.

В его объяснениях часто повторялось понятие «инвариантность». Этим словом обозначают величины, которые характеризуют глубинные свойства явлений. Они независимы от подчас выбираемой случайно системы отсчета. И мне пришлось в голову приложить этот термин к самому Зайцеву. Да, он сумел стать в значительной степени инвариантным — по отношению к уготованной генетической ошибкой судьбе.

Я долго не решился заговорить с ним. Опасался непарком задеть, сделать больно. Опасался, как оказалось, напрасно. Ничего этого не было. Были внимательные серые глаза за стеклами очков. Было усталое, чуть одураченное лицо с опущенными углами губ, но при этом такая готовность к улыбке и такая открытая радости сама эта улыбка, что ни о какой ущемленности не могло быть и речи. Потом, бродя по городу, я не мог избавиться от мыслей о том, что, должно быть, возле своей школы, тяжелого мрачного здания бывшей гимназии, он скорей всего не был с тех пор, как ее окончила, а в современном акварном универмаге не был наверняка, и даже в институтском буфете, должно быть, ни разу не был, потому что туда надо спускаться по лестнице. Но разговаривать с ним трудно было не потому, что ты подвигив, а он нег, а потому, что, увлекшись, он забирался в такие научные дебри, какие тебе и не снились, и из русских слов безо всяких усилий складывал фразы не более тебе понятные, чем шумерская речь.

Однакошник Зайцева, друг, давно и хорошо его знающий, объяснил верно: Зайцев стал ученым прежде, чем заболел. Погруженность в науку защитила

его, заборпировала, не дала ожесточиться, сломаться. «Белы бы он не заболел, все равно бы жил почти так же, поглощенный наукой...»

Георгий Александрович сейчас на подъеме. Ему присудили докторскую степень, избрали профессором. Он читает студентам. Окреп его голос, и недавно — впервые за много лет — он даже в гостях побывал на новоселье у своих кафедральных коллег.

«Особенно большое удовлетворение вызывает тот факт, — говорил он (устами брата) в заключение докторской защиты, — что рад сотрудников и учеников автора восприняли многие его идеи и включились в работу...»

Признание, вероятно, могло бы прийти к нему раньше.

Немало хороших людей принимало участие в его судьбе. Хорошие люди помогли с лечением и с пенсией, с квартирой, с работой. В сущности, некого упрекать и за то, что в свое время кандидат наук, молодой, обещающий много, оказался «надомником». В самом деле, неизвестно было, справится ли он с работой в академическом институте, и не было гарантии, что это не повредит здоровью... И то же самое можно сказать применительно к ивановским вузам... С этим человеком ничего нельзя было звать наверняка — начиная с элементарных вещей, над которыми никто не задумывается. Сумеет ли ученый стать ровнее с Ландау, этого никому не предскажешь. А вот сумеет ли высидеть на заседании учебного совета... Надо было решиться попробовать. Рискнуть на эксперимент, исход которого заранее был далеко не ясен. Принять участие (а стало быть, и долю ответственности на себя) в опыте длительного и хлопотливом, название которому — жизнь Зайцева.

Кто-то из физиков сравнил научную работу с прыжком через планку, когда прыгну не известно, на какой она высоте. Только опыт способен ответить на это, тут риск неизбежен. Жизнь Зайцева — та, какую он сам себе выбрал в жестких рамках дозволенного природой, — рискован прыжок. Но высота, преодолеваемая высота зависела не от него одного, а и от хороших людей. Проще облегчить человеку жизнь, чем разделять с ним ее трудности. Не просто, а просто! Хорошие люди во многом помогли больному человеку. Одно жаль: такой же поддержки не испытал на взлете молодой ученый.

К нему, повятому, не подходили обычные мерки. Он, на беду свою, не был к ним приспособлен. Но ведь это при слепом отборе в природе выживает наиболее приспособленный. Стоит ли повторять ту общую истину, что в науке желательно отдавать предпочтение наиболее способному? Не поздно ли — применительно к сорокалетнему Зайцеву — заводить такой разговор? Полагаю, что нет.

Потому что он полон замыслов и окружен молодью.

Знаем: наука, по Эйнштейну, «надлична», в конце концов ей без разницы, чьим почерком вписываются новые строчки в книгу Знания. Нередко это размахистый почерк счастливого.

Только есть нечто поважнее научной карьеры. И мы, люди, воздаем по справедливости не за одно то, что человек сделал, но и за то, что делал.

Как жила.



«ЮНОСТЬ» — СТРОИТЕЛЯМ ДОРОГИ ТЮМЕНЬ — СУРГУТ

Хроника шефства

С ПИСАТЕЛЬСКИМИ АВТОГРАФАМИ

Писатели, бывает, устают от поклонников, с опаскою обходят оживленные скопища, подозревая в них охотников за автографами.

Представьте же картину обратную: писатели выстраиваются в очередь, чтобы непременно дать автограф, подарить книжку со своей подписью далекому ценителю литературы. Так и было, когда редакция «Юности» обратилась к своим авторам с предложением собрать библиотеку для строителей дороги Тюмень — Сургут.

Людьми труда, знающим цену слову, искреннему и правдивому, людям, не охочим до модной погони за знаменитостью, а на равных вступающим с ними в диалог о подлинной жизни, — этим людям предначинан писательский дар.

Библиотека с автографами упакована в ящики, улетела в Тюмень. Шефская бригада журнала передала ее хозяевам, комсомольцам ударной стройки. Но сегодня нам хотелось бы снова пройтись по титульным страницам этих книжек, познакомить читателей с авторскими надписями.

В стране, читающей так взапой, ищущей в книге не сладкой, убавляющей сказки, а нравственный идеал, образ движущегося революционного времени, — в такой стране не устанавливается драгоценное равенство пишущего и читающего, отношения уважительные и как бы сказать, — трудовые.

«Строителям Тюмень — Сургут. Ищущим ввысь светло и кутуз. Мой трудный путь, мой долгий путь,

Мой таежные маршруты»
— надпись поэта Д. Голубкова

на титуле сборника «Человек как звезда рождается».

Той же интонацией равенности и равнозначности писательского и строительского труда отмечены и другие титулы.

«Серебряный костыль вам в Сургуте, потом в Нижневартовском, потом на берегу Енисея! С радостью дарю вам книгу, посвященную таежным десантам в Саянах. Вы продолжаете их славное дело» — это надпись В. Орлова на титуле его романа «После дождика в четверг». Напомним читателям, что роман этот, напечатанный в «Юности» в 1968 году, посвящен труду комсомольцев на дороге Абакан — Тайшет. Сегодня немало «абаканцев» перекочевало на новую стройку и, возможно, кому-то из них выпадет честь забить серебряный костыль, скрепляющий рельс со шпалой, на последнем километре тюменской трассы.

Звучит в авторских автографах и высокая нота трудовой, роман-

тической преемственности комсомольских поколений. До Абакана были ведь и легендарная Боярка, Магнитка, Комсомольск, СТЗ, це-
лина.

«Радостно мне, комсомольскому поэту,
Дарить свой скромный
поэтический труд
Комсомольцам дороги Тюмень — Сургут.
От нас принявшим
строительную астафету».

— пишет почтенный комсомолец А. Безымянский.

«Молодым строителям дороги Тюмень — Сургут с пожеланием стать героями «Юности», — от комсомолки 30-х годов Е. Шевелевой» — надпись на сборнике «Избранное».

«Нашим далеким и всегда близким друзьям, читателям и героям «Юности» — строителям дороги Тюмень — Сургут с восхищением и хорошей завистью. И. Кашекева». (Комсомолка годов 60-х).

Живой и сегодняшней связи ищет писатель со строителем, отсылая ему свой дар: Р. Григорьева на титуле повести «Крестянский сын» напоминает о том, что ее герой «юный алтайский орленок, отдавший жизнь за Советскую власть». Писатели Т. Гладков и А. Луккин, даря комсомольцам книгу о Герое Советского Союза Николае Кузнецове, желают молодым строителям «во всем быть достойными памяти своего земляка, тюменского комсомольца». (Замечательный разведчик именно в Тюмени был принят в ряды комсомола.)

Но не одним лишь сходством судеб, неостывающей памятью о тех, чей подвиг продолжают сегодня юноши и девушки ударной стройки, устанавливается близость пишущих и читающих. Есть у литературы еще и высокий нрав-



Серебряный костыль, дар строителей.

ственный накал, умение мудро вести человека труда к самопознанию, саморазвитию.

«Дорогие друзья! Буду рад, если кому-то эта книга поможет в самом трудном деле — в самом важном! — вместе с любой дорогой строить себя!» — надписал Д. Холендров на повести «Улица тринадцати покоев».

Многим из вас, дорогие читатели, памятна наверняка биографическая повесть доблассца В. Титова «Всем смертям назло», памятен этот урок человеческого мужества и моральной красоты.

«Буду счастлив», — пишет В. Титов, — если герои этой книжки найдут дорогу к вашим сердцам и помогут вам в ваш трудный час».

Г. Медвильский на титуле своей книги «Честь», вещи нравственно расклеванной и беспокойной, пишет:

«Пусть ваша дорога будет дорогой чести».

Книжная полка для строителей дороги Тюмень. Сургут подобрались многоголосая. Стихи и проза, документальная публицистика и очерки о науке, критический дневник и, разумеется, все виды юмористического и сатирического творчества.

«Строителям Тюмень — Сургута дарю эту книгу с тем, чтобы они в свободное от работы время могли ее прочитать и повеселиться. С приветом В. Катаев» — это его надписи на сборнике «Горох об стеклу».

Так получилось, что скромная информация-опись, превращается в некое эссе о писателе и читателе. Причиной тому — теплота и искренность, с которыми писатели собрали «Тюменскую полку». В скрупулезных дарственных надписях многое сказалось о характере отношений новой аудитории с новым мастером.

Закончим в тоне информационном. Свои книги комсомольцам стройки подарил также Н. Тихонов, Б. Полевой, К. Симонов, С. Антонов, В. Аксенов, П. Искандер, А. Алексин, Г. Гофман, А. Уварова, Е. Дорош, Ф. Наседкин, И. Герасимов, А. Бобров, В. Краковский, В. Росляков, А. Тарасенков, С. Баруздин, П. Антокольский, А. Иванов и А. Рейжевский, М. Владимир, Р. Соляцев, Ф. Абрамов, В. Огиев, А. Озеров, Н. Панченко, Ю. Друнина, К. Ваншенкин, В. Шаламов, М. Ахиский, А. Мартынов, Б. Слудский, А. Завальнюк, Я. Хелемский, О. Дмитриев, В. Са-

вельев, В. Казанцев, Т. Кузовлева, В. Сухарев, Ю. Щербак, А. Белкин, А. Смирнов, Е. Нестерова, И. Тарасов, М. Исаковский, С. Михайлов, А. Заурич, В. Цыбин, Е. Винокуров, Н. Грякин, С. Наровчатов, В. Урин, Н. Доризо, С. Ботвинник, В. Кузнецов, А. Сурков, Н. Браун. (Мы не устанавливал в перечне никакой «иерархии». Имена поставлены в порядке той самой очереди, о которой шла речь вначале.)

Всего в отправленной библиотечке 92 книги. Сбор книг с дарственными надписями для строителей дороги продолжается.

А. СЕРГЕЕВ

ОТРЯД «ЮНОСТЬ»

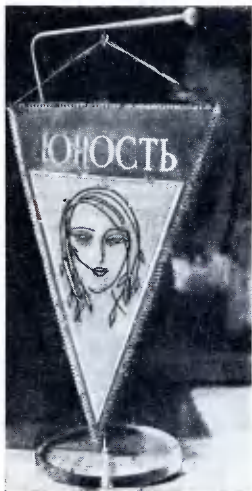
В конце июня на стройку отправилась группа студентов Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова. Задача этого отряда, принявшего имя «Юности», необычна. Комсомольцы-художники подумают об облаке трассы, создадут эскизы оформления поселков, клубов, строительно-монтажных площадок. Работать студенты будут и кистью и резцом, с пластиком и чеканкой, деревом и новыми отделочными материалами. Командиром отряда назначен студент В. Архипов, комиссаром — студент Ю. Круглов.

ТВОРЧЕСКАЯ БРИГАДА

4 июля в редакции «Юности» состоялась встреча с работниками Министерства транспортного строительства СССР. В беседе определялись ближайшие заботы шестова и на новых трассах, строительство которых поручено комсомолу.

Начальник штаба стройки Тюмень — Сургут В. Кононов подарил от имени строителей редакции журнала символический серебряный костыль. На одной из его граней дорогая нам надпись: «На нашей стройке «Юности» — ЗЕЛЕНЬ!» (Зеленый цвет, как известно, знак беспрепятственного, без задержек движения.)

В июле стройку посетила творческая бригада «Юности» (вторая в этом году). В ее составе поэты Н. Злотников и О. Чухонцев, публицист А. Фролов, прозаик А. Чупров, художник М. Лисогорский... Бригада встретила со строителями в нескольких пунктах трассы, вручила комсомольскому штабу вымпелы журнала для победителей социалистического соревнования, кубок будущим чемпионам-лыжникам, библиотечку с автографами, о которой мы прочли в хронике.



На снимках: лицевая и оборотная стороны вымпела «Юности», который будет вручаться победителям социалистического соревнования на трассе.



Роза Хусаннова: «Люблю олений прыжок»



Сначала был канат, натянутый между двух шестов на ярмарочной площади, потом стали ходить и по проволоке. В 1877 году в Петербурге уже гастролировала некая Оцеана Ренц, афиша которой гласила: «Оцеана, дочь воздуха — разные труднейшие упражнения и жонглирование на слабо натянутой проволоке».

А в наше время на проволоке танцуют.

Танцовщица на проволоке Роза Хусаннова обратила на себя внимание совсем недавно. А в прошлом году она уже с успехом работала в программе Московского цирка.

Но познакомил нас не в цирке, а в ГИТИСе — оказалось, что Роза заочно учится на отделении режиссеров цирка...

Она спокойно выдержала мой первый изучающий взгляд, привыкла, наверное, что на нее пристально смотрят. Потом сказала, что ее «проволока» уплыла в Мексику и она вскоре сама вслед за нею отправится, а сейчас у нее экзамен и ей пора выходить на сцену.

Маленькая сцена, еще недавно принадлежавшая Центральному театру кукол, скрипела под мускулистыми ногами циркачей. Будущие режиссеры цирка пока что разыгрывали обыкновенные бытовые сценки. В такой роли, в пестром фартуке и косинке — а ноги на пятой позиции! — Роза выглядела нелепо.

Я ей сказала после экзамена:

— А вы, признаться, выглядели на сцене...

Мы встретились с ней глазами, и она совершенно спокойно ответила:

— Я знаю. Зачем только мне эту роль дали? Мне бы какую-нибудь вкрадчивую, обольстительную женщину сыграть, а тут...

Но мне не было жаль Розу. Я знала, что у нее есть дело, в котором она достигла огромного мастерства. А бытовые роли не для нее.

Сию же на узкой скамейке у истертого зеленого ковра Московского циркового училища. Передо мной проволока. Вспоминаю слова Розы: «Она обжигает. У меня все ноги в шрамах».

Ну, ничего, думаю я, проволока сейчас натянута невысоко, всего каких-нибудь полметра от пола. Это не страшно.

И снова вспоминаю слова Розы: «На проволоке каждый мускул находится в таком напряжении, что, даже падая с очень маленькой высоты, можно здорово расшибиться».

Наконец на манеже появляется Роза. Она поднимается на проволоку и только тогда здоровается.

Она стоит не шелохнувшись, лишь ступни мягко и мерно вытягиваются в подъеме, ощущая, пробуя проволоку.

— Роза, ну как? — спрашиваю я, глядя на нее снизу вверх.

— Еще не знаю. С этими экзаменами не тренировалась давно. Наверное, ноги быстро сядут. Ну, а в общем, хорошо.

И тут неожиданно она отрывается от проволоки: одна нога вытянута назад, другая подобрана, а мягко изогнутые руки — над головой.

— Это олений прыжок, — говорит она, опустившись на проволоку. — Я люблю этот прыжок. Вообще число элементов, выполнимых на проволоке, ограничено. Трудно найти какое-либо новое движение. Я, например, жонглирую шарами!

Фото А. КАРЗАНОВА.

Роза уже танцует падо мной на пунятах, и я ей завижду. Это зависть обывателя к путешественнику, зависть, к которой примешивается трусливое ощущение радости за свою безопасность.

— Главное — это баланс. Стоя на проволоке, она спокойно произносит целые монологи. — Но, если удлинёшь, надо встать и тут же идти на проволоку, иначе возникает страх, и тогда все пропаало.

— Но и у нас, в обывковенной жизни, то же самое, — вставляю я быстро.

Роза кидает на меня холодный и немного высокомерный взгляд, но говорит мягко:

— Почти.

Номер Розы Хусаиновой, поставленный на музыку татарского композитора Яруллина к балету «Шура-ле», построен на пластике трех различных характеров: лирическая героиня, юноша-джигит и девушка-птица.

— Роза, как вы пришли к этому сочетанию: классических трюков с национальными элементами?

— Соединение классики и национального создают современный рисунок танца с его неожиданными сменами ритма, с резкими контрастами движений. От классики мягкость и плавность, от национального — резкость и необычность движений. Мне не нравится, когда звучат в джазовой обработке наши национальные мелодии. Национальное может сочетаться только с классикой. Тогда это будет чисто...

— На сегодня хватит, — вдруг обрывает она свою тренировку. — А то ноги садут.

Она подходит к своему бывшему педагогу Лидии Игнатьевне Штутман и договаривается о следующей тренировке. До гастролей осталось несколько дней, и нужно срочно входить в форму. И, как всегда, Лидия Игнатьевна приходит Розе на помощь, обещая ей несколько свободных часов на мажеж циркового училища.

Мы выходим на улицу. Дует влажный холодный ветер. Я вбираю голову в воротник и засовываю руки в карманы. Но Роза по-прежнему держится прямо и собранно.

— А вам не хочется сейчас расслабиться? — спрашиваю я.

— Нет. Профессиональная привычка. Я выросла в Казани, где все друг друга знают и где актрисе нельза выглядеть некрасиво, даже когда она идет в магазин.

— Кто у вас остался в Казани?

— Мама. Если бы вы знали, как она чудесно играет на гармошке! Это была моя первая музыка в жизни. Вообще я очень люблю в городе звук гармошки. Сразу становится как-то уютно и спокойно.

— А вы очень привязаны к маме?

— Я не могу быть с нею все время вместе. Но когда я возвращаюсь домой и вижу горящее окно, мне становится так хорошо... Я бы возила маму с собой, но это невозможно. Каждый сезон — новый цирк, новый город...

— Где состоялось ваше первое сольное выступление?

— В Ярославле. Я работала спокойно, увидев в зале знакомую красную кофточку Лидии Игнатьевны, которая специально приехала в Ярославль в этот день. Она всегда меня поддерживала и поддерживала в самые трудные минуты. Мне так повезло, что в цирковом училище я попала в ее класс. Она прекрасный педагог, и, знаете, ведь она была одной из первых, кто возродил в советском цирке жанр танца на проволоке. Она выступала под фамилией Кудрярова. Она из Якутии.

— А как вы попали в цирковое училище?

— Честно говоря, случайно. Вернее, из-за самолёта. Был. Когда-то я послала в Московское цирковое училище свои документы и разные данные о себе. Мне прислали отказ. И вот, уже уходя в хореографическую студию в Казани, я приехала с оперным театром на гастроли в Москву. И я решила пойти показаться в цирковое училище. Меня взяли. Я осталась в Москве. Это было неожиданно для меня и для всех, потому что я должна была продолжать учебу в хореографическом училище в Ташкенте, куда меня направлял наш театр. Вот как все получилось...

— Какие гастроли вам больше всего запомнились?

— Я уже была в Индии — снималась в фильме Раджа Капура «Я — клоун». Но у нас считается так: можешь объездить весь мир, однако, если, ты еще не работал в Москве, твоя цирковая судьба пока что не состоялась. Мне повезло — я уже работала в Московском цирке.

Мы идем по Москве. Завтра Роза улетает на долгие гастроли в Мексику. Еще не сделано много дел, еще не собраны чемоданы. Но Роза смеется:

— На это затратчу два часа, иначе большую часть своего времени я бы укладывала веши.

Мы уже не идем, а почти бежим по улице, включаясь в ритм шестичасовой вечерней Москвы. И еще что-то обсуждаем, может быть, что-то важное, но оно заглушается, распадается среди гула людей и машин.

Мы уже на «ты»:

— Тебе не надоеало «скитаться» по гастроям?

— Смотреть новые города, новые страны не надоеало. Но я медленно привыкаю к новым людям и тяжело отвыкаю. Хотелось бы проработать в одном цирке не один сезон.

— Зачем ты учишься на режиссерском?

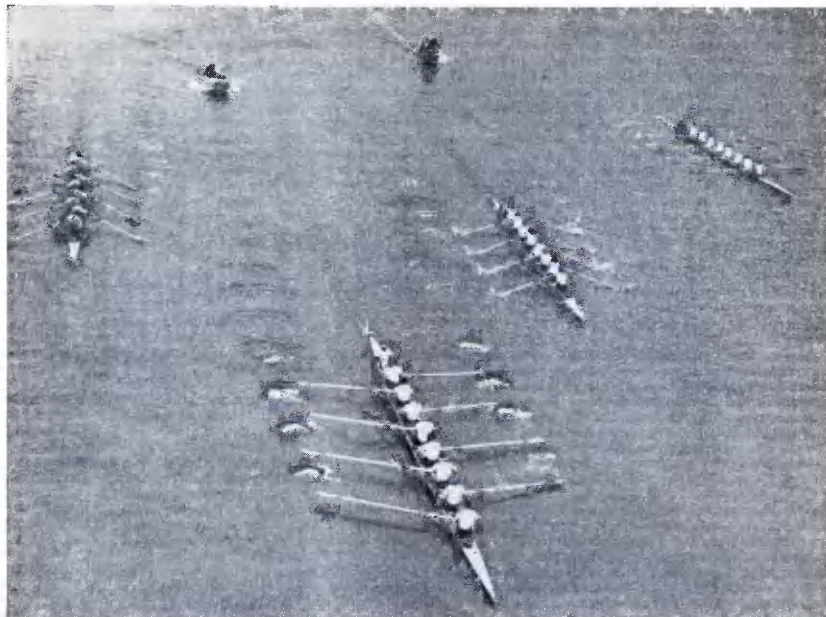
— Я хочу найти новые средства цирковой выразительности — прошло время «чистых» трюков. Но на себе пробовать трудно. Поэтому проработало лет десять, а потом буду ставить номера другим. Может быть, и найду что-нибудь.

В этот момент Роза вскакивает в троллейбус. Дверь тут же закрывается, прищипив ее сумку. Она что-то говорит мне, стуча по стеклу, дверь приоткрывается, она втягивает сумку внутрь троллейбуса, и до меня лишь доносится:

— До свидания!

Я машу ей рукой. Так мы прощаемся. Беги, лети, Роза, дорогой своей «проволоку», которая уже приплыла в Мексику.

Беседу вела М. БОРОДИНА.



**ГЕЛИЙ АРОНОВ,
ИГОРЬ МАСЛЕННИКОВ**



ПРИГЛАШЕНИЕ К ВОСЬМЕРКЕ

*И кандидат медицинских наук
киевлянин Гелий Аронов
и московский журналист Игорь Масленников
убеждены, что нет спорта прекраснее,
чем академическая гребля,
а венцу регаты — заезд восьмерок!*

*Каждый из них много лет
отдал академической гребле,
оба мастера спорта
были призерами чемпионатов страны.*

*Перебивая, дополняя друг друга,
а иногда и споря,
они рассказывают о восьмерке и о ее героях.*

*А в заключение вы познакомитесь
с командой восьмерки,
которой доверено защищать честь нашей страны
на Олимпийских играх в Мюнхене.*

АРОНОВ. Заканчиваю очередной опыт. Лаборантка рассказывает по клеткам прооперированных кроликов. Заполняю протокол эксперимента: «...Пятнадцать животным произведена трансплантация... Группа предварительно облучена рентгеновскими лучами... На вторые сутки после операции будет начато введение сыворотки...»

На сегодня все. Выхожу из института. Солнечно, тихо, как всегда в Киеве в начале июня. Направляюсь в Матвеевский зал, где сегодня республиканские соревнования. Спешить некуда — до первого старта остается час.

Когда я в последний раз садился в лодку? В шестьдесят девятом. Смешная история. Попросил знакомого тренера: мол, позарез надо выставить полную команду, а восьмерки нет. Выручайте, ребята.

Сели с шуточками-прибауточками: «Тряхнем старинной! И на старуху бывает проруха! Были когда-то и мы рысачами!..» Леся Ганкевич вспоминала: «Ровно

ФОТО В. КУТЫРЕВА.

двадцать лет назад выгребал первенство города по новичкам. Может, и теперь выиграем? Надежды за служебного тренера республики были явно несбыточны. Ведь выступали мы не по группе ветеранов, а средний возраст команды был равен тридцати пяти годам. Конечно, все — мастера спорта, а кое-кто даже зарядку по утрам делает, но уж Танквичу-то хорошо известно, что нужно, чтобы выиграть.

Выехали перед гонкой в залов, и пошло со всех сторон: «Ого-то! Кто я вижу? Привет ветеранам!.. Неужели гоняться будете?..» Это все знакомые, однокашники, люди нашего гребного поколения. А незнакомая пацанва и вовсе непочтительная: «Во дадут! Команда образца 43-го дробя 13-го года!.. Смотри, на втором номере — лысы!». ..

И действительно, странная собралась команда: четыре кандидата наук, рабочий, два инженера, тренер. Что привело тогда нас в Матвеевский залов? Желание хоть ненадолго вернуться в молодость? Надежда еще раз испытать одно из высочайших известных нам наслаждений — наслаждение от мощного гребка?..

Мы тогда финишировали пятыми. Из шести возможных. Выиграли секунды две у совсем зеленых ребят из «Водника». И как выиграли! В середине дистанции руки так налились, а весла стали такими тяжелыми, что тянуть их к себе было просто невозможно. А дышание? Воздух со свистом вырывался из легких, и невидимая тужка, сжимавшая глотку, перехватывала ее все туже и туже. Какое уж тут наслаждение! Бросить бы, остановиться, отдышаться. Чего ради мучить себя? И бросили бы, наверно, если бы все мы не прошли испытание восьмеркой.

МАСЛЕННИКОВ. Признаюсь, за те двадцать лет, которые я провел в академической гребле, мне ни разу не довелось увидеть гонку восьмерок. Я выступал на парной двойке, и мой заезд всегда начинался перед стартом восьмерок. Только закончив дистанцию и малость отдышавшись, уже прибывают на финиш восьмерки — вот и все впечатление.

Правда, однажды мне самому привелось выступить на восьмерке. Но гонка была пустяковая, да и команда была собрана наспех, для зачета. И у меня лишь осталось ощущение, что после двойки, где можно вволю импровизировать, гребля на восьмерке ущемляет личную свободу. Ритм гребков выбирал загребной, а остальные только подлаживались к нему, копировали, и не было ни малейшей возможности хоть как-то повлиять на его действия.

АРОНОВ. Только с первого взгляда может показаться, что гребцы в академической восьмерке парабены, скваны необходимостью писать свою индивидуальность в жесткую схему гребка. Нет, большей свободой, чем скрытая раскрепощенность максимально рациональных движений. Именно она отличает настоящий спорт от суматошных действий нетренированного человека. Восьмерка — это оубадающая стихийность, это рационализм, ставший красотой, логика, воплотившаяся в движении!

Я говорю это, не забывая, что есть еще байдарки, каноэ, морские ялы... Да и сама академическая гребля многолика. Я всматривался в «другие лица»: сидел в байдарке, балансировал в каноэ, повисал на толстенном вальке флотского весла. Это было интересно, но... Не знаю случая, чтобы «академик» уходил в другие виды гребли. В них ему всегда чего-то не хватало. Чего? Неизбежной усложненности? Технизма? Ощущения команды? Но в байдарках тоже есть двойки и четверки. Два классных байдарочника — это двойка, четыре — четверка. Это точно, как таблица умножения. А два отличных академика — это еще не команда. Восьмерка же появляется, когда между гребцами устанавливаются не временные (на

одно соревнование или даже на один сезон), а устойчивые психологические связи.

Почему человек избирает одну спортивную дисциплину, предпочитая ее всем остальным? Случайно? По инерции? Потянувшись за друзьями, знакомыми, литературным героем, модой? Бывает и так. Нередко бывает.

И все же не только новичок выбирает свою будущую спортивную профессию. Вид спорта тоже выбирает его. Именно поэтому один остается в плавании, другой в плавании, третий в футболе, а четвертый, несмотря на баскетбольный рост, в теннисе. Пятый же кочует из вида в вид, влге не задерживаясь надолго и в конце концов, не востребованный ни одним из них, окончательно и бесследно уходит из спорта.

Избирает своих рыцарей и академическая восьмерка. Избирает строго, придирчиво, испытывая их прежде всего коллективизмом. Попробуй быть индивидуалистом, если у тебя в руках одно длинное весло и сколько ни греби им — лодка вперед не двинется: она будет лишь кружиться на месте.

Помню, из нашей восьмерки, когда мы еще не были «экзамн», обидевшись на кого-то, выпрыгнула седьмым номер — здореванный паренн, «самая сильная лопасть Днепра», как называли его у нас. Произошло это на середине реки, в половодье, добраться до берега в мокром тренировочном костюме и кедах было совсем не просто.

Мы всемером подошли к причальному плоту, когда стропильная выгрузила из подбавшего его катера. Вода лилась с него ручьями, и, стоя в образовавшемся луже, он смотрел, как мы поднимаем лодку и уносим ее в эллинг. Вид у него был жалкий. Позже он признался, что тогда ему больше всего хотелось подойти к нам и подставить свое плечо под борт восьмерки. Но команда обошлась без него.

МАСЛЕННИКОВ. Столь восторженное отношение к восьмерке мне было чудом, и, когда я бросил гребсти, начал пытать свои силы в спортивной журналистике. Большинство своих первых отчетов я посвящал одиночкам и двойкам — эти лодки были мне хорошо знакомы, да и к тому же я был под гипнозом имен олимпийских чемпионов Вячеслава Иванова, Олега Тюрина, Бориса Дубровского.

Восьмерки раз за разом проносились мимо гребун, но, каюсь, я оставался к ним равнодушен и посвящал им лишь несколько скупых строчек в конце отчета.

Но вот какая другая случилась история. И случилась с гребцами, которых я близко знал. Помню, как в свое время, на осеннем сборе в Потн, никто из нас не принимал всерьез литовцев Зигмаса Юкю и Антона Багоданвичуса. Мы, ученики столичных тренеров — метров академической гребли, частенько подтрунивали над незнанием Юкю и Багоданвичусом тонких нюансов стиля и, главное, над их уверенностью, что они непременно поедут на Олимпийские игры в Рим.

А они действительно поехали на Олимпиаду и завоевали в классе двоек с рулевым серебряные медали. Три четверти дистанции они шли первыми, а затем допустили единственную, но классическую для новичков ошибку — прозевали ускорение соперников. Но все равно их второе место было расценено, как огромный успех, все только и говорили о незаурядности и самобытности этой двойки.

Блистательная карьера открывалась перед ними. Лично я убежден, что Юкю и Багоданвичус непременно бы стали чемпионами мира и Олимпийских игр, оставшись они гребти на двойке. Но на следующий год, желая развить скоростные качества, они сели на тренировку в восьмерку. Сели на полтора-два часа, а вылезли из этой лодки через десять лет, лишь когда им пришлось протаться со спортом.

Сколько раз восьмерки, в которых гребля Юкна и Багоданвичус, были близки к большим победам, но непредвиденные случайности лишали команду счастливого шанса. Так было, например, на Олимпийских играх в Токио и Мехико, когда накануне финалов в команде кто-то заболел и восьмерка уступала победу, хотя на протяжении всего сезона уверенно обыгрывала соперников. На берегу Юкна и Багоданвичус ворунали, кляня свою судьбу, но по-прежнему садились в восьмерку и, оттолкнувшись от плота, отдавали этой лодке все, что имели. Так они «пахали» не один год, и под конец выяснилось, что серебряные медали, которые они получили в Риме, еще будучи неуклюжими гребцами, оказались их самыми высокими наградами...

Именно Юкна и Багоданвичус и заставили меня внимательно приглядеться к восьмерке и открыть для себя, хотя и с запозданием, эту лодку. А теперь я считаю, что отчет без описания заезда восьмерок — вообще не отчет.

Гонка в этой лодке забирает всего человека, без остатка. Одиночник Вячеслав Иванов даже в финальном заезде на Олимпиаде в Риме позволил себе прокатиться по дистанции в темпе 28 гребков в минуту. На восьмерке такое нереально, разве что на тренировке, тогда как в гонке все идет на 42—44 гребка, а то и выше. Это спринт, но спринт на два километра!

Попробуйте в максимальном темпе 250 раз поднять штангу весом в 35 килограммов, и тогда вы получите какое-то представление об усилиях гребца восьмерки. Притом в этой лодке необходимо еще заботиться о балансе и четком ритме движений. Любопытно, что «мертвую точку» спортивные врачи впервые описали именно после обследования гребцов восьмерки. И вот еще что: опытные мастера не раз признавались, что со временем эта лодка представляется им живой.

А какие традиции у восьмерки! В какие далекие времена уходят эти традиции! Знаете, например, о легендарном единоборстве студентов Кембриджа и Оксфорда? Эта регата возникла так. Студенты любили после занятий, а иногда и вместо них, кататься на лодках по Темзе. Заканчивались эти прогулки обычно у Стэмфорда — в прибрежном кабаке. Но кабак был маленький, мог вместить лишь восемь — десять человек, и за места в нем шла борьба. Постепенно эта борьба превратилась в своеобразное соревнование, которое с 1829 года стало официальным для восьмерок Кембриджа и Оксфорда.

Разумеется, восьмерки этих университетов редко достигают уровня международного класса, но даже — и не только в спорте — соперничество Кембриджа и Оксфорда, яркие традиции гонки придают ей особую привлекательность. Очевидцы рассказывают, что в Кембридже и Оксфорде перед гонкой устраиваются карнавалы, по ночам студенты разжигают на улицах костры и распевают клубные гимны. Гонка эта так популярна в Англии, что какой-нибудь маститый член парламента никогда не забывает упомянуть, как об одном из самых славных событий в своей жизни, что когда-то он участвовал в регате этих двух восьмерок.

А Хенлейская регата, которая разыгрывается на Темзе с 1839 года?..

АРОНОВ. Сегодняшняя судьба Хенлейской регаты знаменательна. Это старейшая и традиционная гребная регата, и ее знаменитые призы: «Бриллиантовые весла», «Гранд Челленджер Кап», «Сильвер Гоблетс», «Споартс Кап» — всегда привлекали лучших гребцов мира. Дистанция регаты, размеченная у небольшого английского города Хенлей, своеобразна — она нестандартной длины и такая узкая, что стартовать одновременно могут лишь две лодки. К сожалению,

устроители регаты не хотят поступить по традициям и модернизировать дистанцию, и теперь все реже встречаются у Хенлея лучшие команды мира.

Теперь во многих странах роют специальные гребные каналы: два с половиной километра в длину, несколько сот метров в ширину. Не хватает толща крыши над ними. Может быть, со временем и крыша будет. Тогда акадезмизм академической гребли достигнет предела. Ни тебе ветра, ни волн... Тогда уже станет совершенно невозможным такой казус, который случился с нашей восьмеркой на первенстве Союза на Химкинском водохранилище. Всю дистанцию ветер и разгулявшиеся волны наполняли водой нашу лодку. Она садилась все глубже и глубже и, наконец, на финише стала почти подводной. К плоту мы ее притащили уже впавай и, прежде чем вытянуть на берег, вылили из нее тонны две воды.

Плохо, конечно, если в распределение мест вмешиваются неспортивные, стихийные силы. Плохо, если вопрос: «Быть или не быть?» — в значительной мере зависит от того, на какую дорожку попадешь. Но не потеряет ли академическая гребля многих своих рыцарей, все более изолируясь от своей естественной среды? Мне кажется, хорошо бы сохранить первоначальность Матвеевского залива или Серебряного бора, соединив ее со строгими стандартами междунациональных трасс. Неужели лучший выход — рыть унылую канаву на совершенно сухопутном месте? Разве не та же проблема стоит перед архитекторами, пытающимися сочетать своеобразие и неповторимость древних городов с самыми современными достижениями строительной техники?

МАСЛЕННИКОВ. Это позиция романтика, и я, увы, не могу согласиться с нею. Практика убеждает, что в странах, где строятся каналы, число рыцарей гребли постоянно увеличивается, тогда как у нас, например, их становится, к сожалению, все меньше. Можно, конечно, играть в канадский хоккей и на открытом катке, но сборная страны, чтобы поддержать высокую форму, вряд ли обойдется без ледового дворца. Так и в академической гребле.

АРОНОВ. Я бы не стал сравнивать гребной канал с ледовым дворцом, как и вообще греблю с канадским хоккеем. У каждого вида спорта своя специфика. Но, конечно, самоочевидно, что материально-техническая база нашей академической гребли должна быть модернизирована. Кому нужны доказательства, пусть придет хотя бы в наш Матвеевский залив

Я всегда волнуюсь, приближаясь к заливу. Как-никак ему отдано пятнадцать лет жизни. С моих пор здесь почти ничего не изменилось: так же девственно чисты песчаные пляжи вдоль дистанции, так же дремучи заросли верболоза на подступах к берегу так же сиротливо торчат почерневшие от неводго доски грубо сколоченных скамеек, фанерная будка на финише да несколько выцветших щитов с изображениями футболиста, гимнастки и стрелка, хотя ни футбольного поля, ни гимнастического зала, ни тира здесь нет и в проекте.

Не могу пройти мимо родного «Буревестника». Вот виднеется крыша его здания, тоже несколько не изменившегося с наших времен. А вот и причальный бок. Также старый знакомый. Если на этом бок одновременно встречаются несколько команд со своими лодками, то они почти погружаются в воду... Эта неизменность умиляет, но в то же время и объясняет, почему Матвеевский залив, который когда-то звался «заливом чемпионов», с каждым годом теряет свою былую славу.

Но надо торопиться: если не перееду сейчас на чем-нибудь прямо через залив, опоздаю к заезду восьмерок. О, мне повезло — к берегу спешит Юрий Михайлович Храновский, мой бывший тренер. Уди-

вительный человек. Когда нам было по двадцать, он казался чуть ли не патриархом (еще до войны Храновский был рекордсменом Украины по плаванию, играл в водное поло, занимался штангой, греб...), а теперь выглядит просто нашим ровесником — высокий, стройный, начисто лишенный признаков старости...

Пропуск к нему в катер. Едем на песчаную косу, разделяющую Матвеевский залив на два рукава. Дистанция оканчивается в правом рукаве. Юрий Михайлович остается на косе, намерен посмотреть восьмерки на подходе к последней ятискоке, а я по глубокому песку отправляюсь на финиш...

МАСЛЕННИКОВ. Я мало знаком с Храновским. Но уж раз решил зашла о тренерах по академической гребле, то хочу сказать, что таких тренеров не встретишь, мне кажется, ни в одном виде спорта. Есть среди них фанатики, которые всю жизнь собирают только восьмерку. Таким тренером был Александр Михайлович Шведов — ныне доктор наук, преподаватель МАИ. Совместно со своим другом, профессором Шебухиным, он создал в свое время легендарную восьмерку «Крыльев Советов». Когда гребцы этой команды впервые прибыли в Англию, чтобы участвовать в Хельсинкской регате, они вызвали огромный интерес. Наших спортсменов обступили, когда они еще несли лодку к воде, и старые английские гребцы в малиновых клубных пиджаках и канотье — некоторые из них не могли передержать сами и их привезли в колясках — требовали, чтобы их подвели поближе к плоту. Они наблюдали за безукоризненным ритуалом спуска нашей лодки на воду, а один из них после этого даже распорядился, чтобы его отвезли домой.

— И без заездов все ясно. Это сильнейшая команда, — сказал старый гребец.

И действительно, москвичи завоевали в Хельсе тогда главный приз «Гранд Челлендж Кип», а позднее трижды выигрывали первенство Европы. А когда эта команда в последний раз занесла свою лодку в элинг, то фактически расстался со спортом и тренер Шведов.

Из внешних тренеров очень любимы Николаев. Его деятельность вызывает много споров, но каждый раз он доказывает свою правоту. Вдруг уехав в Тбилиси, он за один-два сезона собрал отличную восьмерку. Поначалу эту команду не воспринимали всерьез: черноусые пыльные гребцы лихо разогнали лодку, а затем так же внезапно бросили гребти. И вдруг на последней Спартакиаде народов СССР тбилисские гребцы завоевывают бронзовые медали! И похоже, что это только их первый успех.

АРОНОВ. По щиколотку в воде, не замечая того, я стою на финише. В нарастающем шуме рулевых мы слышно, но видно, как они что-то кричат командам. Наверное, обычно: «Ну дали! Финиш! Последнее!» Что еще можно сказать сейчас и что еще дойдет до сознания, когда гребцами владеет единственная мысль: «Выиграть! Выиграть! Выиграть!»

Две восьмерки финишируют почти одновременно, лодки по инерции скользят по заливу, весла бессильно брошены, рулевые что-то командуют, но так, для порядка, зная, что ребятам еще нужно несколько минут, чтобы вернуться из мира гонки, услышать крики на берег, снова встать за весла. Лодки, только что, казалось, летевшие на дистанциях, грузно осели, уткнув свои острые носы в воду...

Предвкушая заранее тот день Олимпийских игр в Мюнхене, когда часа за два до передачи, боясь опоздать, я займу место у экрана телевизора, чтобы видеть венец регаты — заезд восьмерок. Хотя мне никогда не приходилось выступать на олимпийских

трассах, уверен, что смогу и у экрана телевизора испытать то, что испытывают члены восьмерки там, в Мюнхене: жажду победы и приподнимающее ощущение весла, упруго опирающегося о воду, и стремительное скольжение лодки... Я жду победы нашей восьмерки в Мюнхене как личной победы, хотя и незнаком с сидящими в ней ребятами.

МАСЛЕННИКОВ. Переживать нам придется за сборную команду, которая в основном составлена из гребцов Коломны. Раньше в отчетах о гребных регатах мне приходилось частенько упрекать тренеров РСФСР за то, что среди их учеников не видно спортсменов международного класса, хотя внешне эти рослые, работающие ребята производили сильное впечатление. Но вот в середине июля на чемпионате СССР в Серебряном бору восьмерка РСФСР выиграла финальный заезд и таким образом завоевала олимпийскую путевку.

Команду готовила бригада опытных тренеров — Виктор Исифович Питиримов, Владимир Михайлович Филаретов и Игорь Николаевич Поляков. Последний, кстати сказать, живет в Москве и приступил к работе с восьмеркой РСФСР за несколько месяцев до начала Олимпиады. Известный в прошлом гребец, квалифицированный тренер, Поляков очень многое сделал для успеха этой команды. С гребцами работал также доцент кафедры Института физкультуры, кандидат педагогических наук Сергей Маркович Гордон, который давал научные рекомендации тренерам. Словом, подготовка восьмерки была поставлена на солидную основу, что и принесло добрые плоды.

Ну, а теперь о тех, кто сидит в этой лодке. Загребной команды — двадцатидвухлетний Александр Рязанкин. Его рост — 190 см, вес — 90 кг. Но он отнюдь не самый высокий в команде. Например, рост Александра Шитова и Бориса Воробьева — 193 см, да и весат они побольше. Все трое живут в Коломне, учатся в педагогическом институте.

Как и во всяком большом коллективе, в этой восьмерке есть и самый общительный, добродушный паренек, из тех, кого мы по-житейски зовем «душой компании». Речь идет о Сергее Коляскине. Как бы ни закончилась гонка, первым, выходя на плот, всегда улыбается Сергей, что, однако, не свидетельствует о его легкомыслии, напротив, в принципе он очень серьезный человек и надежный товарищ.

Таков костяк нашей олимпийской восьмерки. Как закончится регата в Мюнхене? В 1952 году в Хельсинки экипаж «Крылья Советов» после равной, тяжелой борьбы занял второе место, уступив команде США. Спустя 16 лет на Олимпиаде в Мехико советская восьмерка также имела все основания рассчитывать на победу, но после разнородного рода злоключения заняла лишь третье место. Чем закончилась нынешняя попытка? Конечно, все мы желаем нашей восьмерке самого большого успеха, но добиться его будет ой как трудно. Соперников хоть отбавляй, по крайней мере в большей или меньшей степени на олимпийские награды претендуют экипажи и Новой Зеландии, и ГДР, и ФРГ, и США, и Канады, и Норвегии... Ведь речь идет о заезде престижа, о самой популярной в гребле лодке, победа на которой, повторюсь, ценится чрезвычайно высоко.



Открытое письмо Галки Галкиной Владимиру Котову

3 Аравствуйте, Владимир Котов!

С большим творческим подъемом и вдохновением принялась я за это письмо. Дело в том, что в последнее время у меня, внештатного сотрудника отдела сатиры и юмора журнала «Юность», резко сократился объем работ в моем любимом жанре. То ли издательства стали разборчивее, то ли критика повысила свои требования, но давно что-то не появлялись книжки, достойные моего внимания. Подзатихли перебранки

между журналами. Уважительней и глубже стали редакционные статьи, оценивающие работы других изданий... Это, конечно, хорошо. Но мое перо, перо сатирика, ржавеет в бездействии. Я уже было решила отказаться от эпистолярного жанра и стала собираться в отпуск, как вдруг... Как вдруг приходит от читателей адресованная мне бандероль, и в ней два сборника Ваших стихов¹. И каких стихов! Как будто специально созданных для личной со мной переписки. Стоило мне прочесть подчеркнутые читателями строки, как мысли об отпуске сразу вылетели из головы. Я жадно схватилась за перо. Конечно, я и сейчас не до конца понимаю, как такое могло прийти в голову Вам, Владимир Котов, как могло не насторожить редактора, не потрепать корректоров и не вывести из строя почтенные печатные машины... Сколько людей Вам удалось ввести в заблуждение, прикрывшись высокими словами, которые стоят на обложках Ваших

¹ Владимир Котов. «Верность отцам». «Московский рабочий», 1971 г. Редактор Б. Орлов.
Владимир Котов «Есть рабочий класс». Профиздат. 1971 г. Редактор Е. А. Марков.

книг, сколько обойти, чтобы доставить удовольствие мне, скромному сатирику Галке Галкиной!

И вот я к Вам пишу.

Но каким же языком к Вам обращаться? Мне надо быть понятной не только читателю, но и Вам, Владимир Котов, а Вы, судя по прочитанным стихам, с литературным языком состоите в отношениях особых, своеобразных. Я бы сказала — натянутых:

Ах, Малеевна,
что мне делать,
многослабеевна,
со сказкой вот с этой?
...меня он наскрозь всего
видит ведь!
...
Но жизнь по-своему учтет
и глянет вдруг из-за горы-то.

Узнаете Ваши строчки? Ничего не скажете, во всеоружии Вы встретили трудности ритма — старым испытанным приемом не очень, правда, умелых стихотворцев, которые все недостающие слоги в поэтической строке заменяют спасительным «уж», «вот», «ведь», «то» и т. д. Этот малый джентльменский набор я уж и впрямь хотела-то использовать в своем письме этим вот, но решила отказаться от своей затеи, поскольку ведь... того этого... грамотных читателей вот у нас-то много, а поэтов Котов, Вы уж у нас один-то.

Откуда у Вас эта манера стихописания? Где Вы учились своему непотопторимому стилю?

А жил
не где-нибудь за рынком,
у трех вокзалов
рядом жил...

Ничего, что в этих строчках не все грамотно — Вы живете и «у» вокзала и «рядом» с ним сразу, — зато место поэта в жизни четко зафиксировано. Это уже кое-что.

Ну, конечно, прописка пропущена, а читатель может все же усомниться в Вашей профессии, у него, чего доброго, назреет естественный вопрос, кто же Вы такой.

Вы правильно делаете, что заявляете:

Я не чета отцам великим,
но все-таки сейчас скажу:
имею отношение к книгам,
поскольку тоже их пишу.

Теперь читателю стало предельно, до рези в глазах, ясно — Вы писатель. Но писатели разные бывают, и Вам кажется необходимым с абсолютной точностью определить своей заявкой:

Мы стихи слагает,
сволоту громим,
любим наших жен
хмельно и трезво...

Вас, пожалуй, можно понять. Как явствует из стихов, эта самая «сволота» обступила Вас, и Вам, естественно, приходится от нее отплевываться, отбиваться, отругиваться, применяя при этом разные нехорошие, вероятно, почернутые по месту жительства — на рынке, то бышь... у трех вокзалов — слова: «зверье», «пещерье», «мурло», «откипы», «выкипы» и т. д. Иногда, правда, Вас не устраивает неконкретность, и Вам не терпится указать, как говорится, кто есть кто: кто «накипы», а кто «выкипы»; кто «зверье», кто «пещерье»; а кто просто «ржа»... И чтобы неопытный читатель знал, на головы каких именно колег по поэтическому цеху Ваша рассвирепевшая муза опускает свои каскет, Вы, так сказать, уточняете свои мишени, открываете секрет:

Деляга, спекулянт пера
торгует яро и нахально.
Жена повсюду с ним:

Мой Роба — это ж... «Ура!
... гениально!»

Матерый обсыпает, жмот,
за рубчиком гребущий рубчик.
А жена глаз не отведет,
«Ах, мой Андрюшенька,
... голубчик!»

Остроумно, тонко, Владимир Котов! Bravo! Так их! Это им не на базаре, женам ихним, тут святая поэзия! И намека поняла.

Вас, конечно, беспокоит: а вдруг для читателя неясно, кого Вы лупите по головам, вдруг перепутает... Поэтому Вы иногда усиливаете свою тонкий художественный прием — просто представляете фамилию поэта, которому Вы особо завидуете, чуть изменив эту фамилию для благозвучия.

Перстами, как говорится, легкими как сон, прикоснулись Вы, скажем, к фамилии... Но не будем помогать читающей публике, пусть и она поиграет в «Угадайку».

Вот строки из поэмы под символическим названием «Признание в любви»:

...она
кричала мне в след:
А ты? Дерьмошеник денег много!
Ну что ты за поэт!
И кто теперь ей растолкует —
И что тут долго толковать —
что он-то...
Родиной торгует.
И нам прикажешь торговать!

Да, да, так и написано. И напечатано! Ошарашенный читатель, приславший мне эти Ваши так называемые стихи, растерянно восклицает: «Это же обыкновенное хулиганство, даже не литературное!» С такой формулировкой спорить не приходится, ибо, как сказал один поэт, «хулиганство есть озорное деяние, связанное с оскорблением личности...». Но Вам везет, Владимир Котов, — если на улице один человек, даже спящий, оскорбит Другого, то как минимум получит пятнадцать суток. А тут явное оскорбление личности — и ничего! Кроме разве гонорара от «Профиздата» и «Московского рабочего».

Видя свою безнаказанность, видя, что Вам все сходит с рук и Вас никто не хватает за шиворот, Вы смело выходите на большую асфальтированную дорогу и нападаете уже не на отдельных индивидуумов, а на целые коллективы. Если насчет некоторых «прототипов» у Вас в стихах можно строить догадки, то тут Вы называете точные адреса.

Передо мной стихотворение «Судят товарища Зет...». Судят его в далеком будущем. За мелкий проступок ему придумали суровую кару: приговорили к безделью, окружили его мещанским уютом «хапуги прошедших эпох», выдали ему «супер-стиляжню» одежду, заставили плясать твист и шейк... И в подкрепление «сурового» приговора Вы вкладываете в уста судьи «из будущего» такие слова:

Еще
в наказанье его интеллекту —
ни книг, ни газет!
(Вот уж этим пройдем!)
Оставить ему
в самых полных комплентах
«Америку» с «Юностью»
тех же времен.

Значит, так: «хапуги», «стиляжи», «твист и шейк», и в этом ряду «Юность»... Если в будущем преступников «в наказание» интеллекту» будут присуждать к чтению «Юности», то чем же награждать людей добрых? Разумеется, стихами поэта Владимира Котова. И под звуки лютни, закатив глаза, они вынуждены будут напевать какие «шедевры» интимной лирики:

Из под шелковых ресниц
Тихо песни льются...

Ведь он мужчина... * * *
... все они
подчас в борьбе своей бедовой
свои вздохмаченные (?) дни
под (?) женским шелком (?)
... склонить готовы.

Рискованная ситуация: «вздохмаченные дни», склоняющиеся «под женский шелк»...

Но скорее вернемся из Вашего будущего в наше настоящее. Тут Вы нас опять подстерегаете с кастетом:

...Как сладко
с другом поднять бокал,
с другом поднять бокал
влаги,
чистой, как совесть!
Ведь главное — не сдаваться,
самим собой
И всегда оставаться!
... наступать и драться!..

По-моему, впервые чистота человеческой совести повернется чистотой сорокаградусной алого. Но тут уж бог с Вами, это дело вкуса, бывают привычки, от которых трудно избавиться. Однако, что касается Вашей мечты «всегда наступать и драться», тут я Вам, несмотря на Ваш, увы, возраст и Ваш, увы, апломб, дала бы все же совет: подумайте.

Попробуйте как-нибудь на досуге.

Обычно, когда хулиган затевает драку, его истинные друзья берут его за руки, уводят подальше от глаз людских, дают проснуться и прийти в себя. Ваши друзья из издательства, покровительствующие Вам, не захотели этого сделать. Они размножили Вашу призывно-рыночную брань немалым тиражом... Тут уж ничего не поделаешь: слово не воробей, вылетит — не поймашь.

Однако, как очень уместно заметили Вы в одном из своих трезвых стихотворений:

Любое можно обуздать!
Лишь не проспать!
... Не опоздать!..

Вот под этими трезвыми Вашими словами и я готова подписаться.

ГАЛКА ГАЛКИНА

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА

Рисунок Ф. КУРИЦ.

— Ты меня любишь?
— Люблю.
— Сильно?
— Сильно.
— Тогда давай поженимся.
— Ну, я в общем-то не против...

— Что же нам мешает?
— Мне ничего не мешает.
— Тогда пойдем и поженимся.
— Пойдем... А где мы будем жить?

— Ну... На первое время комнату снимем.

— Да, пожалуй. А на какие финансы мы ее снимем?
— Перейдем на вечерний и начнем работать.

— Это хорошо. А кто будет готовить?

— Моя мама хорошо готовит, и твоя бабушка будет приходить.
— Так. А для чего нам, собственно, жениться?

— Ребенка заведем, воспитывать будем.

— А он кричать будет, с ним сидеть надо, кормить. В кино не ходить, в театр и подалее.

— Ну, тогда не будем ребенка заводить. Будем в кино ходить, в театры и собаку заведем.

— С собакой в театр не пустят.

— Тогда не будем заводить собаку, а будем просто ходить в кино и театры.

— Но ведь мы и сейчас ходим в кино и театры.

— Ходим.

— Ну?

— А тогда будем все время вместе.

— А ты хочешь, чтобы мы были все время вместе?

— Ну, все время, пожалуй, не достает... Если мы будем работать, то получится, что не все время.

— Значит, нам нужно работать, чтобы не быть все время вместе? А сейчас мы не работаем и тоже не все время вместе. Ведь так?

— Ну, тогда не будем работать...

— Тогда жить вместе будет не то, что.

— Ну, тогда не будем жить вместе...

— Тогда и комнату не надо будет снимать.

— А не будет своей комнаты, тогда моя мама будет у меня дома готовить.

— А моя бабушка — у меня дома.

— Но тогда и жениться не зачем.

— А я что говорил!

— Вообще-то, конечно, какое значение имеет, женаты мы или нет. Главное, что мы любим друг друга. Ведь ты меня любишь?

— Люблю.

— Сильно?

— Сильно.

— Тогда давай поженимся...



МИНИ-ЮМ

(Афоризмы)

Самое бессмысленное занятие — вправлять мозги безголовому.

Он был заурядный халуга — звезд с неба не хватал.

В. САПРОНОВ.

Страховой агент — это человек, который желает нам добра после зла.

В. КОНЯХИН.

Если все люди братья, откуда берутся сестры?

А. ФЮРСТЕНБЕРГ.

Бюро прогнозов: «Дождь состоится при любой погоде».

Вал. ДЕВЯТЫЙ.

Поймал трех зайцев, а ведь гнался за двумя.

А. СИВЦОВ.

Никогда не теряй чувств юмора. А вдруг его найдешь твой недруг!

Не всегда надо приходить на помощь человеку. Иногда надо и прибежать.

Если ты ушел в себя, не возвращаясь с пустыми руками.

М. ГЕНИН.

«Не учите меня жить», — сказала Смерть.

А. КАРАПЕТЯН.

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Ион ДРУЦЗ. Рассказы: 1. Сплошные невезения.
2. Свои люди. 3. Осыпалась листва на вино-
градниках. 4. Черные черешни. 5. Нападение
гуннов

4

Владимир ГОНИК. День бабьего лета. Повесть

14

Альберт ЛИХАНОВ. Паводок. Повесть.
Окончание

35

ПОЭЗИЯ

Олег ДМИТРИЕВ. «За Байкалом, на земле бур-
ят...». Кормление чаен. «Не надо у жизни
просить...». «Девочка поет на тротуаре...» .

2

Инна КАШЕНЕВА. «Переселяясь в новые до-
ма...». «Секрет гусиного пера...». «Я нежно
хочу попрощаться...»

3

Кайсын КУЛИЕВ. «Я вам не говорил, что жизнь
легка...». «Сон, счастливый сон приснился
мне...». «Случалось, помню, в дни войны не
раз...». «И кто-то в эту самую минуту...». «Мир
снова полон страхов и тревог...». «Тихо умер
человек больной...». «Когда сго-
рело все, что ни на есть...». Перевел с
балкарского Н. Гребнев

11

Мансур ВЕКЛОВ. В Шувелянах. Первый урон

12

Станислав КУНЯЕВ. «Холод весенней земли...». «Надоела мне радость чужая...». «В мокрых
кустах краснотала...». «Как водится, сызнова,
снова...». Весенний туман

13

Дондок УЛЗЫТУЕВ. «Время движется велича-
во...». Глаза. Вспоминание свой край. Пере-
вел с бурятского С. Кунаев

34

Яков КОЗЛОВСКИЙ. Арена. Неоплавленный
снег. Вершинам отзовись. «Листва, понухлая,
домкнув...». «Она зимой сходилась с поездом...». «Мастера
оружейного цеха

83

Жолон МАМЫТОВ. Кони. Путешествие. Пере-
вел с киргизского М. Синельни-
ков

84

Вадим КУЗНЕЦОВ. «Ничего не случилось по-
крут...». «Улыбчивый, тихий, неяркий...». «Да-
вай махнем, Матвейч, на Шекснуй...»

85

К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Ю. ВЕЧЕРСКИЙ. Время отбавывать авансы

65

ДНЕВНИК КРИТИКА

Ю. КУЗЬМЕНКО. «Слить себя со своими прин-
ципом»

66

ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ

Павел АНТОКОЛЬСКИЙ. В рельсу!

68

ЖИЗНЬ — ПЕСНЯ

Лев ОЗЕРОВ. Огонь, пепел, поэзия

73

КРУГ ЧТЕНИЯ

Маленькие рецензии и аннотации

76

ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий КОРТНЕВ. Заноза

79

Страстной бульвар, дом 11

82

Отахон ЛАТИФИ. Земляки

86

Ада ЛЕВИНА. Койна в углу

91

А. СЕРГЕЕВ. «Юность» — строителям дороги
Тюмень — Сургут (Хроника шефства)

101

НАУКА И ТЕХНИКА

Л. КОКИН. Судьба Георгия Зайцева, перестро-
енная им самим

96

ДЕБЮТЫ

Роза ХУСАИНОВА. «Люблю олений прыжок» .

103

СПОРТ

Гелий АРОНОВ, Игорь МАСЛЕННИКОВ. Пригла-
шение к восьмерке

105

ЗЕЛЕННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Открытое письмо Галки Галкиной Владимиру
Котову

109

Л. ИЗМАЙЛОВ. Железная логика

111

Мини-юм

111

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН,

В. И. АМЛИНСКИЙ,

В. И. ВОРОНОВ

(зам. главного редактора),

В. Н. ГОРЯЕВ,

А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ

(зам. главного редактора),

Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ

(отв. секретарь),

К. Ш. КУЛИЕВ,

Г. А. МЕДЫНСКИЙ,

В. Ф. ОГНЕВ,

С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,

М. П. ПРИЛЕЖАЕВА

Художественный редактор

Ю. А. Цишевский.

Технический редактор

Л. К. Зябкина.

На 1—4 стр. обложки

рисунок

Е. СОКОЛОВ

и А. МАКСИМОВА.

Адрес редакции:

Москва, 103006.

(Для телеграмм: Москва, 6).

Улица Горького, № 32/1.

Рукописи

не возвращаются.

Сдано в набор 6/VI 1972 г.

Подп. к печ. 25/VI 1972 г.

А. 07723.

Формат бумаги 84×108/16.

Объем 12,18 усл. печ. л.

17,62 учетно-изд. л.

Тираж 2 000 000 экз.

Изд. № 1646. Заказ № 3088.

Ордена Ленина

и ордена Октябрьской

Революции

типография газеты «Правда»

имени В. И. Ленина

125865, Москва, А-47, ГСП,

ул. «Правды», 24.



Р. ЯУШЕВ (Москва).

Клуб в Аран-Велли. Из серии «О камчатке».

Из произведений
молодых художников,
экспонировавшихся
в залах Академии
художеств СССР.



В. СМИРНОВ (Москва).

На метеостанции.
Из серии
«На Дальнем Востоке».



Цена 40 коп.

Индекс
71120